

Ричард Олдингтон

ЕДИНСТВЕННАЯ
ЛЮБОВЬ
КАЗАНОВЫ





Ричард Олдингтон
ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ КАЗАНОВЫ



Издательство
«Республика»



Ричард Олдингтон

ЕДИНСТВЕННАЯ
ЛЮБОВЬ
КАЗАНОВЫ

Роман

Перевод с английского
Т. Кудряцевой



Москва
Издательство «Республика»
1993

ББК 84.4Вл
О-53

Richard Aldington
THE ROMANCE OF CASANOVA
London, 1947

Художник *В. Тогобицкий*

Олдингтон Ричард
О-53 Единственная любовь Казановы: Роман /Пер. с
англ. Т. Кудрявцевой. — М.: Республика, 1993. —
335 с.
ISBN 5—250—02129—8

В романе английского писателя Р. Олдингтона знаменитый авантюрист XVIII в. Джакомо Казанова, ловелас и шулер, получивший скандальную известность любовными похождениями, вспоминает на склоне лет о своей романтической любви, единственный раз испытанной им в жизни.

На русском языке публикуется впервые.

О 4703010000—108 216—93
079(02)—93

ББК 84.4Вл

ISBN 5—250—02129—8

© Издательство «Республика», 1993



ПРОЛОГ

Высокий старик в элегантной, но очень выцветшей накидке на меху презрительно про-
В бормотал что-то в ответ на угрюмое привет-
ствие швейцара в доме графа Вальдштейна:
— Guten Abend, Herr Casanova*.

Ничто так не задевало старика, как наглость слуг. А Казанова знал (или полагал, что знает), что слуги Вальдштейна презирали его, ибо он жил за счет подачек их хозяина, и ненавидели, ибо он старался всем видом своим и манерами сохранять облик дворянина восемнадцатого века. Этот малый глумился над ним, глумился над Джакомо Казановой, кавалером де Сенгалът — с собственного скромного соизволения — и кавалером Золотой шпоры — с бесконечно милостивого соизволения Его Святейшества папы! А было время, когда за такое выражение лица на голову лакея обрушился бы тяжелый удар увесистой палки кавалера...

Казанова заспешил было по замерзшему снегу внутреннего двора, но ослабшие мышцы старческих ног не желали слушаться нетерпеливого приказа мозга. Старость — как же он ее ненавидит! Зима — как он ненавидит ее тоже, это старческое время года с грязным снегом и серыми небесами и перехватывающим дыхание ветром! До чего же она ненавистна ему!

Стены встали между ним и безжалостной зимой, и старый Казанова почувствовал себя лучше. Он даже бессознательно зашагал враскачку прежней походкой победителя, направляясь в свое убежище в библиотеке замка по анфиладе комнат, составлявших мрачный музей «великого» и

* Добрый вечер, герр Казанова (нем.). (Здесь и далее примеч. пер.).

жестокого Валленштейна *. Казанова шел, быстро переступая негнушимися ногами, не глядя на картины сражений, сверкающее оружие и латы, коллекцию изделий из слоновой кости и восточной керамики, а войдя в библиотеку, даже не взглянул на книги.

Его прежде всего интересовало, горит ли огонь в камине, — вот проклятые лакеи! Сбросив шляпу с высокой тульей и накидку, Казанова неуклюже опустился на колени и принялся мехами раздувать березовую золу. Поленья задымили, и вспыхнуло пламя — маленький красный огонек тепла в этом суровом мире. Казанова с трудом поднялся на ноги и сел в вышитое кресло, протянув к огню жалкие, дрожащие старческие руки с усохшими, пожелтевшими от холода пальцами.

Тепло побежало по его телу. Старческие руки стали меньше трястись, замерзшие старческие ноги отошли, смуглое лицо с орлиным носом и беззубой улыбкой Вольтера, испещренное сетью морщин, разгладилось. Казанова теперь уже со страстью книголюба окинул взглядом комнату и длинные ряды прекрасных книг. Уютно здесь, ах, как уютно! Правда — увь! — не так уютно, как в маленьком казино ** в Венеции, где в очаге пылает уголь и прелестная чаровница готова разделить с тобой роскошную постель. Казанова вздохнул, вспоминая казино, где он принимал Его Высокопреосвященство и Его Сиятельство кардинала Берни с прелестной любовницей, и то, как посланник Его Британского Величества увел у него восхитительную К. К.

Казанова снова вздохнул, откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Клянись Вакхом ***, какое же это проклятие — возраст! И ничего тут не поделаешь, ничего! За закрытыми веками перед ним возникла старая маркиза д'Юрфе, которая так верила всем сказкам о «возрождении приобщением к розенкрейцерству ****», слушая красивого искателя приключений из Венеции, умело вплетавшего весьма плотские

* *Валленштейн (Вальдштейн)*, Альбрехт, герцог Фридрихский (1583—1634) — известный полководец, во время Тридцатилетней войны командовавший войсками германского императора.

** Домике (*ит.*).

*** Вакх — в античной мифологии бог вина, виноделия и виноградарства.

**** Розенкрейцеры — члены тайных религиозно-мистических обществ в XVII—XVIII вв. в Германии и других странах Европы. Названы, по видимому, по имени их легендарного основателя Христиана Розенкрейцера (XIV—XV вв.) или по их эмблеме — розе и кресту. Большое место в учении и деятельности Р. занимали идеи нравственного самоусовершенствования, оккультные науки — черная магия, каббалистика, алхимия, поиски «философского камня», «эликсира жизни» и др.

рассуждения в разговор о том, как вернуть молодость. И вспоминая суеверную маркизу, а также сколько денег он из нее вытянул и как заставил раздеться догола и войти в «магическую ванну», сморщенный старый плут ослабил и открыл глаза.

Он снова тяжело вздохнул, подумав о том, сколько прошло через его руки молодых особ, и сколько он потратил дукатов, и каких только блюд не ел! Сейчас, правда, он больше всего сожалел о дукатах, чем обо всем остальном, вместе взятом. Кто эти идиоты-моралисты, утверждающие, что деньги не приносят счастья? Возможно, и не приносят, но куда вернее было бы сказать, что никто не может и вообще никогда не мог быть счастлив без них. И Казанове вспомнилось, какими только способами он ни делал в прошлом деньги!.. В прошлом! Было время, когда в карманах у кавалера де Сенгальт лежали сотни, а в банке — тысячи. Было время, когда невиннейшие девицы и прелестнейшие из женщин теряли сердце и голову, а заодно и репутацию из-за некоего кавалера из Венеции. А теперь даже крестьянки не обернутся вслед старому донжуану, дамы же легкого поведения, взглянув на него, принимают хихикать и иронически перешептываться за ширмой своих вееров. В прошлом дело обстояло иначе.

В прошлом. Лицо Казановы исказилось в жестокой усмешке при мысли о том, что он, сорвавший за свою жизнь столько прекрасных розовых бутонов, вынужден теперь жить прошлым и на потеху своему покровителю излагать в правдивом жизнеописании все свои приключения. Все? И притом правдиво? Он снова усмехнулся, играя в прятки с остатками совести, которая сейчас была целиком озабочена его деяниями на поприще литературы. Что ж, возможно, память порой подводит его, и, возможно, он запечатлел лишь лестное для себя, *то, что могло бы быть*, вместо бесцветного *того, что было*, и, возможно, он несколько вольно обошелся с репутациями милых, ныне покойных дам. Черт подери! Почему бы и нет? Какой бесплодной пустыней была бы жизнь без любви, а в каждой настоящей любовной аванюре некая чаровница должна терять добродетель — это же прекрасно!

Но человеку благородных кровей жить прошлым чертовски скучно, и лицо Казановы в свете камина было угрюмо — так больно ему было вспоминать о растроченных попусту, без сожаления дукатах, о навсегда исчезнувших из его жизни красавицах. Ах, если бы у человека, пусть даже старого, всегда были деньги...

И Казанова погрузился в несбыточные мечты, рисуя себе, как он едет по широким дорогам Европы в собственной карете, с туго набитым кошельком, как требует на почтовых станциях самых быстрых коней, как раздает золото хозяевам и почтальонам, слугам и девчонкам, как целует каждую попавшуюся на его пути горничную и наслаждается каждой лигой пути — пути, ведущего в Париж... Париж? Увы, этот дорогой и безумный Париж, некогда город сплошного наслаждения, где все, что мешало наслаждению, отметалось как «предрассудок», — этот Париж убил доброго Людовика и всех аристократов, у которых не хватило ума быть скопидомами, и, как проститутка, отдался во власть мерзким санкюлотам *...

Ну, если не в Париж, так в Неаполь, гостеприимный, безудержный, прелестный Неаполь, «находящийся где-то между адским пламенем и раем»... Голова Казановы склонилась на грудь, и он задремал, улыбаясь про себя, думая об этом веселом, шалом Неаполе, где так легко расправлялись с «предрассудками» и так благосклонно улыбались молодому Джакомо...

— При том, какой груз лежит на его совести, он еще улыбается во сне, словно дитя! — раздался громкий иронический голос.

Казанова, вздрогнув, проснулся и с изумлением уставился на немолодого мужчину, сидевшего в кресле по другую сторону камина, уперев подбородок в скрещенные на набалдашнике трости руки. Забавное выражение недоверия появилось в глазах Казановы при виде красивого умного лица мужчины, смотревшего на него с насмешливой улыбкой; когда же он узнал посетителя, в глазах его отразился панический ужас. Рот Казановы еще больше ввалился, глаза расширились, а коротко стриженные волосы под париком встали дыбом. Ему отчаянно захотелось сбежать, скрыться куда угодно, но слишком он был стар и слишком напуган.

— Сен-Жермен... граф... Сен-Жермен! — наконец произнес Казанова, заикаясь, вцепившись в ручки кресла.

— А-а! — Странный гость, дотоле неподвижно сидевший в кресле, шевельнулся, и от движения бриллиант на его пальце сверкнул в угасающем свете камина.— А-а,

* Буквально без коротких штанов (sans-culottes) — так назывались революционные народные массы в период Великой французской революции (от насмешливого названия городской бедноты, носившей длинные штаны из грубой материи, в отличие от богачей, которые носили короткие бархатные штаны.

мой дорогой Казанова, я подумал, что если дать вам время, то вы, пожалуй, узнаете — будем вежливы и назовем это так: вашего друга?

Казанова облизнул пересохшим от страха языком увядшие губы и, когда к нему вернулся голос, проквакал, как старая жаба:

— Но вы же умерли! Пятнадцать лет назад... в Шлезвиге... вы же умерли... мы хоронили вас.

Гость, явно забавляясь, хмыкнул.

— И, однако же, вы видите меня здесь, — сказал он, и его яркие, хоть и немолодые глаза злобно сверкнули. — Как вы это можете объяснить?

— Не знаю. Разве что вы — призрак.

Граф с самым серьезным видом протянул ему золотую табакерку, украшенную бриллиантами и ставшую знаменитой благодаря миниатюре, на которой были изображены Его Христианское Величество Людовик XV и любимица всей Франции.

— Вы помните эту табакерку?

Казанова кивнул, и граф не без издевки продолжал:

— Или вы считаете, что она тоже призрак? Возьмите понюшку.

Казанова неуклюже погрузил дрожащие пальцы в табакерку, но больше просыпал табаку на свое кружевное жабо, чем донес до ноздрей. Он чихнул.

— Ага, — произнес граф, — я вижу, ваш нос не считает мой табак призраком.

Казанова пропустил издевку мимо ушей. Мозги у него после чиханья, казалось, прочистились, и он взял себя в руки с быстротою и умением, приобретенным за долгую жизнь, когда он, попав в переделку, мигом выбирался из нее с помощью острого ума.

— Как вы, черт подери, сюда проникли? Я даже и не слышал! — И, видя, что граф лишь улыбнулся с раздражающим самодовольством, Казанова добавил: — Значит, ваша, так сказать, «смерть» была, я полагаю, тоже одним из ваших трюков?

Казанова явно знал, куда больнее ударить старого противника, ибо граф, раздраженный таким злонамеренным выпадом, принял необычайно величественный вид.

— Сударь! — воскликнул он пронзительным от гнева голосом. — Не судите других по себе, а в особенности графа Сен-Жермена! Вы предали и продали то небольшое, что вам хитростью удалось выведать из тайн розенкрейце-

ров, и сумели провести бедную старую маркизу д'Юрфе; вы позорно воспользовались наивностью сенатора Брагадина из Венеции, сделав вид, будто умеете составлять предсказания по придуманному вами Ключу Соломона и якобы знакомы с Паралисом! Так знайте же, подлый вы человек, погрязший в мирской суете, что подлинное знание тайн розенкрейцеров, примененное во благо и с должным уважением, подарило мне вечную молодость!

Казанова с улыбкой выслушал эту диатрибу* и настолько пришел в себя, что даже смог изобразить зевок, который вежливо прикрыл рукой.

— Все это я уже слышал от вас и раньше, граф,— не без издевки заметил он.— Одни считают вас Вечным Жидом**. Другие говорят, что вы нашли бутылку с водой Понс-де-Леона***. А третьи говорят, что вы — Дьявол. А есть и такие, которые грубо называют вас шарлатаном.

— Значит, вы не верите в мои способности! — воскликнул граф, и глаза его сверкнули от гнева и оскорбленного тщеславия.— Да вы посмотрите на меня! Посмотрите, говорю, на меня,— настаивал он властным тоном, пытаясь заставить Казанову поднять на него взгляд.— Разве я выгляжу старше, чем когда вы знали меня в Париже и Лондоне?

— Нет,— откровенно признался Казанова, не в силах побороть холодок, пробежавший по спине.— Нет, не могу сказать, чтобы вы выглядели старше. Буду с вами честен: клянусь Богом, вы выглядите даже моложе.

— А ведь это было сорок лет тому назад! — вновь обретя хорошее настроение, победоносно объявил граф.— А вот вы, мсье де Казанова, вы, который были тогда в самом расцвете лет, сидите сейчас передо мною сморщенной развалиной!

— Милостивый государь,— сказал Казанова, вздернув старческий нос, — оказав нам честь «умереть» в Шлезвиге, а затем воскресив себя с помощью таинств розенкрейцества, вы, боюсь, забыли воскресить заодно и версальскую любезность, какая некогда была вашим украшением.

— Милостивый государь,— спокойно произнес граф,— вы великий мерзавец.

* Диатриба — резкая, желчная, придирчивая речь с нападками личного характера.

** Вечный Жид (Агасфер, лат.) — персонаж христианской легенды позднего западноевропейского средневековья.

*** Понс-де-Леон, Луис (1527—1591) — испанский религиозный лирик; был монахом и профессором Саламанкского университета.

— Милостивый государь,— парировал Казанова, привстав на полдюйма с кресла и склонив свои чресла в изысканном поклоне,— в этом я уступаю пальму первенства вам. Я знавал многих шарлатанов и мистификаторов, но вам, несомненно, принадлежит первое место.

Похоже было, что эта странная встреча соперников-авантюристов перерастет в ссору двух стариков, но граф промолчал в ответ на последнее высказывание Казанова (в котором, бесспорно, отсутствовало версальское изящество и любезность) и продолжал спокойно сидеть, устремив взгляд на огонь. Казанова тоже погрузился в собственные думы. Несмотря на внешнее хладнокровие, он был немало потрясен неожиданным и таинственным появлением графа и никак не мог объяснить себе, каким образом годы не оставили следа на этом старике, которого одни (как только что напомнил ему Казанова) называли Вечным Жидом, а другие считали незаконнорожденным сыном королевы Испании...

Подобно большинству шарлатанов, Казанова сам не был лишен суеверий, на которых играл в общении с другими. Именно эта полувера в сверхъестественное и способствовала его удачам с простофилями, которых, как ни странно, было превеликое множество в век Просвещения, равно как и полувера в то, что он действительно намерен жениться на приглянувшейся молодой особе, делала его красноречивым возлюбленным. А каждый самовлюбленный человек в старости склонен искренне верить, что могучая Вселенная была создана главным образом для того, чтобы служить ему сценой для бессмертия.

Подняв взгляд на гостя, Казанова увидел, что острые холодные глаза бесстрастного циника внимательно изучают его лицо. Безумная надежда вспыхнула в нем. А не может ли быть — не должно ли так быть,— чтобы силы розенкрейцерства послали своего пророка поделиться бессмертием с несравненным кавалером де Сенгальт?! Быть может — кто знает,— граф намерен включить его в число «филалетов», в эту группу бессмертных, куда, говорят, входят Калиостро, Кондорсе и принц Гессенский.

Циничный смешок графа притушил эту фантастическую надежду.

— Итак, мсье де Казанова,— заговорил он так неожиданно, что Казанова вздрогнул,— вы плохо говорите

обо мне в своем «Послании потомкам», которое, между нами, едва ли достигнет своих адресатов.

— Я вас не понимаю.

— Возможно ли? — Голос графа звучал достаточно вежливо, но слегка дрожал от оскорбленного тщеславия. — Неужели вы забросили этот свой безнравственный роман, в котором воспевали собственную персону и на который столь долго тратили свое воображение?

Казанова вспыхнул от гнева, он был оскорблен — но не презрением графа к его моральному облику и той правде, которую о себе рассказал, а намеком на то, что его великий труд не имеет значения. Однако обиду художника на критику сейчас заслонило недоумение.

— Откуда вам вообще об этом известно? — воскликнул он. — Никто же не видел моего «Послания», кроме графа Вальдштейна, да и...

— Вы думаете, это так трудно для меня? — Высокомерно прервал его граф. — Для меня, который владеет тайнами Порфирия и Ямвлиха... для меня, который знал Аполлония Тянского* и Христиана Розенкрейца... для меня, вдохновителя Эммануэля Сведенборга!**

Тут Казанове следовало бы расхохотаться, ибо вот так же помпезно сотни раз перечислял он сам звонкие имена, чтобы произвести впечатление на какого-нибудь богатого дурака. Но он не расхохотался. Он воздержался из чувства суеверия и лишь мрачно пробормотал что-то насчет того, что в его труде воздается должное учености графа и его умению вести беседу...

— Не говоря уже о моих чарах соблазнителя, а, милостивый государь? — вставил граф, улыбнувшись при этой попытке Казановы воздать должное его мужскому тщеславию. — Кстати, следует ли нам серьезно отнестись к вашим историям про мгновенно задираемые юбки, или их надо считать полетами вашей фантазии, разыгравшейся для нашего развлечения?

Все, кто знал Казанову, могли бы побиться об заклад, что подобное принижение его мужских достоинств должно больно уязвить старого донжуана и

* *Порфирий* (ок. 233 — ок. 304) — древнегреческий философ-идеалист, представитель неоплатонизма. *Ямвлих* (ок. 280 — ок. 330) — философ-идеалист, ученик Порфирия. *Аполлоний Тянский* (I в.) — философ, неопифагореец.

** *Сведенборг*, Эммануэль (1688—1772) — шведский ученый и теософ-мистик. В многочисленных сочинениях стремился дать «истинное» толкование Библии.

побудить дать гневную отповедь очернителю его репутации, но Казанова был сегодня не в себе из-за холода, одиночества и угрозы приближающейся смерти, а также из-за таинственного появления человека, которого он все еще склонен был считать мертвым. Казановой владела одна из самых древних и самых тщетных человеческих страстей — жажда жизни, вечной жизни, хотя Природа уже предупредила его, что предел жизни пройден. Если его давний соперник принес ему Жизнь...

— Мне всегда хотелось спросить вас, граф, что вы с королем обсуждали и делали в той секретной лаборатории, которую он для вас построил?

Казанова произнес это почти смиренным тоном, но не без тайного умысла, ибо считал, что лаборатория была создана для Бог знает каких опытов по части некромагии, розенкрейцерства и изобретения «эликсира жизни», тогда как исторически известно, что она была создана лишь для того, чтобы Людовик мог брать уроки химии. Так люди — особенно те, кто всю жизнь обманывал других, — готовы обмануться сами, когда очень хотят поверить во что-то невозможное, а потому Казанове и в голову не приходило, что, если бы граф действительно знал тайну бессмертия, он прежде всего продал бы ее французскому королю.

Надежды Казановы побыстрее подвести разговор к теме бессмертия не оправдались. Магическое слово «король» открыло шлюзы памяти старого придворного, и из него потоком полились рассказы о великолепии Версаля, о мадам де Помпадур и о герцоге Ришелье, о Вольтере и танцовщице Камарго, о...

— Кстати, госпожа герцогиня Шартрская... — прервал сам себя граф посреди прелестной истории об одном дворцовом скандале. — Вы, конечно, знали, что она была из адептов? *

— Конечно.

— К сожалению, — продолжал граф самым серьезным тоном, — беспорядочная жизнь свела на нет все ее познания. Нечистые, даже среди посвященных, не имеют власти над Духами.

— А как же, сударь мой, — прервал его Казанова, — как же в таком случае мы с вами...

Казанова пожалел о своей дерзости, лишь только эти слова сорвались у него с языка: подобно многим людям,

* Адепты — посвященные в тайны какого-либо учения, секты.

граф не всегда был последователен, и в одном настроении мог улыбнуться и почти не оспаривать выпадов против своих успехов у женщин, а в другом — мог в ярости возмутиться на любой намек, что он не самый великий спирит из *адептов*. А главное, графа не могло не возмутить то, что его ставят на одну доску с человеком, которого он считал презренным предателем Высокой мистики.

Однако вместо вспышки, ожидаемой Казановой (проклинавшим свое безрассудство, которое могло вызвать ее), граф лишь улыбнулся и умиротворяюще повел тонкой белой рукой, наполовину скрытой элегантными кружевами.

«Ему что-то от меня нужно! — мелькнуло в голове Казанова. — Вот это уже лучше».

— У герцогини Шартрской была прекрасная коллекция оккультных книг... — как бы между прочим добавил граф, мечтательно глядя на пылающие угли.

Казанова тотчас все понял и теперь уже знал, почему граф Сен-Жермен так неожиданно явился к нему, и, хотя глаза старого игрока на миг сверкнули, на лице его не отразилось ничего.

А за вроде бы вскользь произнесенными графом словами скрывалось вот что. Казанова тоже знал распутницу герцогиню, «одалживал» книги из ее дорогой библиотеки — книги, которые он «забывал» вернуть, ибо среди адептов их денежная стоимость была очень высокой. Ну и, конечно, они были давным-давно проданы бороатым немцам и растрепанным французам, занимавшимся поисками «философского камня» и «эликсира жизни» и погонями за прочими химерами, о чем граф, конечно, знал. Однако в прошлую зиму Казанова, страдая одинокими вечерами от скуки, попытался восстановить по памяти один труд, столь редкий, что, по слухам, он существовал всего в двух экземплярах, и, когда работа была завершена, показал ее своему покровителю графу Вальдштейну, как если бы то был оригинал...

— Позвольте быть с вами откровенным, — вежливо произнес граф Сен-Жермен, однако вид у него при этом был необычайно хитрый. — Насколько я понимаю, некоторые из этих книг попали к вам — самым достойным, конечно, образом, самым достойным.

— Ну и что же, если попали?

— Ничего, ничего, я это так, из праздного любопытства, — чуть слишком поспешно сказал граф.

— Ничто не бывает просто так, мой дорогой граф, — слегка съязвил Казанова. — Даже праздное любопытство.

— Что ж, кавалер, — сказал граф, увидев свою ошибку, — позвольте признаться: любопытство у меня не праздное. Мне бы хотелось посмотреть эти книги... Нельзя ли уговорить вас одолжить мне их? Человеку уважаемому и, конечно, такому же адепту?

Казанова медленно и торжественно покачал головой — с таким видом, точно на нем лежала огромная ответственность.

Граф понял свою ошибку.

— Или же, — многозначительно добавил он, — возможно, вы согласились бы расстаться с ними — за вознаграждение?..

— При условии, конечно, что вознаграждение будет соответственным... — начал Казанова.

— А также при условии, что у вас по-прежнему есть эти книги, — вставил граф, сверля его острым взглядом.

Казанова медленно, по-стариковски медленно, поднялся с кресла, всем своим видом выражая серьезность и значительность, хотя внутри у него сидел дьяволенок и хихикал, так что Казанова с трудом подавлял подступавшие к горлу смешки. В торжественном молчании, с загадочным выражением лица он открыл в своем столе из розового дерева потайной ящик и извлек шкатулку слоновой кости, на которой были вырезаны пентаграмма и знаки Зодиака. С величайшей осторожностью он достал из нее небольшой, замызганный и потрепанный манускрипт. Поцеловав его в знак явного уважения, а на самом деле с тем же чувством, с каким игрок целует фишку, Казанова осторожно положил манускрипт графу на руки.

— Орелланус! — Нет слов, чтобы описать тот тон, каким Сен-Жермен произнес имя этого забытого писателя — тут был и благоговейный трепет, и невольное прорвавшиеся интонации опытного шарлатана, и алчность, а также жгучее любопытство библиофила... — Орелланус Петреус! Пропавшая книга египетских тайн! Ключ к разгадке пирамид и иероглифов! Каким же образом вам удалось завладеть этим сокровищем?

Казанова улыбнулся. На его счастье, свет от камина был слишком неверным, и граф не мог ни прочесть выражение лица Казановы, ни рассмотреть манускрипт, который тот держал в руках. При ясном же свете и то и другое тотчас вызвало бы у графа

подозрение. Ну, а Казанову раздирало с полдесятка сомнений. Искренно ли удивление графа? Возможно ведь, что Вальдштейн лишь упомянул о существовании очень редкой оккультной книги, но не назвал, какой именно. И насколько сильно желание Сен-Жермена ее иметь? Какую сумму он готов и может за нее выложить? Только ни в коем случае нельзя давать ему разглядывать манускрипт. А Сен-Жермен, пригнувшись к жаркому пламени, уже жадно всматривался в придуманные Казановой иероглифы...

Казанова быстро нагнулся, и, прежде чем Сен-Жермен успел сообразить, что происходит, манускрипт был уже в руках Казановы, а затем снова лежал в резной шкатулке из слоновой кости.

— Зачем вы это сделали? — в досаде воскликнул граф.

Казанова не сразу повернулся к нему, делая вид, будто занят укладыванием шкатулки в ящик стола, на самом же деле ему нужно было время, чтобы стереть с лица пот, а с губ лукавую улыбку.

— Дорогой мой граф, — вкрадчиво произнес он, снова усаживаясь в кресло. — Вы должны меня извинить... но... по вашим же словам, вы человек чрезвычайно старый... и могли уронить эту бесценную книгу в огонь — так близко поднесли ее к нему.

— Что за глупости, милостивый государь! — Глаза Сен-Жермена вспыхнули от ярости и досады. — Сейчас же верните мне книгу! Я настаиваю...

— Вы забываетесь. — В голосе Казановы зазвучали дерзкие нотки. — Книга ведь не ваша, а моя.

— Вы ее недостойны, — гневно возразил граф. — Она не откроет вам своих тайн...

— Все возможно, — холодно произнес Казанова.

— Да вы!.. — От ярости граф чуть не оскорбил Казанову, но сумел сдержаться. Весьма прискорбно, конечно, что человеку благородных кровей, графу де Сен-Жермену, приходится отступить перед этим картежником-шулером, этим итальянцем-авантюристом, этим юбочником, этим королевским сводником, этим осквернителем святых таинств... все так, так, но, если хочешь получить книгу, лучше держать сокровенные мысли *in petto* — в тайниках души.

— Да вы же... — повторил граф уже другим тоном, — вы неверно меня поняли, дорогой кавалер. Я хотел лишь сказать, что нужны определенные познания, определен-

ное посвящение в тайны... Но не будем об этом. Самое важное, что у вас есть бесценный Орелланус. Однако же меня обижает ваш отказ поделиться им с давним и преданным другом.

— Я готов продать манускрипт... за некую цену,— просто сказал Казанова.

Граф вздрогнул, точно его обжег муравей. Ему не понравился неожиданно деловой поворот разговора. Это могло предвещать нечто малоприятное — видимо, Казанова намеревается запросить немалую цену за то, что, как ему известно, стоит того.

— Дорогой мой граф,— не без осуждения произнес Казанова,— вы, кажется, удивлены и даже задеты моим скромным предложением. Будьте же разумны. Вы хотите иметь книгу — я это вижу, не отрицайте. И я знаю, почему вы хотите ее иметь. Мой манускрипт, бесспорно, единственный — другого экземпляра этой книги на свете нет. Я почерпнул из нее поразительные вещи, но чего только из нее не извлечете вы? Такие чудеса, такие чудеса!..

Граф буркнул что-то нечленораздельное.

— А теперь,— продолжал Казанова тем особенно сладким голосом, какой, видимо, появляется у всех торговцев знаниями, когда они хотят получить высокую цену за нечто, как им известно, не стоящее ни гроша.— Теперь я готов отдать сей великий, сей уникальный, сей бесценный труд вам...

Казанова приостановился, словно кошка, которая замирает, вытянув лапу с острыми когтями и готовясь нанести мыши смертельный удар,— граф быстро поднял на Казанову взгляд, пытаясь при свете угасающего огня разобрать выражение его лица.

— ...для изучения,— с улыбкой договорил Казанова, соблаговолив положить конец напряженному ожиданию.

Глаза у графа стали скучными, и он чуть глубже ушел в кресло, ожидая услышать цену.

— Что я у вас за это попрошу? — задал риторический вопрос Казанова, и его пылкое воображение итальянца воспламенилось при мысли о том, какую великолепную роль ему предстоит сыграть.— Денег? Власти? Знаний? Женщин? Все это — прекрасные дары, дивные наслаждения! Но что они значат для бедного старика, вроде меня? Что мог бы я купить на деньги и на что мне власть? Слишком много пришлось мне познать того единственного (не считая оккультных наук), что стоит знать,— горькой правды жизни. Что же до женщин, то

прекраснейшие и распутнейшие из них могли бы ранить мое сердце, но мою плоть им уже не возбудить. Все эти дары и вообще все, что представляется как *summa bona**, — все это ни к чему без того дара, которым, если вы говорите правду, вы и только один вы из всех рожденных от семени мужчины и плоти женщины можете облагодетельствовать... — Он помолчал, и внезапно угасший в камине огонь, когда от яркого пламени вдруг остаются лишь тускло рдеющие уголья, подчеркнул многозначительность паузы. — Без жизни! Вечной жизни, тайну которой, судя по вашим словам, вы знаете. Не глупого обмана, не абстрактной жизни, которую предлагают фанатики, чтобы обобрать дураков, а жизни настоящей, в этом мире, сейчас, жизни с искрой молодости и теплом любви в крови! Дайте мне пятьдесят лет молодости, даже десять, и Орелланус ваш!

Казанова произнес эту пылкую речь с таким жаром и увлечением, что, будучи хорошим актером, даже пролил слезу, подавшись собственной патетике.

Однако, к его великому огорчению и удивлению, графа, казалось, ничуть не тронула эта речь, которая Казанове представлялась маленьким шедевром обмана: вместо того чтобы с готовностью откликнуться на просьбу Казановы, граф лишь взял понюшку табаку, кашлянул, чихнул и сухо заметил, что надо бы разжечь огонь. Проклиная своего давнего врага за жестокосердие и умение торговаться, Казанова с трудом поднял с кресла свое негнущееся старое тело и бросил на затухающие головешки два-три полена и несколько прутьев, — пламя тотчас весело вспыхнуло.

— Дорогой мой Джакомо, — вежливо произнес граф, когда Казанова, с трудом переводя дыхание даже после столь незначительного усилия, снова тяжело опустился в кресло, — я ведь могу звать вас «Джакомо», да? Казалось бы, что может быть естественнее, разумнее и неизбежнее подобной просьбы в подобных обстоятельствах... — И граф таким пронизывающим взглядом обвел Казанову, что тот почувствовал себя перед ним голым во всей своей дряхлости. — Как вы, должно быть, знаете, на протяжении моей очень долгой жизни ко мне обращались с этой просьбой бесчисленное множество раз. И, как всегда, я с величайшим сожалением вынужден давать один и тот же ответ — это невозможно.

* Здесь: великое благо (лат.).

— Невозможно?! — в ужасе воскликнул Казанова. — Но почему?

— А потому, — вежливо произнес граф, но в глазах его сверкнуло неизъяснимое сардоническое веселье, — что Величайший из Духов давно внушил мне, что, если я когда-нибудь открою кому-либо из смертных тайну моего бессмертия, я уничтожу его власть надо мной и обреку себя на мгновенную смерть.

Казанова прикрыл свое разочарование понюшкой табаку и кружевным платком. Старый лис! Конечно, он уже давно придумал точную формулировку, исключаящую все расспросы и пристаивания.

— Пусть это вас не обескуражит, — добавил граф с недоброй иронией. — Вы прикоснулись к оккультным наукам, правда, рукой невежды, но кто знает, чего вы со временем можете достичь? — Он противно кашлянул, и Казанова почувствовал ненависть к нему. — А пока — кхе, кхе! — извините... пока, поскольку я могу использовать Ореллануса для высоких целей во благо человечества, равно как и избранных, почему бы вам не продать его мне за ту цену, какую я могу заплатить? Почему вы должны быть вечно прикованы к вашему тевтонцу и служить у него библиотекарем? Имея кругленькую сумму, вы могли бы путешествовать, поехать на юг — в Неаполь.

Казанова вздрогнул: этот выстрел наугад попал в цель его собственных мечтаний, которым он предавался полчаса назад. Путешествовать, отправиться в веселый беспутный Неаполь — именно этого он ведь и хотел. В нем ожили все его суеверия, и он чуть ли не со страхом уставился на таинственного графа. Однако никакой суеверный страх не мог побороть в нем врожденного торговца...

— Сколько? — спросил он.

— Тысячу золотых луддоров.

— Пять тысяч.

— Глупости, милый! — Граф был явно раздосадован. — Даю вам тысячу двести...

— Пять тысяч.

Торговля шла упорная и могла быть бесконечной, ибо перед графом Сен-Жерменом простирались тысячелетия жизни, а Казанова был упрям. Наконец они сговорились на табакерку графа с драгоценными камнями и тысячу семьсот пятьдесят пять луддоров — последняя пятерка достаточно ясно показывала, насколько жестокой была борьба.

— А теперь,— сказал граф, немного сникнув после схватки и потому взбадривая себя понюшкой табаку,— давайте мне Ореллануса, а я дам вам записку — деньги вы получите завтра в моем банке.

Это простое и вполне естественное предложение ошарашило и напугало Казанову. До сих пор события развивались сообразно воле этого человека, жаждущего жизни — жизни сейчас,— а соблюдены ли были правила поведения и какие будут последствия — не имело значения. Казанове не терпелось вырваться из ненавистного Дукса и еще разок кутнуть, а ради этого он готов был не только совершить мошенническую продажу, но и рискнуть испортить отношения с графом Вальдштейном и потерять своего единственного друга, человека, предоставившего кров старику без гроша в кармане. Граф Сен-Жермен непременно обнаружит подлог самое большее через час и, конечно же, тотчас отправится к графу Вальдштейну и поведаст об обмане. Но не это беспокоило Казанову — разоблачение произойдет не сразу. Главной его задачей было получить деньги и быть в пути прежде, чем граф обнаружит мошенничество...

— Дорогой мой граф,— холодно произнес Казанова.— Вы обладаете вечной молодостью и забываете, что мои секунды сочтены. Так что пошлите за деньгами сейчас же...

— Но здесь ведь нет банкира,— возразил граф.

— Пошлите моего слугу в город... или вашего... или обоих — я заплачу...

— Но банкир... он же сейчас спит!

— Дорогой мой! — в голосе Казановы звучало бесконечное презрение.— А для чего же и существуют бюргеры, как не для того, чтобы их будили, если это нужно людям благородным? Ну потешьте же мою причуду, возможно, одну из последних причуд вашего старого друга и врага! У меня есть вино — давайте проведем за ним ночь, а на заре, когда придут деньги, расстанемся: вы, унося с собой знания, а я — снова в поисках непознанного, приключений и... Ах! Увидеть снова Италию, прежде чем умереть!

Граф передернул плечами, поразмышлял, помедлил, выслушал уговоры, куда более убедительные, чем произносит Арлекин у Гольдони, и наконец сдался. Распоряжение банку было написано, слуга графа отослан с бумагой, а слуге Казановы было приказано в величайшей тайне собрать вещи и приготовить лошадей и карету, чтобы в любую минуту выехать...

— Ваше здоровье, граф! — весело произнес Казанова, поднимая бокал с шампанским, засверкавший в свете полудюжины высоких свечей.— За моего Избавителя! — И осушив бокал, поставил его на стол.

— Благодарю, благодарю.— Граф глотнул вина — немного, но достаточно, чтобы его оценить. Затем с сомнением покачал головой. — Возможно, нехорошо я поступаю,— раздумчиво заметил он.— Что скажет ваш патрон, Джакомо?

— А фиг с...— веселым речитативом пропел Казанова. Прошу прощения, что вы сказали?

— Ничего. Я лишь подумал о том, как цена мудрости будет растранижена на безумства... тайны Величайших Духов — на женщин...

— Для таких утех слишком поздно,— произнес Казанова, сразу утратив свое веселое настроение.

Граф вопросительно посмотрел на него, приподняв брови, на лице его появилось сочувствие.

— А-а,— издал он и взял понюшку табаку, потом другую.— А-а. Одни советуют корни мандрагоры, другие — костный и обычный мозг, цибет со свечами, волосы волчьего хвоста, ласточкино сердце, член кита, фисташки, имбирь, белок...— Граф умолк, временно исчерпав запасы дыхания и эрудиции.

— Увы,— с невинным видом заметил Казанова,— молодость забывается, как и женщина, которую ты желал.

Граф рассмеялся.

— А в своей книге вы высказываете иную точку зрения,— сказал он. — Не вы ли рекомендуете диету?

— Какого дьявола! — воскликнул Казанова.— Зачем Вальдштейн показывал вам мой манускрипт?..

— Нельзя хранить гениальное в тайне,— иронически заметил граф. — Предвижу, через сто лет за мной будут бегать, чтобы расспросить о вас.

— Это не примирит меня со смертью.

— Пусть мысль о будущей славе утешит вас сейчас,— любезно сказал граф.— Люди готовы были умереть за это.

— Ну и дураки,— мрачно изрек Казанова.— Год молодости стоит вечной славы.

— Не будем об этом,— заметил граф, явно намекая, что для бессмертного эта тема не представляет интереса.— Но есть один предмет, о котором мне хотелось бы вас расспросить.

— И что же это? — спросил Казанова, исподтишка бросая взгляд на часы и беря бокал.

— Женщины.

— А-а.— Казанова, даже не пригубив шампанского, поставил на стол бокал.

— А-а? — передразнил его граф.— Когда мы с вами познакомились, мсье Казанова, вы не терялись при обсуждении этого увлекательного предмета. И то, что вы говорите в своей книге, подтверждает вашу репутацию соблазнителя.

— Вы очень любезны,— безразличным тоном пробормотал Казанова.

— И все же...— Граф быстро сунул в нос одну за другой две понюшки табаку, что, видимо, должно было подчеркнуть его скепсис.— Простите меня за нескромность... но... вы ничего не приукрасили?

— В этом не было нужды,— задумчиво произнес Казанова, и в глазах его сверкнул былой задор.

— И однако же,— граф, казалось, размышлял вслух,— однако же, хотя у вас было столько приключений со столь многими женщинами и в столь многих странах, хотя вы так лихо перескакивали из одной постели в другую — а может быть, именно потому,— вы никогда по-настоящему не любили, верно?

— Что?! — воскликнул Казанова, наконец почувствовав подлинный интерес к беседе.— Да вся моя молодость и все зрелые годы сгорели на костре страсти...

— Несомненно, несомненно, но это не одно и то же, — холодно заметил граф, прерывая его.— Ну, а ваши женщины... они были высоких достоинств? Они обладали шармом, сексуальным любопытством, чувственностью... но испытывали ли они к вам подлинную привязанность, преданность?

— Вы не знали меня или напрасно читали мою книгу...— возмущенным тоном начал было Казанова, но граф перебил его.

— ...Вы всегда легко с ними расставались... а замечали ли вы и размышляли ли над тем, что и они без труда расставались с вами?

Казанова заерзал в кресле и со смущенным видом обвел глазами комнату. Ясно было, что эта мысль никогда не приходила ему в голову. Граф заметил произведенное его словами впечатление и с ехидством давнего друга использовал свое преимущество.

— Знаете, Джакомо, несмотря на все успехи вашей плоти — а, признаю, они были многочисленны и поразительны,— я уверен...— тут он на секунду умолк, чтобы сильнее всадить жало последующих слов,— я уверен, что ни одна женщина по-настоящему не любила вас...

— Что?! — От негодования глаза у Казановы чуть не вылезли из орбит.

— Да,— промурлыкал беспощадный граф,— я не верю, чтобы какая-то женщина была в вас влюблена. Не верю, что вы знали, как заслужить такой венец для своей страсти. О, да, вас тянуло к женщинам, вы действительно со вкусом любили их, все связанное с женщиной вдыхалось вами, как духи, которые никогда не надоедали,— лишь бы запах менялся. Вы были чувствительны к женскому шарму, вам нравилось остроумие женщин, их веселость, отсутствие у них той дурацкой грубости, что делает столь отвратительными простолудинов, вас зачаровывал блеск их волос, легкое касание их губ в поцелуе, бесконечная нежность их обнаженных рук, груди и бедер, однако вы никогда по-настоящему не знали женщин, не знали, что у них есть сердце и голова...

— Что за глупости вы несете!

— С трудом распрямив старческие суставы, Казанова поднял свое тощее тело с кресла и зашагал по комнате, сжимая и разжимая кулаки и бормоча под нос ругательства на венецианском диалекте, а граф смотрел на него со смесью убогатворенного ехидства и опасения, как бы с ним чего не случилось.

— Да как вы можете сомневаться в том, что меня любили? — брызгая от злости слюной, выкрикнул Казанова.— Разве они не выполняли все, о чем я просил? Разве не приносили в жертву моей страсти самое дорогое, что есть у женщины?

— Несомненно! — Граф снова быстро сунул в нос двойную порцию табаку, что напомнило Казанове Вольтера: тот отличался таким же ироническим неверием.— Несомненно, если вы разделяете убеждения тупого мира, что мужчина преследует женщину, что он навязывает ей интимные отношения, побеждает препятствия, добродетель, долг, сопротивление... Но, дорогой мсье де Казанова, неужели вы никогда не замечали, что написанное выдает правду?

— Я вас не понимаю.

— Что ж,— милостиво улыбнулся граф,— сейчас скажу. В вашей книге содержится нечто поразительное, тем более поразительное, что вы, несомненно, не заметили этого.

— Чего же я не заметил в себе самом? — раздраженным старческим дребезжащим голосом спросил Казано-

ва, несмотря на все старания держаться холодно и выглядеть иронично.

— А вот чего: не столько вы использовали всех этих женщин, сколько, милостивый государь, они использовали вас!

При последних словах графа Казанова перестал раскачиваться по библиотеке и остановился. Затем снова заходил — тело его тяжело раскачивалось под влиянием внутренней борьбы с обидой и смятением. Ибо для донжуана, особенно итальянского, услышать, что он оказался игрушкой в руках женщин, а не они — в его руках, было невыносимо. Он был глубоко возмущен, ему хотелось в свою очередь сделать выпад против графа, сказать, что это — абсурд, парадокс, искажение фактов, продиктованное завистью. Он пытался успокоить себя, вспоминая женщин, которые шли на риск ради него, не боясь мучений, позора, заточения и даже смерти. Ради него? Нет, ради того удовольствия, какое он им давал, ради извращенного наслаждения, какое получает мужчина в погоне за женщиной легкого поведения, о которой все говорят и чье тело можно купить, но не изменчивое сердце, которое она скорее отдаст какому-нибудь сутенеру без гроша в кармане! Зато с телом Вакха! Женщины превратили его в проститутку и еще заставляли за это платить. И Казанове вдруг пришло в голову, что женщина, при всех своих недостатках, при своей отринутости церковью и законом, при своей слабости и неразвитом уме, пожалуй, не столь уж беспомощна, как кажется...

Он перестал ходить, точно зверь в клетке — ходьба утомила его, но не успокоила, — и неуклюже опустился в глубокое кресло напротив графа, который сидел и молча, без улыбки наблюдал за ним.

— Милостивый государь, — сказал Казанова, пытаясь, но без успеха, вернуть себе былую удаль, — вы наговорили сегодня такого, что глубоко оскорбило бы меня в молодые годы. Но я — увь! — достаточно стар и понимаю, сколь безумно поднимать вопрос о чести там, где ее нет...

— Мудрость приходит не сразу, — с улыбкой заметил граф, — но под конец все же настигает нас.

— Обычно слишком поздно, — произнес Казанова. — Только не надо думать, что вы убедили меня...

Граф слегка улыбнулся, но старые глаза Казановы даже при свете свечей заметили это.

— Вы улыбаетесь! — резко сказал он. — Но я в самом

деле так считаю. Не приемлю я и вашего нелепого предположения, будто произвольно написал то, что хотел скрыть. Ни один писатель с таким утверждением не согласится. Но я готов признаться — если угодно, даже покаяться, — что не все в моей жизни происходило так, как я это описал, да и не все я предал бумаге. Но напиши я всю правду, даже вы признали бы, что по крайней мере однажды я любил и был любим за свои личные качества. Историю этой любви я вынужден скрывать.

— Что же могло помешать кавалеру де Сенгальт, — вежливо осведомился граф с легкой скукой в тоне, — рассказать правду о своей любви в манускрипте, предназначенном лишь для ближайших друзей и грядущих поколений?

— Отличный вопрос! — пылко воскликнул Казанова. Но, милостивый государь, это не просто любовная история. Тут замешаны дела государственные...

Граф поднял брови.

— Дела государственные всегда становятся со временем известны, да и вы сами...

— В данном случае я дал клятву молчать под угрозой...

Граф слегка передернул плечами, но благоразумно промолчал.

— Уж не намекаете ли вы, что я давал клятвы и не держал их? — заметил Казанова, невольно улыбнувшись. — Признаюсь, так бывало. Но эту клятву я могу и должен сдержать. Весьма сожалею. Мне бы очень хотелось рассказать вам, как все было на самом деле... но я не имею права назвать имя дамы.

— Чего вы опасаетесь? Какое иностранное правительство может до вас добратся, пока вы находитесь под покровительством Вальдштейна? Если, конечно, — не без издевки добавил он, — вы — столь важная персона, что из-за вас стоит начать войну!

— Вы не венецианец, — сказал Казанова с легкой дрожью в голосе. — И вам этого не понять. Вас обманывает слово «республика», и вы полагаете, что в Венеции царит большая свобода, чем в монархиях. Да, конечно, у венецианцев нет короля, и ни один венецианец не может носить иностранного титула — разве что он человек маленький и ему, как подачку, дадут такой титул. Но правит Венецией — несмотря на внешний народный характер правления — тирания богатого, могущественного и очень ограниченного меньшинства с жесткой

внутренней дисциплиной, которое осуществляет свою власть с помощью самой вероломной и бессовестной тайной полиции, обладающей почти неограниченными правами. Я, говорящий сейчас с вами, знаю изнутри Пьюмби, венецианскую государственную тюрьму, где царит тирания Триумvirата, так что я знаю, о чем я говорю. С моей стороны неблагоразумно даже намекать на это. Вы и не представляете себе, как неумолимо мстителен Триумvirат... вы не представляете себе, как всеильна полиция, как она умеет выследить и убить приговоренного венецианца. Они не часто прибегают к такого рода методам, ибо недостаточно сильны, чтобы бросать вызов более могущественным державам, но в данном случае — могут. За всей этой историей, связанной со мной, скрываются тайны, о которых я могу лишь догадываться, а о других даже и не подозреваю... Я старый человек, граф, но мне что-то не хочется умереть по приказу Триумvirата от руки убийцы.

Граф слушал эту длинную речь Казановы сначала со скептическим безразличием, затем с легким недоумением, затем с изумлением.

— Да неужели вы не слышали?

— Не слышал о чем?

— Разве вы не просматриваете газеты?

— Иногда,— Казанова состроил гримасу.— Но как можно реже. Что они могут нам рассказать — разве что о незаслуженной победе санкюлотов и черни!

— Ну, я-то считал, что вы будете первым, кто здесь об этом узнает. Как же могли вам не сказать? Какие тупицы эти богемцы...

— Но что же это за новость, которую мне следовало бы знать? — прервал его Казанова.— Уж не умер ли гражданин Бонапарт?

— Нет, друг мой,— с циничной улыбкой ответил граф.— Войска генерала Бонапарта заняли Венецию.

— Что?! Никогда не поверю!

— И тем не менее это правда: Светлейшая республика Венеция перестала существовать. У Бонапарта спросили, какие будут наказания, и он мимоходом бросил: «Эта республика прожила достаточно долго». После чего высокопринципиальные республиканцы, его лакеи, миглом уничтожили старейшую в мире республику, а сейчас грабят труп. Несомненно, чтобы приободрить другие республики, как сказал бы Вольтер. Но вот газета — прочтите, что тут написано.

Казанова машинально взял газету, провел раз-другой рукой по лицу и уставился на страницу, явно ничего не видя, несмотря на то что надел очки с сильными стеклами. Граф с изумлением заметил, что в глазах старика стоят слезы, а губы что-то шепчут. Молитву? Нет.

— Паоло Анафеста — шестьсот девяносто седьмой; Марчелло Тельяни — семьсот семнадцатый; Орсо Ипато — семьсот двадцать шестой; Мastro Милес — семьсот тридцать седьмой; Орсо Диодато — семьсот сорок второй...

Это был перечень тысячелетнего владычества венецианских дождей с датами начала их правления, которые каждый венецианский ребенок знает со школы...

Казанова перечислил позабытые имена, бормотанье затихло, и надолго воцарилась тишина. Внезапно полено в камине разлетелось на куски, взметнулся фонтан искр и на мгновение вспыхнуло пламя. Казанова поднялся, бросил в камин вылетевшую головешку, чтобы она не прожгла деревянный пол, затем, повернувшись спиной к графу, прошел в противоположный конец библиотеки и стал возиться с крышкой грубо сколоченного сундука, стоявшего в углу. Когда он вернулся, очков у него уже не было; улыбаясь как ни в чем не бывало, он нес новую бутылку шампанского.

— Прошу извинить мои дурные манеры, — сказал он и принялся открывать бутылку, — ваша новость потрясла меня.

— Это я должен просить у вас извинения за то, что принес такую весть. Но я считал вас слишком большим космополитом...

— Даже у космополита могут быть тщетные сожаления, — прервал его Казанова; пробка от шампанского хлопнула. — История Венеции не скоро забудется, хотя начало ей положили герои, а в конце были такие люди, как я.

— Во всяком случае... — начал граф, принимая из рук Казановы бокал. — Да, я с удовольствием отведаю этой великолепной ветчины... Во всяком случае, теперь вы можете уже не опасаться мести со стороны Триумvirата.

— Хотелось бы мне так думать, — уныло произнес Казанова. — Не очень-то приятно, взяв грязную газетенку, узнать, что твоей страны больше нет. Но давайте выпьем — да будет проклята чернь!

— От всей души!

— И раз уж я удерживаю вас здесь, хотя вы,

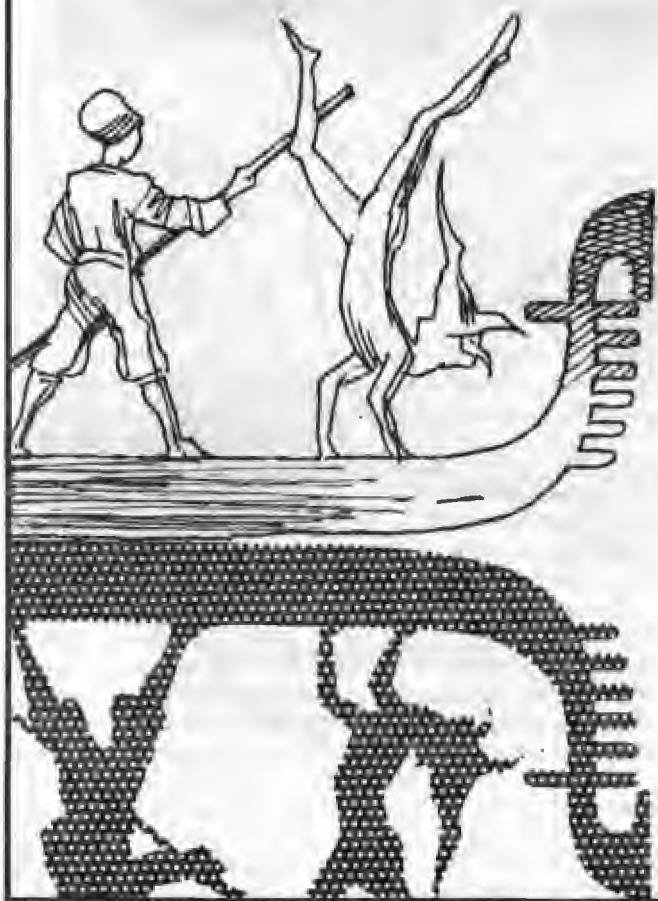
несомненно, предпочли бы лежать сейчас в постели,— добавил Казанова, с превеликой ловкостью отрезая ломтики ветчины,— и раз мне теперь нечего бояться Совета десяти, или Триумvirата, или венецианских сбиров, так и быть, расскажу вам эту историю, которую мне пришлось изрядно исказить в моем манускрипте...

— Историю любви?

— Да, подлинную историю моих отношений с Анриеттой.



Часть I







«Quella zente che ga in bocca'l riso».

«Что за народ — смеется вечно, смеется во весь рот».

Венецианская народная песня

I

Тройная мгла окутывала Венецию — ночь, низкая облачность и пелена ледяного дождя, принесенного борой, порывистым северо-восточным ветром, который налетает на город с Адриатики, превращая в бурные горные реки тихие, окаймленные дворцами каналы. В перерывах между завываниями ветра те из горожан, кто не спал, слышали более зловещий звук — грохот воды, разбивающейся о водорезы у Лидо. При мысли об этой единственной защите города от наводнения тот, кто бодрствовал, читал молитву, а то и две в надежде, что водорезы выдержат, ибо при боре достаточно появиться в них трещине, чтобы всю Венецию накрыло кипящим покровом белопенных валов.

Был, правда, один венецианец, который, несмотря на грохот бури и связанную с ней опасность, мирно похрапывал, хотя постель его и не отличалась мягкостью. Молодой человек лежал в стоявшей на приколе гондоле, свернувшись калачиком в фельце, маленькой горбатой кабине, и спал, невзирая на глухие удары носа гондолы о причальный столб, плеск мелкой волны в канале и тяжелый стук дождя. Если бы кому-нибудь из бесчисленных полицейских шпиков (на чьей обязанности было с помощью любой подлости удерживать правителей у власти, но ни в коем случае не мешать развлечению граждан), если бы кому-нибудь из этих вездесущих паразитов взбрело на ум бродить в такую ночь и пришла безумная мысль сунуть голову в пришвартованную гондолу (а венецианские любовники готовы пустить в ход кинжал, если им помешают), ну, он просто бы решил, что

гондольер предпочел заночевать на борту, вместо того чтобы добираться до дома, а то ведь наверняка промокнешь, да можешь и утонуть. Но шпик не разглядел бы в темноте, что гондольер был человеком состоятельным: на нем были шелковые панталоны, а на красивых туфлях — бриллиантовые пряжки. Более того, он спал в бауте — своеобразной комбинации белой маски с черным капюшоном, которую по законам Венеции могли носить все граждане во время карнавала, чтобы спокойно предаваться необузданным удовольствиям — при условии, что они не станут пытаться изменить форму управления в государстве.

Бора свистел и ревел; волны плескались и грохотали; гондола поскрипывала под стучавшим по ней дождем, но мужчина в маске продолжал мирно спать.

Внезапно послышалось шлепанье голых ног; полуодетая фигура без шляпы выскочила из темного проулка на набережную, прыгнула в покачивающуюся гондолу и настоятельно, но тихо позвала:

— Марко! Марко! Да где же ты?

Молчание. Полуголый мужчина ругнулся, поспешно отвязал гондолу от столба и принялся грести наугад, в кромешной тьме, под дождем и ветром, направляя гондолу к главной артерии Венеции — Большому каналу. Гондола уже плыла, но еще находилась всего в нескольких ярдах от берега, когда раздались шаги обутого человека и из того же проулка на фундамента, или набережную, выскочил другой мужчина. Белая рубашка и скрип весла выдали гребца, несмотря на бурю и темноту.

— Казанова! Злодей! Обманщик! Врун! Соблазнитель! Вернись!

Ответа не последовало; тем временем гребец, проявив чудеса силы и сноровки, сумел вывести гондолу на середину канала.

— Я вижу тебя, я тебя слышу! — кричал преследователь в пылу досады, топя ногами у края воды. — Предатель, убийца, насильник! Говорю — вернись!

Но гондола или, вернее, белая рубашка на гондоле — а это все, что мог разглядеть преследователь, — уже почти исчезла из виду, и теперь вместо грозных окриков раздался пронзительный вопль бедняги:

— Ах, Джакомо! Она же любит тебя! Мы все тебя любим! Только вернись и женись на ней, мы тебя простим!

Ветер отнес в сторону большую часть слов, и лишь «женись» и «простим» достигли слуха Казановы. Хотя

у него и перехватывало дыхание от усилий, каких требовала гребля на тяжелой гондоле против ветра, Казанова расхохотался: чтобы Казанова связал себя и свою судьбу с распутной маленькой шлюхой из проулка,— да никогда! Ничего у них не выйдет!

Но смех Джакомо достиг ушей его преследователя и подтолкнул к действию.

— Сатанинское отродье! Чертово дерьмо! Грязный ублюдок грязной матери! Вот тебе! Вот!

Раздался треск двуствольного пистолета, желтая вспышка осветила темноту, и две пули просвистели мимо головы Казановы, словно металлический хлыст прорезал воздух. Напрягши всю силу своих мышц, Казанова сумел повернуть гондолу за выступ стены и выйти в более широкий канал, где ветер подхватил ее и понес под мост. Проклятия преследователя сразу заглохли, но выстрелы разбудили спящего, и он, встрепенувшись, закричал во всю мочь:

— Воры! Убивают! Помогите ради Господа Бога и Пресвятой Богородицы!

— Заткнись, Марко! — приказал ему Казанова.— И гребни что есть мочи к замку Брагадина.

Препираться в гондоле, раскачиваемой бурей, было не время, и Марко, пробравшись на нос, взял второе весло. В Венеции даже аристократы умели грести и управлять гондолой так же лихо, как испанцы скакать на лошади, и знали запутанную сеть своих каналов так же хорошо, как деревенский парень знает все дорожки и тропки возле своего дома. Через полчаса гондола уже благополучно причалила к дворцу сенатора Брагадина, где часто останавливался Казанова. Оба приятеля промокли сейчас до костей. Марко чувствовал, как вода стекает по его ногам в туфли. Казанова потащил приятеля под арку входа с канала, где можно было поговорить, не повышая голоса.

— Я не хочу, чтобы твой дядя Брагадин видел меня,— прошептал Казанова.— Только на прошлой неделе он поучал меня, что-де веселье весельем, но нельзя терять ум. Так что давай тихонько проскользнем в дом и переоденемся в моей комнате.

Однако входные двери были заперты на засов от бури, а нижние окна забраны тяжелыми железными прутьями. Ничего не оставалось, как стучать; стук разбудил лакеев, которые начали ахать и охать по поводу того, в какую беду попали их молодые господа; тут из своего уютного салона появился сам сенатор

Брагадин, дородный пожилой господин в непомерно большом парике, с обвислыми щеками, пухлым ртом и добрыми глазами; круглый животик сенатора обтягивал вышитый жилет с золотыми пуговицами, короткие ножки были обуты в туфли на красном каблуке, со сверкающими бриллиантовыми пряжками.

Сенатор в отчаянии вскинул пухлые белые, в кольцах руки, отчего манжеты из тонких кружев упали на сливовый бархат его камзола.

— Джакомо! Марко! Мальчики! — Он словно оплакивал их, что свойственно всем родителям и попечителям, которые рассчитывают видеть в своих потомках людей мудрее и лучше их самих. — Что случилось? Как вы попали в такую беду!

— Все из-за пари, — спокойно ответил Казанова, стараясь понять, сердится ли старик. — Двое гондольеров на *traghetti** поклялись, что пригребут к берегу быстрее нас, и вот мы...

— Пригребут быстрее вас?! — Сенатор опустил руки и хмыкнул. — Да вы себя видели? Такое впечатление, что вы взялись проплыть быстрее целого выводка водяных крыс...

— Это был вопрос чести, мы шли на веслах. Посмотрите на наши руки! — И Казанова протянул сенатору ладони в мозолях.

— Пф! Ручаюсь, какая-нибудь история с девицами, — отмахнулся сенатор, — я ведь вас знаю.

— Неужели нам именно сейчас надо признаваться в своих грехах, когда мы насквозь мокрые и умираем от холода и голода? — возмущенно спросил Казанова.

— Я лично не так уж и голоден, — вставил Марко. — Но я и не трудился так рьяно — и, несомненно, с таким удовольствием, — как Джакомо, все это время после обеда.

— Хо-хо, — издал сенатор, задумчиво поглаживая то на одного, то на другого. — Значит я все-таки угадал? Ну-с, юноши, в дом. Дзордзе, Дзандзе! Высушите одежду синьоров! Тоньино, Феличе! Накормите синьоров! Холодную дичь, холодный язык, болонскую колбасу, холодную телятину и бутылку лучшего моего вина! И поторопитесь, паршивцы! А с вами, юноши, покончено.

* Переезд (*ит.*).

Радуюсь аппетиту, с каким утоляли голод молодые люди, сенатор наблюдал за ними и не преминул подметить, что Джакомо ел в два раза больше своего друга, а пил меньше. Ох, уж эти любители амурных походов! Всегда воздержанны в вине. Выпивоха редко предается распутству — разве что погорланит непристойные песни да подмигнет девчонке, которая ему вовсе и не нужна... Что-то есть об этом у Ариосто* — забыл, что именно...

— Насытились, юноши? — громко спросил он и, когда они кивнули и отодвинули стулья от стола, добавил, обращаясь к слугам: — Убери, Феличе. А ты принеси еще вина, Дзордзе. И оставь нас.

— Что-то я совсем сонный, — сказал Казанова, вставая, потягиваясь и зевая так, что сам почувствовал: переиграл. — Пойду лягу.

И он повернулся, чтобы выйти следом за Феличе, который уже уходил, откланиваясь на ночь, но сенатор задержал Казанову.

— Одну минуту, Джакомо, — сказал сенатор, как только слуга закрыл за собой дверь. — Расскажи мне все-таки, что на самом деле произошло?

— Я ведь уже сказал вам, Ваше Превосходительство, — дерзко ответил Казанова.

Сенатор покачал головой.

— И все-же лучше расскажи мне, — спокойно сказал он. — Ты бы не вернулся в таком виде домой, не случись какой-то неприятности. Сколько раз тебе повторять, что в этом городе все — буквально все — становится известно полиции? Так что расскажи мне правду, сын мой. Мне ведь, может быть, придется рассказывать эту историю Совету десяти... а то и Триумвирату и самому мессеру гранде**. Ну, кто поверит, Джакомо, твоей сказке про пари? В жизни не слышал более неправдоподобной лжи, а я за свою жизнь слышал немало лгунов, да простит их всех Пресвятая Дева!

— Ее зовут Мариетта, — сразу перестав прикидываться, торжественно произнес Казанова.

— Ах-ха! — издал сенатор, кивая, довольный своей проницательностью. — Которая же Мариетта? Я знаю двух, удостоившихся любезного внимания Вашей Светлости.

* *Ариосто, Лудовико* (1474—1533) — итальянский поэт; среди его произведений выдающееся значение имеет поэма «Неистовый Роланд».

** Мессер гранде — Главный (или Красный) инквизитор Венецианской республики.

— Как будет угодно Вашему Превосходительству,— вставил Марко,— эта девушка — неаполитанка!

— Что?! — недоверчиво воскликнул сенатор.— Еще одна Мариетта? И к тому же неаполитанка? Клянусь Вакхом, разве такое возможно? Все неаполитанки говорят ведь на диалекте, и от них пахнет чесноком!

— Как будет угодно Вашему Превосходительству,— сказал Казанова,— но у меня есть достовернейшее доказательство, что она не прикасается к чесноку. А что до диалекта, то она восприняла от меня куда больше венецианского, чем я от нее — неаполитанского...

— Вот в этом я не сомневаюсь, мастер Аретино*, — заметил сенатор.— Но скажи, ты привез ее сюда из Неаполя? Ты с ней там познакомился?

— Да я ее в жизни не видел, пока не столкнулся с ней и ее друзьями на Пьяцце в субботу, неделю назад.

Сенатор от восхищения слегка ругнулся:

— Вот чума! Быстро же ты работаешь, аббат. Ну, а потом? Да ну же, Джакомо,— правду. Триумвират безжалостен к плутам.

Казанова с безразличным видом передернул плечами, однако повел свой рассказ, как надеялся сенатор, не без легкого стыда.

— Эта победа была совсем нетрудной,— сказал Казанова.— Я с первого взгляда увидел, что она... что я ей нравлюсь. Рот ее молил о поцелуях, а груди...

— Хватит об этом! — воскликнул сенатор.— Ты что, принимаешь нас за сводников? Продолжай.

— Ну, я сумел познакомиться с ее дядей... Оказалось, он так плохо играет в фараона, что мне пришлось сплутовать, чтобы проиграть ему несколько дукатов. Затем последовало приглашение в дом. Я украдкой поцеловал Мариетту под лестницей, а от дядюшки услышал, что он приехал в Венецию судиться...

Марко, расхохотавшись, прервал его:

— Так вот почему ты не давал мне покоя, пока я не представил тебя моему старому родственнику-судье?

Сенатор и Марко обменялись взглядами и невольно подняли глаза к потолку, словно прося Всевышнего наставить их, как быть с этим человеком.

— Ну и, милостивые государи,— продолжал Казанова, словно не заметив этой молчаливой сценки,— что-то,

* *Аретино, Пьетро* (1492—1556) — итальянский писатель и поэт, создавший, в частности, 16 сонетов скабрёзного содержания.

по-мосму, было сказано насчет этого малоприятного предмета — брака. Тут я отыграл свои дукаты и... м-м... прихватил еще немного. Сегодня вечером мне предстояло вкусить прелестей дамы, пока Марко дежурил в гондоле. Итак, я уже не один раз успел выказать Мариетте свою преданность, как внезапно послышался отчаянный стук в дверь. И в комнату ворвался дядюшка со свечой и с пистолетом...

— Так, прекрасно,— заметил сенатор, внимательно слушавший Казанову. — И что же ты сделал?

— Задул свечу,— бесстыдно объявил Казанова.— Выскочил в окно и побежал к гондоле, где и нашел преданного Марко, спавшего в фельце...

— А ты, что же, черт побери,— возмутился Марко,— ожидал, что я буду стоять на улице под дождем?..

— И наш славный Марко не проснулся,— продолжал Казанова,— пока у этого старого идиота-дядюшки не хватило наглости пальнуть из пистолета...

Сенатор, до сих пор от души веселившийся и похмыкивавший, внезапно стал очень серьезным.

— Из пистолета?! — воскликнул он.— Вот чума! Да это же могли услышать даже при боре.

— А кроме того,— продолжал Казанова,— этот идиот мог пристрелить меня.

— Да при чем тут ты! — воскликнул сенатор.— Ты же не аристократ, а вот имя Марко занесено в Золотую книгу. Когда умрет Даниэль Вальери, он станет сенатором...

— Но дядюшка ведь понятия не имел о существовании Марко,— возразил Казанова.— Я же сказал вам: Марко спал в фельце...

— Какое это имеет значение,— совершенно серьезно заявил сенатор. — Он же мог ранить или убить будущего сенатора. Он — чужеземец, плебей! Вот чума! Джакомо, могу ручаться: донесение об этом будет у Триумвирата еще до зари, и — кто знает? — шпион может так изложить всю историю, что обвинит тебя. Ты не должен вовлекать Марко в подобные передраги. Ты ведь знаешь, как серьезно относятся наши правители к малейшей опасности, грозящей кому-либо из аристократов. Полиция не может тронуть Марко за нарушение спокойствия — иначе какой был бы прок от благородной крови? А у тебя, Джакомо, ты же знаешь, положение иное: ты привилегиями не пользуешься. Ну хорошо, хорошо, я встану до зари и выгорожу тебя перед Советом... Войдите, войдите! — произнес сенатор в ответ на неожиданно раздавшийся стук в дверь.

— Ваше Превосходительство, — сказал Феличе, стоя в дверях и кланяясь, — посланец от Триумvirата...

— Клянусь Богом, быстро сработано! — не без восхищения произнес Казанова.

— Сидите спокойно, юноши, — сказал Брагадин, поднимаясь с кресла настолько быстро, насколько позволяли его подагрические ноги, — и ждите меня. А я позабочусь о том, чтобы справедливость восторжествовала.

С полчаса Казанова сидел и зевал, тогда как Марко пытался заинтересовать его предстоящим карнавалом на воде, где будут и музыка, и мороженое, и достойные молодые дамы... Наконец появился сенатор, избавив Казанову от необходимости и дальше уклоняться от прямого ответа об участии в карнавале. Брагадин вкатился в комнату, похмыкивая и потирая руки.

— Ну-с, юноши, — многозначительно объявил он, — песенка этого мерзавца спета. Он будет арестован на заре и выслан с территории Венеции...

— Что?! — прервал его Марко. — Арестован? Выслан? Лишь за то, что пуля из его пистолета просвистела мимо человека, о существовании которого он понятия не имел и который — я краснею, произнося это, — просто помог нанести ему урон...

— Урон?! — воскликнул Казанова. — Спроси Мариетту.

— Урон?! — возмущенно повторил сенатор, не обращая внимания на Джакомо. — И ты, Марко, ты — патриций, говоришь такое? Ведь свобода нашей республики зиждется на том, что безопасность государства — иными словами, патрициев — обеспечивает безопасность народа.

И он с таким решительным видом поджал губы, что у Марко язык не повернулся даже намеком высказать какую-либо политическую или социальную ересь.

— Кстати, — небрежным тоном прервал молчание Казанова, — а как насчет меня?

— Ты, дорогой Джакомо, — с большой теплотой сказал старик, — ты дорог мне, как единственный сын, даже больше того, поскольку Божественные Духи открыли тебе свои тайны. Но ты ко всему этому не имеешь никакого отношения — ты же не аристократ...

— Я не о том, — нетерпеливо прервал его Казанова, который, как и многие, терпеть не мог, когда ему напоминали, что он не благородных кровей. — Как насчет девицы? Мариетты?

— Вот чума! — воскликнул сенатор с недоуменным видом. — Мы же совсем забыли о ней! Я полагаю, она отправится вместе с дядюшкой. Если, конечно, не хочет, чтобы ее имя значилось в списке публичных женщин.

— И таким образом избавит моралистов от необходимости краснеть... — иронически добавил Марко.

— Кстати, о морали, — заметил сенатор, не желая держаться темы, затронутой Марко. — Если, аббат, ты будешь и дальше так себя вести, как же ты рассчитываешь стать епископом?

— О, я буду епископом *in partibus infidelium**, — небрежным тоном ответил Казанова, — и стану поступать так, как поступает моя паства.

— Но будем же, наконец, серьезны, — сказал сенатор, придавая лицу выражение, какое появляется у людей официальных, когда они хотят казаться мудрыми. — Ты сейчас в сане дьякона. И если намерен идти этим путем, то вскоре должен стать священником. А если ты и тогда будешь вести себя так, как сейчас, — пусть даже на одну десятую, как сейчас, — произойдет скандал, тебя лишат сана, посадят в тюрьму, отлучат от церкви, да отвратит все это Пресвятая Дева! Право же, я должен знать, Джакомо, какого черта ты, с твоим темпераментом и образом мыслей, вообще надумал пойти в церковники?!

Казанова так стремительно повернулся к нему, что старик инстинктивно сжался.

— Я вам скажу, — сказал он. — И хорошо, что вы спросили, какого черта я так решил. Имя черта — нужда.

— И какая же нужда заставляет тебя быть лицемером? — не без вызова спросил Марко.

— Джакомо не это имел в виду, — поспешил вмешаться сенатор, увидев, как запылало от гнева лицо Казановы. — Объяснись, сын мой.

— Я сказал «нужда» и подразумевал именно нужду, — несколько мрачно произнес Казанова. — Смотрите. Вы — патрици. Умные или неумные, вы наследуете землю и наслаждаетесь плодами ее. А теперь посмотрите на меня: у меня есть ум, но нет денег, есть образование, но нет положения, есть честолюбие, но нет возможностей. Как же мне чего-то достичь? Может быть, продавать сосиски и анчоусы? Или всю жизнь довольствоваться

* В странах неверных, т. е. в чужих краях, за границей (лат.).

крохами со стола богатых господ? Или стать грабителем? Церковь, церковь — единственный для меня путь...

— И неплохой, не так ли? — заметил Марко. — Когда один обладатель тучной синекуры имеет сорок бенефиций* и...

— К тому же, — прервал его сенатор, — достаточно чтобы рассказы про карты, попойки и девиц — особенно про девиц — достигли ушей архиепископа, и уж он даст тебе бенефиций. Посадит в темницу на хлеб и воду.

— Почему бы тебе все-таки не плюнуть на это? — сказал Марко. — Люди у нас добродушные, но подобное бесстыдство они не любят. И если над солдатом только посмеются, то от церковника отвернутся с отвращением. Республике ведь нужна армия...

Казанова снова зевнул и поднялся.

— Пора в постельку, — небрежным тоном произнес он.

— Но ты все же подумай о том, что мы тебе говорили, — воззвал к нему сенатор. — Марко прав. С твоей внешностью и... м-м... твоей моралью тебе бы следовало быть солдатом.

— Вы что же, думаете, я отказался от карьеры грабителя, чтобы стать головорезом? — с горечью спросил Казанова. — А кроме того, сутана и репутация священника весьма полезны игроку. Людей не удивит, если солдат знает толк в картах, а вот аббат, по их мнению, не способен отличить пики от бубен... Но не будем об этом. Я...

То, что собирался сказать синьор Казанова, так и осталось неизвестным его друзьям. Сквозь грохот бури с канала донесся приглушенный треск, разгневанные мужские голоса, затем крик о помощи и женский вопль. Трое мужчин посмотрели друг на друга, вдруг впад в то особое дурацкое оцепенение, какое охватывает людей в момент внезапно случившейся и еще непонятной беды.

Первым пришел в себя, конечно, смекалистый Казанова. Со страшным криком, которым он лишь дал выход своей нервной энергии, Казанова кинулся из комнаты и сбегал вниз по большой парадной лестнице; рванув двери, он остановился на причальных ступенях, вглядываясь в темноту, исхлестанную дождем и ветром. От стремительного перехода из освещенной комнаты во тьму сначала он ничего не увидел, но потом в полосе света, падавшего из открытой двери, разглядел перевернутую гондолу и человеческие фигуры, старавшиеся

* Здесь — земельные наделы.

удержаться в подгоняемой ветром воде. Тут он снова услышал женский голос, увидел мелькнувшую белую одежду и, не раздумывая, бросился в канал.

Ледяная вода вызвала шок у Казановы — у него перехватило дыхание, и какое-то время он лишь старался вновь обрести его и удержаться на поверхности бурлящих вод. Затем, призвав на помощь всю свою недюжинную силу, сумел схватить фигуру в белом в тот момент, когда она уже уходила под воду. Женщина тотчас вцепилась в него с губительным инстинктом утопающего и, не будь у Казановы такой силы и самообладания, утянула бы его вместе с собой на дно. Каким-то образом ему удалось высвободиться, с большим трудом добраться до последнего из причальных столбов у замка Брагадина и в отчаянии ухватиться за него одной рукой, держа в другой мертвую или лишившуюся сознания женщину. Казанова закричал, призывая на помощь людей, смутно видневшихся на причальных ступенях.

Марко с сенатором — а затем и слуги — выскочили из замка вслед за Казановой и сумели вытащить троих мужчин. Двое оказались гондольерами, а третий — нанявшим их человеком, который выглядел сейчас крайне нелепо: бритоголовый, без парика, в насквозь промокшем шелковом костюме. Среди поднявшегося гомона и сумятицы отчетливо звучали голоса гондольеров, громко утверждавших, что на них намеренно наехало какое-то судно.

— Да замолчите вы, идиоты! — высокомерно прикрикнул на них наниматель. — Нечего оправдывать собственную неуклюжесть... Да, но где же наша дама?

— Это ваша супруга? — осведомился Марко.

— Я отвечаю за ее жизнь... — начал было мужчина.

— Стойте! — прервал его Брагадин. — Я что-то слышу.

— Это Джакомо! — в волнении воскликнул Марко. — Держись, старина, мы идем!

— Мой сын! Он мне как сын! — запричитал старик сенатор, теряя самообладание. — Спаси его, Марко! Феличе, Дзордзе, десять дукатов, если спасете его!

Это оказалось не так-то просто. До столба, за который уцепился Казанова, со ступеней было не дотянуться, а над столбом возвышалась гладкая мраморная стена с окнами, забранными толстой решеткой. Из-за ветра и течения Казанова не мог подплыть к ступеням;

сенатор и слуги, казалось, совсем потеряли голову и только восклицали и размахивали руками, а незнакомец с презрением смотрел на них.

В моменты паники либо кто-то утверждает свою власть и берет в руки ситуацию, либо все погрязает в малодушии и эгоизме. В данном случае Марко, отстранив сенатора, взял на себя руководство слугами. По его приказу они принесли веревки и факелы, которые дымили и шипели на ветру и под дождем, отбрасывая призрачный красный свет на воду и мраморный фронтон дворца. После нескольких неудачных попыток Марко все-таки удалось бросить Казанове веревку, тот вцепился в нее, и слуги стали осторожно вытягивать его из воды.

Как часто бывает с безрассудными итальянцами, действующими под влиянием эмоций, Казанова был изжелта-бледен от чрезмерных усилий и волнения. Однако, когда его втащили на ступени, он продолжал бессознательно прижимать к себе тело молодой женщины, держа его, как казалось Марко, с такой легкостью, словно это был ребенок. Ее длинные черные волосы висели мокрыми прядями — несколько прядей прилипло к плечу и белой рубашке Казановы; глаза женщины были закрыты.

— Она мертва? — спросил незнакомец и, не дожидаясь ответа, добавил:

— Дайте ее мне.

Казанова, казалось, не слышал его. Он смотрел на лицо молодой женщины, белое и застывшее, лежавшее на сгибе его руки. Что правда, то правда: этот венецианский донжуан всегда мгновенно влюблялся, и всякий раз это было «нечто особенное», а женщина — «самая прекрасная из всех», какие ему встречались, и он «будет любить ее всю жизнь». Но на сей раз это было, пожалуй, в самом деле нечто особенное. Во всяком случае, так считал Казанова, глядя на молодую особу и чувствуя, как сквозь тонкие мокрые одежды от ее холодной груди в него проникает волнуемое тепло. Да, знакомая искра по обыкновению зажгла его чувства восторгом, необычным же было то, что этот донжуан, этот профессиональный игрок, этот любитель подурить головы оккультизмом, этот циник и авантюрист вдруг устыдился себя и своей жизни.

— Разрешите же взять ее! Дайте мне ее, синьор! — прервал ход мыслей Казановы резкий голос незнакомца.

Но Казанова не слышал его. Пожалуй, правильное было бы сказать, что он был настолько поглощен своими чувствами к молодой женщине, что до его сознания не дошли слова незнакомца. Так или иначе, не обращая внимания на протянутые руки мужчины и пренебрегая вопросами, которыми *staccato* осыпали его друзья, Казанова прошел мимо них и кинулся вверх по лестнице с драгоценной ношей на руках.

Незнакомец в ярости повернулся к старику Брагадину.

— Что означает столь оскорбительное поведение, милостивый государь? Вы скоро поплатитесь за это и убедитесь, что я не из тех, кого можно безнаказанно оскорблять — вас ждет суровая месть!

Но венецианского сенатора, стоящего на ступенях собственного дворца, со слугами рядом и со всею мощью Светлейшей республики за спиной, ни одному живому существу не запугать.

— Синьор, — сказал он, выуживая из кармана табакерку, ибо вместе со спокойствием к нему вернулась и память, как должно себя вести, — пойдете и посмотрим, в чем там дело. Будьте так добры войти в мой дом.

Незнакомец был слишком разгневан, чтобы позабыться холодностью сенатора, и побежал вверх, перепрыгивая через ступени. Марко опередил его, а сенатор задержался, чтобы проверить, хорошо ли заперты двери и потушены ли факелы. Он велел дать двум гондольерам сухую одежду, накормить их и напоить и величественно поднялся по лестнице, — капли воды, оставшиеся на ступенях, привели старика в один из его салонов.

Остановившись в дверях, он увидел картину, которая мгновенно запечатлелась в его памяти навсегда. Правда, Брагадина главным образом занимала тривиальная мысль, что его матушка три года вышивала подушки дивана, на котором лежала сейчас молодая женщина, и что ее мокрая одежда погубит всю вышивку. Но ему невольно запомнилось выражение лица Казановы, который стоял возле молодой женщины на коленях, держа в ладонях ее руку, и, нежно поглаживая, неотрывно смотрел в ее прекрасное лицо, обрамленное густыми волосами. Напротив него стоял незнакомец, кипя тщетной злобой, рядом — юный Марко,

* Коротко, отрывисто (*ит.*).

беспомощный, как всякий здоровый молодой мужчина возле больной женщины.

Похоже, право, не без волнения подумал сенатор, что незнакомец сейчас накинется на Джакомо, если тот не выпустит руку молодой женщины и не перестанет смотреть на нее так, будто готов ее исцеловать. От необходимости предпринять что-то, ущемляющее достоинство, сенатора избавило внезапное появление служанок, которые тотчас отстранили незнакомца и Марко, а Казанову — с присущим женщинам мгновенным пониманием — оставили возле молодой особы.

Незнакомец подскочил к Брагадину.

— Вы будете хозяином этого дворца, милостивый государь? — спросил он с иностранным акцентом, усиленным злостью.

— Да, синьор, — вежливо ответил сенатор. — Позвольте поздравить вас со столь счастливым избавлением от...

— Ваши излияния меня не интересуют, милостивый государь, — сухо произнес тот. — Будьте любезны велеть вашему дворовому отдать даму на другое попечение, не то...

— Этот «дворовый» — мой друг, — вмешался Марко, — и он всего лишь спас ее, иначе она бы утонула...

Незнакомец повернулся к нему с такой стремительностью, что это поразило даже невозмутимого венецианского аристократа.

— Да знаете ли вы, кто я, милостивый государь? — спросил он. — Вы же меня не знаете! Я — барон фон Шаумбург.

Все были буквально сражены, и наступила тишина. Женщины перестали перешептываться, Казанова выпустил руку молодой женщины, Брагадин и Марко побелели и словно бы сжались в преддверии неминуемой беды. Испугались они не барона — они испугались законов Венеции. Согласно своеобразной конституции, существовавшей в этом государстве, патриция, вступившего в контакт с иностранным послом, ждала смерть путем обезглавливания — настолько подозрительны были эти олигархи даже по отношению друг к другу, настолько стремились они исключить всякую возможность иностранного заговора или интриги против их власти.

И снова первым очнулся Казанова.

— Ваше Сиятельство, — сказал он, — разрешите представить вам Маттео-Джованни Брагадина, патриция

и сенатора, и Марко Вальери, патриция и будущего сенатора.

Теперь уже барон вздрогнул от страха.

— Синьоры,— поспешно произнес он совсем другим тоном,— прошу меня извинить. Как же нам быть теперь? Я, конечно, знаю о существовании странного и безжалостного закона, согласно которому вы можете быть преданы смерти даже за такую краткую и невольную встречу со мной...

— Ничего нет проще,— вмешался Казанова: ум у этого авантюриста работал быстро.— Я не патриций. Следовательно, я могу препроводить Ваше Сиятельство в посольство — пешком или на моей гондоле, как вам будет угодно. Что же до дамы...

— Милостивый государь,— холодно произнес барон,— я не имею чести быть с вами знаком.

— Это Джакомо Казанова! — воскликнул сенатор.— Он мне как сын, милостивый государь!

Барон небрежно поклонился Казанове и, повернувшись к нему боком — так, чтобы выказать свое небрежение, но в то же время чтобы это не выглядело вызовом,— обратился к сенатору.

— Если извинениями можно что-то изменить,— любезно сказал он,— я должен был бы извиниться перед Вашим Превосходительством за беспокойство, доставленное вашим домашним, и за опасность, которой я невольно подверг двух синьоров такого ранга... Но что с моими мошенниками? Они встретили свою судьбу в канале, или кто-то спас их никчемные жизни?

— Милостивый государь, они обогреваются на моей кухне и, надеюсь, пьют лучшее мое вино,— холодно заметил Брагадин, обидевшись за слуг, которые в конце концов были венецианцами и к которым этот тевтон проявлял нескрываемое презрение.

— Тогда,— вежливо, но настойчиво сказал барон,— не будете ли вы так любезны послать за ними? Я дойду до посольства пешком, а они пусть несут даму. Завтра...

— Но это же убьет ее! — пылко воскликнул Казанова.— Ваше Сиятельство наверняка сказали это не серьезно! После такого шока и сильного охлаждения она должна ночевать здесь, мы вызовем ей доктора и...

— Могу я просить Ваше Превосходительство передать приказание моим слугам? — сказал барон, не обращая ни малейшего внимания на Казанову, который замолчал, прикусив губу.

Взгляд, который метнул на Казанову сенатор Брагадин, и удивление, мелькнувшее на лице Марко, яснее ясного сказали Джакомо, что он совершил оплошность и что наглость донжуана, привыкшего к общению с мещанками, быстро наказуется. Шаумбург был из другого мира, он принадлежал к тому классу, где ценят и применяют ум, где под маской любезности и хороших манер люди внимательно следят друг за другом, взвешивая и оценивая мотивы поступков или догадываясь о них, как бы тщательно они ни были скрыты или даже совершены наполовину бессознательно. А Казанова за это время уже не раз показал острому глазу барона подлинное свое лицо.

Даже если бы сенатор и Марко хотели поспешествовать Казанове в его последнем приключении — а они, безусловно, вовсе этого не хотели, догадываясь куда больше, чем он, о грозящих ему опасностях и считая это всего лишь еще одним прискорбным капризом Казановы, — они ничего не могли бы поделать. Условности почти любой эпохи запрещали молодой женщине находиться в доме холостяков без дуэньи, с одними служанками... Но барон сразу перестал хмуриться, как только сенатор Брагадин отправил слугу за гондольерами, а других послал за носилками, которыми пользовалась его матушка в преклонные лета.

— Я доставил вам, синьоры, одни заботы, — сказал барон, пока они шествовали по анфиладе комнат к главной лестнице, выходящей не на канал, а на сушу. — Мне едва ли нужно говорить вам, что, будучи патрициями... — Сама интонация, с какой было произнесено слово «патрициями», показывала, что он не включает сюда Казанову. — ...будучи патрициями, вы должны тотчас отправиться к кому-нибудь из членов Триумвирата, кого вы считаете своим другом, и сообщить доподлинно, как все произошло, — иного пути у вас нет. А я завтра с самого утра, как только позволит протокол, сделаю официальное донесение Его светлости дожу, но, поскольку власти у него нет, этот *désharche** нужен лишь для того, чтобы подтвердить ваше сообщение. Скрыть этот инцидент не удастся. Какой-нибудь шпион наверняка уже сообщил о нем. А пока самая моя горячая благодарность за то, что вы нас спасли...

— Это мой друг Казанова услышал ваши крики о помощи и внес наиболее существенный вклад в ваше

* Демарш, поступок, шаг (фр.).

спасение, — сказал Марко, который был еще молод и порывист и недостаточно отшлифован светскими правилами.

— Моя самая горячая и вечная признательность обращена, конечно, и к нему, — произнес фон Шаумбург, даже не взглянув на Казанову, и так холодно, что никакой признательности в его тоне не было и в помине. — Но я вижу, прибыли носилки, и дама моя оправилась. До свиданья, сеньоры. В один прекрасный день, когда императрице уже не нужны будут мои скромные услуги в качестве ее недостойного представителя, я вернусь в Венецию как частное лицо и постараюсь еще раз вас поблагодарить.

Он отступил, пропуская носилки. Разыгравшееся действие выглядело более чем живописно, хотя тем, кто в нем участвовал, так не казалось. На нижней ступени лестницы и на улице стояли с факелами слуги под сильным ветром и дождем, от которого шипело неприкрытое пламя. Наверху лестницы группкой стояли барон, Брагадин и Марко и отдельно от них — Казанова, растерзанный и мокрый после купания в канале, — стояли и смотрели, как четверо слуг осторожно спускаются с носилками по истертой мраморной лестнице.

Служанки постарались высушить и уложить в прическу волосы молодой женщины, надели на нее свое платье и завернули в накидку от дождя, так как носилки были открытые. Когда ее проносили мимо, Брагадин и Марко склонились в церемонном поклоне, положенном в те времена в их стране, но молодая особа даже не заметила их. Лежа на подушках, она смотрела на Казанову. Конечно, по его мокрой одежде она сразу могла бы понять, что именно он вытащил ее из канала, но поскольку в ледяной воде она почти тотчас же потеряла сознание, то лишь из рассказов служанок узнала, что это сеньор Казанова, рискуя жизнью, спас ее. Признательность даже у молодых и добропорядочных людей — самая слабая из эмоций, и взгляд молодой женщины — а глаза у нее, как с изумлением заметил Казанова, были синие — приковал к себе взгляд Казановы, в котором вместо обычной дерзости сквозило сейчас робкое восхищение. Молодые люди смотрели друг на друга лишь долю минуты, но этого было вполне достаточно, чтобы их лица навсегда врезались обоим в память и чтобы в них — хотя ни слова не было произнесено — зажглась искра.

Но вот носилки вынесли из освещенного дома на темную узкую калле*, двери захлопнулись, и Казанова почувствовал, что продрог и сильно вымок. И никому не было до него никакого дела.

2

В суматохе слуги забыли, что надо поддерживать огонь в спальне Казановы, поэтому в большой комнате с высоким потолком стоял такой холод, что, когда Джакомо стащил с себя мокрую одежду, его пробрал озноб. Прерванное любовное похождение, прогремевший вслед ему выстрел из пистолета, сражение в гондоле с водной стихией, двойное купание, спасение утопающей и безоглядная новая любовь — это было уж слишком для одного вечера даже такого любителя приключений, как Джакомо Казанова. Теперь, когда волнение улеглось, он почувствовал себя всеми покинутым — черт подери, никто не сказал даже «спасибо» или «браво» за то, что он вытащил девицу из пучины, рискуя собственной жизнью!

Он нырнул в постель и натянул до подбородка одеяло, чувствуя себя глубоко несчастным и продолжая дрожать так, что у него стучали зубы. По тому, что ветер завывал уже не с прежней силой, огибая резные карнизы и врываясь в воронкообразные дымоходы, Казанова понял, что бора наконец стихает. Тут он услышал приглушенные голоса и увидел отсветы факелов — это Брагадин и Марко Вальери отправлялись на гондоле умиротворять своих подозрительных кузенов и правителей. Вот дурацкие порядки, размышлял Казанова: надо же, чтобы людям среди ночи требовалось оправдываться в преступлении, которое они якобы совершили, обменявшись несколькими словами с послом другой страны! По какому-то недомыслию имя Казановы не было занесено в Золотую книгу венецианских патрициев, и потому он, естественно, видел всю нелепость существования этого класса поработителей, преступные деяния патрициев и их высокомерие.

Все люди, особенно мошенники, обожают испытывать праведный гнев, и Казанова умудрился так себя распалить против аристократов, что даже перестал дрожать. Но когда человек пылает, ему не заснуть.

* Калле — улица (ит.).

Наоборот: по мере того как Казанова, несмотря на усталость и даже изнеможение, физически чувствовал себя все уютнее, ему все меньше хотелось спать. Всякий, кто хоть немного знал Казанову, с трудом поверил бы, что он мог лежать без сна и, как истинный патриот, возмущаться несовершенствами конституции Венецианской республики.

Женщина! В этом феномене не было ничего нового или удивительного для Казановы даже и в более молодые годы. Новым же и удивительным было чувство, возникшее у него к этой молодой женщине, чьего имени он даже не знал. Романтическая любовь в ту пору еще не вернулась в литературу и искусство — в моде была изящная, если не сказать фривольная, чувственность. Но романтическая любовь случается и в Китае, — правда, там к ней относятся с презрением; не была она редкостью и в доримской Европе, хотя игривая галантность приводила там иногда к настоящему чувству.

Так или иначе, лежа без сна в своей постепенно согревавшейся постели, синьор Казанова вполне серьезно сказал себе, что эта любовь для него — «совсем другая», чем все многочисленные предыдущие романы. Правда, все это он говорил себе и раньше; он говорил это уже по крайней мере дважды Марко, притом с достаточной серьезностью и, естественно, каждой из своих дам, чьих имен сейчас он не мог в точности припомнить, да и не хотел припоминать...

До чего же нелепо, что он не может увенчать именем любовь всей своей жизни, — ему не за что даже зацепиться, чтобы срифмовать на итальянском мадригал или сложить пусть не очень складную элегию на латыни. А еще нелепее то, что он вошел в жизнь молодой особы в малоприятной роли спасителя. Это могло крайне осложнить дело с любой женщиной, которая скорее раскроет объятия мерзавцу, чем из чувства благодарности наградит своим расположением добропорядочного спасителя. «Черт подери, надо же было мне ее спасти, — подумал Казанова, — худшего начала для оболъщения у меня не бывало».

Обольщение — казалось оно утратило для Казановы свою извечную притягательную силу, а ведь он был глубоко убежден, что в своих любовных похождениях выступает, конечно же, как оболъститель, а не как оболъщаемый. Поначалу это слово шокировало его, хотя он не признался бы в том никому на свете. А затем оно навело его на крайне

неприятное предположение о том, что, собственно, мог делать австрийский посол наедине с красивой молодой женщиной в гондоле после полуночи? А то обстоятельство, что ночь была бурная, казалось, лишь подчеркивало, сколь эта встреча была важна для обоих, тем более что Казанова не мог не вспомнить, с какой явной антипатией отнесся к нему барон. Жаль, что барон не утонул. Потом Казанова стал жалеть, что не придушил барона, потом — что не поколотил его, а потом — что не вызвал на дуэль...

Внезапно Казанова почувствовал, что у него идет носом кровь, — такое нередко случалось, когда он не мог найти выхода своему гневу или любовным порывам. А сегодня он страдал и от того и от другого. Он ощупью встал с кровати, прошел через комнату к умывальнику и с помощью холодной воды сумел остановить кровотечение. Он прислушался. Ни звука — только еще свистел ветер, напоминая о прошедшей буре. Вытянув вперед руки, Казанова пересек в темноте комнату и прильнул глазом к щели в ставне. На Большом канале не было ни одного огонька...

Поддавшись порыву, который он даже и не попытался проанализировать, а тем более сдержать, Казанова зажег свечу с ситовым фитилем и стал одеваться. Если не можешь заснуть, вставай и выходи на улицу — этому простому совету Казанова следовал всегда. Но осторожно, как кошка, спустившись в темноте до половины большой лестницы, он спросил себя, куда он, собственно, направляется? Было около двух часов ночи, а в такую погоду обычной ночной жизни быть не может — даже в Венеции, которая оживала главным образом ночью. Казанова остановился, размышляя в темноте над этой задачей, как вдруг слуха его достиг какой-то шумок на кухне. И ему сразу пришла на ум одна мысль.

Тихонько миновав знакомые лестницы и коридоры, он неожиданно появился в огромной кухне и застал там тех четверых, что несли носилки. Они пили вино и пировали, поглощая остатки ветчины и снова и снова перебирая события минувшего вечера. Слуги, особенно итальянские, все знают, а коль скоро один проходимец всегда тянется к другому, слуги Брагадина обычно были друзьями Казановы. И вот теперь он решил с их помощью узнать имя молодой женщины, а также, что связывает ее с Шаумбургом, что она делает в Венеции, где живет. Но тут — единственный раз в жизни — Казанова столкнулся с неожиданной трудностью:

смышленные венецианцы вдруг стали полными тупицами, они не понимали его вопросов, ничего не знали, ничего не слышали, ни о чем не догадывались. Единственное, что они знали, — это что дошли до площади под названием кампо Сан-Лука. Там их встретил один из гондольеров со слугами барона, и их отослали домой.

«Барон подкупил их да еще и пригрозил», — сказал себе Казанова, выходя из замка Брагадина и углубляясь в сеть узких улочек, которые делают план Венеции похожим на изображение чудовищного мозга. В городе под низко нависшим ночным небом было темнее обычного, да и большинство фонарей, которые зажигают после наступления темноты, задуло ветром или потушило дождем. Австрийское посольство, когда Казанова подошел к нему, раскрыло ему тайну еще меньше, чем слуги Брагадина, и еще больше его обескуражило. Высокие двери были заперты, нижние окна забраны решеткой и закрыты ставнями, и во всей старой крепости-дворце не было ни света, ни звука.

Дело явно зашло в тупик. Ничего не попишешь — с таким же успехом он мог бы сейчас лежать в теплой постели, а не тратить последние силы, после тяжелой ночи. Чувствуя себя круглым идиотом, Казанова повернулся спиной к дворцу и, перейдя маленькую площадь, остановился у противоположной стены. Что делать дальше? «Она» действительно в этом дворце? И в качестве кого — гостьи или пленницы, возлюбленной или подопечной? А если она тут живет, то как добраться до нее даже такому изобретательному человеку, как Казанова, преодолеть все эти решетки, пройти мимо согладатаев и шпионов и охраны?

Легкий шум, донесшийся сверху из окна, мгновенно насторожил Казанову. Одним прыжком он нырнул под выступ карниза, и в ту же минуту большущий камень плюхнулся на тротуар, где секундой раньше стоял Казанова. Он не стал протестовать или возмущаться — хороший игрок знает, когда карта к нему не идет, и Казанове больше не требовалось намека на то, что любая попытка проникнуть с помощью любовной атаки в тайну барона наверняка окончится еще одним несчастным случаем, какие часто происходят в Венеции. Ни секунды не медля, он помчался с площади с такою быстротою, как если бы на небе светило солнце и дорога была хорошо видна, и не передохнул, пока не достиг замка Брагадина, где на сей раз ему не потребовалось много времени, чтобы заснуть.

Проснувшись, Казанова увидел тонкие стрелы нестерпимо яркого солнечного света, пробивавшиеся сквозь щели в ставнях. И услышал крик гондольера: «*Sta-lil*» *, оповещающего, что он выезжает из риа ** в Большой канал.

Казанова выскользнул из постели, подошел к окну и, распахнув его, растворил зеленые ставни. На секунду он ослеп от яркого света, который лился с омытого дождем неба, заставляя сверкать воду и отражаясь от стен белокаменных дворцов. Мимо тихо проскользила баржа, высоко нагруженная яркими фруктами и овощами. Издали доносились звуки музыки, крики уличных торговцев, смех — смутный бормот веселой венецианской толпы. А наверху, в прозрачном воздухе, летали стрижи, черными стрелами рассекая прозрачный воздух. Венеция была все той же Венецией и вечным карнавалом. Казанова глубокими глотками впивал в себя омытый дождем утренний воздух.

— Все-таки существует на свете счастье! — произнес он вслух без особых оснований — разве что день стоял прекрасный, и он был влюблен и почему-то дерзко уверен, что и предмет его любви тоже любит его. Отвернувшись от окна, он стал одеваться, насвистывая припев популярной песенки, которую распевала и насвистывала в те беззаботные дни вся Венеция, — «*Quella zente che gá in bocca'l riso*» — «Что за народ — смеется вечно...» Разве не так следует относиться к жизни? — размышлял Казанова, натягивая атласные панталоны. Не со смехом? А ведь есть люди, которые в такое утро ломают себе голову над тем, что такое Бог, или какая форма правления лучше, или сколько им должны!

Сойдя вниз, Казанова обнаружил Марко, который, сидя в роскошном халате, пил кофе с горячим молоком и ел булочки-полумесяцы — их пекут в память о поражении, понесенном турками под Веной в 1683 году.

Повинуясь приглашающему жесту Марко, Казанова с удовольствием сел за накрытый к завтраку стол.

— У меня сегодня утром аппетит, как у лошади, — заметил он, щедро намазывая маслом булочку.

— У тебя всегда такой, — сказал Марко.

* Берегись! (венецианск. диалект).

** Риа — река, речка (ит.); здесь — малый канал.

Казанова наполнил хрупкую китайскую пиалу *café latte** и сунул в рот булочку с маслом; съев все, что было на столе, он хлопнул в ладоши, призывая слугу, и, к возмущению Марко, велел принести себе завтрак, как если бы вовсе ничего не ел, а все съел Марко.

— Кстати,— прервал Казанова вполне справедливые, но тщетные сетования Марко,— как вчера все получилось с Триумвиратом?

— Откуда же мне знать? — ответил Марко.— Тебе же известно, что я не член Совета. С ними встречался Брагадин. А меня лишь допросил в качестве свидетеля один из секретарей.

— Но что все-таки будет? Тебе снесут голову за измену? Или любезно разрешат еще немного пожить?

— Дозволено пожить.— Марко рассмеялся.— Сенатор сказал, что ему нелегко было развеять подозрения одного из старцев, что гибель гондолы во время бури, да к тому же в полночь, не была задумана нами с Шаумбургом как измена.

— А девушка? — спросил Казанова с деланной небрежностью, которая не провела даже Марко.

— Тебе рекомендовано забыть о ней,— несколько сухо сказал тот.

— Ты всегда начинаешь с этого, Марко, а я всегда начинаю с того, что не обращаю внимания на твои советы. Ну зачем ты это делаешь? Вечно одно и то же. И к тому же не по-дружески. Ну, когда я советовал тебе забыть о приглянувшейся девчонке?

— Да разве я был когда-либо настолько глуп, чтобы дать тебе понять, какая девушка мне приглянулась? — возразил Марко и попытался перевести разговор на другую тему: — Я слышал, Гольдони представляет сегодня новую комедию. Пойдем?

Казанова перегнул через стол и положил свою узкую сильную руку на запястье Марко.

— Дружище,— сказал Казанова,— не пытайся отговаривать меня. У меня это не просто увлечение хорошенькой ветреницей. Дело обстоит серьезно. Скажи мне, кто она. Как ее зовут? Где она живет? Что делает в Венеции? Шаумбург — ее любовник? Она ведь, я уверен, не итальянка. Откуда она?

— Не знаю.

— Ты pomoжешь мне все это выяснить?

* Кофе с молоком (*ит.*).

Лицо у Марко было смущенное.

— На этот раз не надо, Джакомо,— взмолился он.—
Право, не надо. Это опасно.

— Опасно?! — Казанова накинулся на это слово,
словно хищник на лакомую дичь.— Значит, ты все-таки
что-то знаешь о ней?

— Я же сказал тебе: я ничего о ней не знаю.

— Тогда почему ты говоришь, что это опасно?

Марко секунду помедлил, затем, видимо, решился.

— Просто я услышал такой намек кое от кого, когда
мы прошлой ночью, а вернее сегодня утром, выходили
из Дворца дождей.

— Кое от кого? От кого же?

— От мессера гранде, если угодно.

Казанова присвистнул и, сняв руку с запястья Марко,
откинулся на стуле, глядя в потолок, расписанный
аллегорическими фигурами четырех времен года в стиле
Луки Джордано *.

— Интересно, почему? — спросил Казанова, обра-
щаясь к улыбающейся, почти нагой женщине, изображаю-
щей Весну.

Ответа не последовало, а Марко сидел, склонив
голову и поджав губы, в позе патриция, который, как по
опыту знал Казанова, ни за что, даже намеком, не
выдаст государственной тайны. В тишине слышен был
стрекот стрижей, гонящихся за комарами, а вдали —
пронзительный голос торговли виноградом:

— Ah! Ché bell'uva! Ah! Ché bell'uva! — Ах, до чего
ж чудесный виноград!

Казанова поднялся, потянулся, зевнул и просвистел
припев песенки о народе, что смеется вечно.

— До скорой встречи,— бросил он через плечо, вы-
ходя из комнаты.

Так небрежно Казанова на время простился со своим
самым преданным, хотя, пожалуй, и не самым полезным
другом, ибо Марко станет человеком денежным лишь
после того, как его отец-сенатор умрет. Продолжая
напевать «*Quella zente che gá in bocca el riso*», Казанова
вернулся в свою гардеробную, где его ждали брадобрей
и слуга, содержавшиеся, естественно, за счет сенатора
Брагадина, ибо не мог же он допустить, чтобы его

* Джордано, Лука (1634—1705) — итальянский художник и декоратор, пи-
савший яркие, полные света картины на религиозные и мифологические сю-
жеты.

высокий гость сам брился или утруждал себя по утрам одеванием. К тому же брадобрей, приходивший извне, и слуга из замка Брагадина были двумя превосходными источниками информации для человека, который существовал за счет смекалки и знания того, что ему не положено было знать. Ибо если в Венеции восемнадцатого века брадобрей и слуги чего-то не знали, значит, это было либо что-то совсем неинтересное, либо сверхсекретное.

Казалось бы, эти два всеведущих сплетника и должны были помочь Казанове выяснить то, что ему хотелось узнать о незнакомке. Но неудача, постигшая Казанову в попытке расспросить слуг, что несли носилки, побудила его держаться осторожнее и больше не выдавать себя, ибо каждый его вопрос раскрывал этим искусным сплетникам что-то про него самого. И если Казанова мог заплатить за информацию шуточками, обещаниями и малой толикой серебра, то Шаумбург мог заплатить всепокупающим золотом. А потому Казанова охотно обсуждал происшествия вчерашней ночи и с улыбкой принимал похвалы своих приспешников, но о незнакомке сказал лишь столько, сколько было необходимо, чтобы они не подумали, будто он намеренно умалчивает о ней. А потом он перевел разговор на бедняжку Мариетту и рассказал много такого, что человек благородный счел бы нужным хранить про себя.

Часом позже Казанова вышел из своей комнаты побритый, напудренный, надушенный, словом, самый безупречный щеголь, какой когда-либо носил кружевные манжеты и расшитый жилет. Продолжая напевать понравившуюся песенку — любовь всегда рождала у Казановы хорошее настроение, а не поэтическую меланхолию, — он направился на piano mobile * замка Брагадина, где были расположены главные парадные комнаты дворца и где в этот час он наверняка обнаружит сенатора со своими двумя ближайшими друзьями — сенатором Барбаро и сенатором Дзиани.

В молодости эти ныне пожилые господа были пылкими искателями любовных приключений и рьяно и изобретательно преследовали женщин разных обликов и сословий. Но годы затушили горевший в них огонь. Теперь они убедили себя, что воздержание в любви, навязанное им возрастом, только ко благу, что это — жертва, приносимая по необходимости оккультным наукам, которые были

* Парадный этаж (ит.).

тогда в моде среди тех, кто считал себя выше «предрас-судков» и «фанатизма». Объединенные верой в сверхъ-естественное, они дружно уважали Казанову, хотя ува-жение их было неоправданно и зижделось на зыбкой почве. Вместо того чтобы любить этого гениального проходимца за молодость, жизнелюбие и веселый нрав или даже за его умение манипулировать картами и женщинами, они предпочитали восторгаться им за вооб-ражаемое влияние на равно воображаемых Духов и за его умение читать по такой математической планшетке, которую он сам придумал, дав ей нелепое название «Ключ Соломона».

Казанова действовал, как большинство шарлатанов: он составил себе довольно точное представление о характере и нравах старых синьоров и знал, насколько далеко в своих предсказаниях можно заходить, а также что именно они хотят от него услышать. Каждое утро или вечер, сдаваясь на их уговоры выяснить по «Ключу Соломона», что их ждет, он наобум строил из чисел пирамиды и пятигранники, а сам тем временем выуживал из стариков, что их волновало в данный день. Уверившись в правильности своего предположения о том, что именно им хочется услышать, он делал вид, будто «читает пирамиду», переводя цифры в слова, более или менее подходящие оракулу. Когда Казанова точно знал, что хотят услышать старые дураки, ответ был ясным; когда же Казанова был не вполне уверен — ответ звучал более или менее туманно; а когда — что порою случалось — вообще ошибался, он мгновенно обнаруживал ошибку в «подсчетах» и, переиначив пред-сказания оракула, вызывал одобрительные улыбки у своих слушателей. Однако так уж своеобразно устроен человек и такова его противоречивая натура, что Каза-нова куда менее преуспел бы в обмане своих друзей-сенаторов, не верь он в какой-то мере сам в «Ключ Соломона». Такой же смесью уверенности и цинизма объяснялись и его успехи в картах и с женщинами.

Как и ожидал Казанова, он обнаружил стариков в одной из малых гостиных, солнечной комнате обычного барочного стиля, с расписным потолком, фресками на стенах и золоченой мебелью с вышитыми сиденьями, — старцы сидели и терпеливо дожидались его. Герою вче-рашней спасательной экспедиции было выказано немало радушия и взволнованного внимания, а затем началась шумная беседа, пока Казанова с самым серьезным видом

сооружал «Ключ Соломона» и отвечал на важные вопросы, по которым требовалось получить мнение Духов: следует ли Дзиани лишить наследства племянника, который занялся недостойным делом и стал торговать шелками; сменить ли Брагадину короткие парики на более модные; возить ли Дзиани в этот сезон дочерей в оперу? И так далее, и тому подобное. Будучи благобно настроен, Казанова спас провинившемуся племяннику наследство, отправил девиц на спектакли и помешал Брагадину стать посмешищем.

Но «Ключ Соломона», казалось, не желал на этом ставить точку.

— Духи как будто хотят еще что-то нам сообщить, — сказал Казанова, и старики столпились вокруг него, глядя на поднимавшиеся все выше таинственные цифры и волнуясь, точно дети, которых обещали взять на праздник.

— Похоже, в нашу жизнь вошла Ундина, или Дух вод, — продолжал Казанова, с огромной скоростью складывая свои ничего не значащие цифры и одновременно внимательно наблюдая за старцами. Увидев, что они с сомнением смотрят на него, он тем не менее смело сделал следующий ход.

— Ага! — воскликнул Казанова, словно ему открылось что-то совершенно неожиданное. — Речь идет о молодой женщине, которую мы выудили вчера ночью из канала. Она и есть Дух вод, и ей не грозила опасность утонуть, но мы должны немедленно выяснить, где она, связаться с нею и...

Однако даже у Казановы не хватило нахальства идти дальше и он умолк, увидев выражение лиц старцев, особенно лица Брагадина.

— Ты уверен, что «Ключ» сообщил именно это? Ты правильно истолковал? — спросил Брагадин в великом волнении и взял лист бумаги, испещренный непонятными подсчетами Казановы.

— Этого быть не может, — сказал Барбаро, покачивая головой.

— Немыслимо! — согласился Дзиани.

Казанова издал легкий вздох досады, но серьезное и сосредоточенное выражение ни на секунду не покинуло лица этого игрока. Он знал старых патрициев. Ничто на Земле или даже в мире воображаемых Духов не могло заставить их пойти супротив единственной силы, которую они считали самой могущественной на свете, —

супротив трех инквизиторов Венецианской республики во главе со страшным мессером гранде, Главным государственным инквизитором. Однако по озабоченным лицам старцев Казанова понял, что по «государственным соображениям», всегда таинственным, правители Венеции решили: этой женщины Казанове не видать. Что, естественно, преисполнило синьора Джакомо еще большей решимости завладеть ею, а государственные инквизиторы... они пусть себе чахнут. Но с ними надо держать ухо востро, ох как востро...

Казанова сделал вид, будто заново производит подсчеты, за которыми с волнением следили трое старых простофиль.

— Ах! — вдруг воскликнул он.

— Что такое?

— Это, должно быть, произошло, когда Ваша Светлость спросили меня про вашего племянника, — с укором сказал Казанова, обращаясь к Дзиани. — Я написал «девять тысяч четыреста двадцать пять» вместо «ноль четыреста двадцать пять». А это меняет дело. Нас предупреждают, чтобы мы не расспрашивали пока про Ундину. Это принесет нам несчастье. Впоследствии...

Лица трех расстроенных стариков, как по мановению волшебной палочки, мигом просветлели. Конечно же, они с самого начала знали, что «Ключ» не мог дать такого указания, а Джакомо, добавил Дзиани, следует в будущем тщательнее все проверять.

— Кто угодно может допустить ошибку, — пришел ему на выручку Барбаро.

— Особенно когда вы мешаете, — с укором добавил Брагадин.

Но слишком большое облегчение они чувствовали, чтобы препираться даже между собой. Собственно, настолько большое, что Казанове не пришлось прибегать к помощи «Ключа Соломона», чтобы попросить у них в долг сотню дукатов. Они похлопали его по спине, назвали славным малым, по-дружески предупредили, чтобы он был поосторожнее, и одолжили сто дукатов с таким видом, точно были признательны уже за то, что он принимает их деньги.

Невзирая на приятную тяжесть в карманах, Казанова, как и любой другой мужчина, оказавшийся в его положении, был немало обескуражен тем, что эта новая и, пожалуй, наиболее интересная любовная авантюра не имеет никаких перспектив. Да разве может он преуспеть

при столь внушительной оппозиции со стороны и правителей, и посла, и лучшего друга, и своего покровителя, и при том, что буквально никто не в силах ему помочь? Однако таков уж был характер Казановы, что он не терял спокойствия и веселости в условиях, когда любой другой рассудительный мужчина впал бы в уныние; у Казановы же под влиянием этой новой для него необходимости воздержания возникло мистическое чувство, что он должен завоевать право на обладание незнакомкой. Уверенность в том, что как бы там ни было, а он в конце концов найдет ее, объяснялась отчасти этим мистическим чувством, отчасти самонадеянностью, отчасти же — не столь уж малообоснованной верой в свою удачу в любви.

И вот Казанова, напевая популярную песенку про народ, который вечно смеется, отправился после полудня на розыски незнакомки. Он едва ли рассчитывал увидеть ее в ближайший день или два. После купания в ледяной воде, пережитого вслед за тем шока, разумно рассуждал он, незнакомка скорее всего лежит с простудой в постели, но когда-нибудь она же выйдет, и рано или поздно...

Он прошел мимо пышного фасада церкви Святого Моисея, даже не заметив ее, и, миновав переулок, ведущий к площади Святого Марка, остановился под колоннадой и стал смотреть на шумную пеструю толпу, клубившуюся на большой площади. Карнавал в Венеции не был ограничен рамками краткого периода, установленного или вернее терпимого церковью. Наоборот: в Венеции карнавал устраивали в ту пору, когда правителям угодно было его объявить, и поскольку карнавал делает жизнь приятнее, а жизнь должна быть приятной, чтобы ею наслаждаться, и поскольку карнавал благоприятствует торговле, а торговля — жизненная сила налогов, налоги же — жизненная сила правителей, венецианские правители почти на весь год растягивали карнавал, за исключением поста и особенно жарких дней, когда намного приятнее находиться не в городе, а на вилле на острове Brenta.

Картина, на которую смотрел Казанова, едва ли отдавая себе отчет в ее редкости, ее недолговечности, ее яркости и живописности, безусловно, привела бы в восторг любого из ныне живущих, кто мог бы увидеть ее такой, какая она была в тот солнечный день около двух столетий назад. Это было завораживающее сочета-

ние веселой ярмарки, маскарада и модного места встреч для приезжих из половины стран земного шара. Вдоль всех четырех сторон большой площади были устроены подмостки с ярко раскрашенными задниками и нарисованными от руки афишами, где показывали поистине все чудеса, какие существуют на свете, — от диких львов до ручных канареек, от ирландских великанов до голландских карликов. Высоко над толпой на тонких шестах сидели костюмированные обезьянки, грызли орехи, ели лимоны и строили рожи веселящейся толпе, раздражавшейся то похвалами, то взрывами хохота. Громко зазывали, приставая к прохожим, знахари и шарлатаны. Был тут и знаменитый Тринзи, который без боли таскал зубы... под аккомпанемент трубы, двух барабанов и тромбона, заглушавших крики жертвы. Был тут еще более знаменитый Космо Политано, продававший «Монарший бальзам», который на вечные времена предохраняет от смерти. И был тут еще более знаменитый Инноминато, иначе говоря — Безымянный, помощники которого выступали в костюмах персонажей комедии дель арте и который обещал мгновенно и правдиво отвечать на любые вопросы, а также прописывал лечение от «всех хворей, болезней, эпидемий и любого физического недуга!».

И всюду — клубящаяся, поражающая воображение толпа, непрестанно перемещающаяся, необычайно многолюдная, так лихоумно замаскированная, что даже местному жителю невозможно было угадать, кто — переодетый иностранец, а кто — беспечный венецианец, вышедший на улицу, чтобы повеселиться за чужой счет. На многих венецианцах была традиционная национальная баута — белая маска и черный плащ с капюшоном, надетый на пышные яркие одежды, — но в таком же наряде расхаживали и многие иностранцы. Тут были степенные испанцы и длинноусые венгры, оживленные французы и мрачные турки, будто проглотившие аршин англичане и гибкие греки, русские, всему удивлявшиеся, и голландцы, которых ничем не удивишь. А среди них сновали венецианцы, одетые испанцами, венграми, французами, турками, англичанами, греками, русскими и голландцами и так живо и умело изображавшие заморских гостей, что выдать их могло лишь остроумие шуток да диалект. Причем отпускали они свои шуточки так весело, с таким явным жизнелюбием, с таким полным отсутствием национального высокомерия и сословного

презрения, что только круглый идиот мог на это обидеться. А над смеющимися, веселящимися людьми простиралось смеющееся небо:

«Что за народ — смеется вечно!»

Казанова вышел из-под колоннады и медленно стал пробираться сквозь толпу к собору Святого Марка и Дворцу дождей. В противоположность большинству коренных венецианцев, он не был в маске — и по вполне понятным причинам: а вдруг прелестная незнакомка случайно окажется в толпе, поэтому Казанове, естественно, хотелось, чтобы она его узнала. Но пока Казанову узнавали и окликали не интересовавшие его маски, получавшие в ответ лишь улыбку и взмах руки, даже когда это были женщины.

Спешить Казанове было некуда, жизнь текла неспешно, и все было ему приятно в окружающем мире. Он свернул на Пьяццетту, за которой простиралась лагуна и виднелся остров Сан-Джорджо, — Пьяццетта тоже была запружена масками, ряжеными, слоняющимися бездельниками, балаганами, монстрами и обезьянками. Наконец Казанова забрел в кафе, где просидел не один час за чашечкой кофе и стаканом ледяной воды, беседуя со всяким, будь то чужой или знакомый, кто на минуту останавливался у его столика, но глаза его всякий раз так и впивались в каждую женщину без маски, — так он и сидел, пока не настало время скромно поужинать, а затем отправиться в «Ридотто».

Почему именно в «Ридотто»? Ну, на то было несколько причин. Дело не только в том, что картежная игра была в моде и людям состоятельным чуть ли не полагалось проводить в «Ридотто» какое-то время, но сюда стекались все иностранцы и приезжие — это было чем-то вроде галереи на курорте в Бате. А кроме того, поскольку венецианским патрициям не разрешалось бывать в «Ридотто», ибо туда зааживали иностранные послы, для верности всем приходилось снимать маски. Была и еще одна чрезвычайно важная причина, по которой Казанове следовало туда пойти: ему неожиданно прихлынуло везение за столом, где шла игра в фараон, и, будучи игроком, он не мог этим не воспользоваться.

Так текли его дни, один за другим, и единственным развлечением, помогавшим ему держаться, был карточный стол по вечерам. Ни следа незнакомки, ни слуха о ней, да и сам Казанова никогда не упоминал ее имени. Даже Марко считал, что он выбросил ее из головы: что, мол, толку мечтать о недосыгаемой женщине! И вот тут Марко ошибался, ибо в Казанове —

это был ведь восемнадцатый век! — сидел вечный романтик, который по-настоящему любил лишь недостижимое и невозможное.

Везение, сопутствовавшее Казанове за карточными столами, привлекло к нему немалое внимание, что как нельзя лучше отвечало его цели. О нем говорили, приезжали посмотреть, как он играет, и старательно записывали все подробности его игры в надежде обнаружить «систему», тогда как на самом деле Казанова играл просто «по наитию», веря в расклад карт.

Однажды вечером — просто по наитию — он решил выйти из игры раньше обычного и, расовав по карманам выигрыши, вышел в гостиную, где и смешался с толпой, — на людей посмотреть и себя показать. Стоя в мягком свете свечей, умноженных зеркалами и сверкавших бриллиантами на хрустальных подвесках люстр, Казанова поигрывал лорнеткой и всматривался в лицо каждой входившей женщины. Внезапно женский голос произнес у его плеча: «Le voilà!», и Казанова почувствовал, как кто-то легко коснулся его рукава.

Он быстро повернулся, но в этот момент мимо проходили, смеясь, несколько молодых дам в сопровождении *cavalcieri ser venti**, так что он не мог определить, кто произнес эти слова, и безусловно не обнаружил среди них своей незнакомки. И поскольку он никогда не слышал ее голоса, то и не мог быть уверен, что именно она сказала по-французски: «Вот он!» Это могла сказать любая женщина, и тронуть за рукав его могли случайно. Что же делать? Казанову так и подмывало броситься вслед за выходящей из широких дверей компанией, но он удержался в надежде, что «голос» все еще находится где-то рядом и что он увидит свою даму сердца. Он быстро обошел все комнаты и убедился, что, если его незнакомка и была тут (и именно она произнесла те слова), теперь ее уже нет.

Не зная, на что решиться, Казанова поболтался еще какое-то время, а затем, когда публика стала рассеваться и даже ряды игроков поредели, он устало вышел из здания и окликнул свою гондолу. Только он ступил на борт, как женская рука схватила его руку, сунула ему в ладонь сложенную бумажку, так же внезапно отпустила его руку, и он услышал лишь стук высоких каблучков. Прежде чем Казанова сумел выскочить из

* Кавалеров-поклонников (ит.).

покачивающейся гондолы, женщина уже исчезла — если то была женщина, о чем, впрочем, свидетельствовали рука и звук шагов.

Крикнув гондольеру, чтобы подождал, Казанова кинулся назад, в освещенное «Ридотто», и развернул запяски. В ней было только три слова по-французски:

«Merci. Adieu. Henriette» *.

4

В течение двух дней Казанова не ходил, а летал — в голове его роились мечты. Он знает ее имя, и она сама сообщила его! Он знает — или полагал, что знает: раз так, значит, она любит его. Опыт подсказывал: когда говорят: «Спасибо. Прощайте», это значит: «Я люблю вас. До завтра». Имя у нее французское и написала она по-французски, — значит, она француженка. Что ж, он выучит французский. Но прежде они должны встретиться. И мечты Казановы становились солнечно-золотыми при мысли, как он поцелует ее...

В течение двух дней он жил как в раю и ждал, ничего не меняя в распорядке своих дней: утро проводил с Марко и стариками, днем разгуливал по площади Святого Марка, получая бесконечное удовольствие от ее меняющейся панорамы, а вечером играл, по преимуществу выигрывая, в «Ридотто». По суеверию, он считал свои выигрыши добрым знамением: какая же любовная авантюра не требует денег?

На третий день Казанова начал спускаться на землю и понемногу терять свой апломб. Что-то явно пошло не так — ведь незнакомка и не написала ему, и не назначила встречи. Но что? Казанову это тревожило, и он стал проигрывать, — случалось, он вдруг возвращал себе проигранное, но в общем постепенно терял все, что выигрывал. Им овладело какое-то непонятное иступление — он почти не ел и не спал, взбадривая себя бесчисленными чашечками крепкого кофе и проводя каждую свободную минуту за игрой в «Ридотто». Он побледнел, глаза, горевшие лихорадочным огнем, налились кровью, а обычно твердая рука тряслась, как у пьяницы.

Старик забеспокоились и отрядили Марко неотступно быть при Джакомо, добавив звучное, но бесполезное

* «Благодарю. Прощайте. Ариетта» (фр.).

приказание следить за тем, чтобы с ним не случилось беды. Но что мог такой спутник, как Марко, поделаться с человеком столь волевым и решительным, как Казанова? Собственно, все деяния Марко сводились к тому, что он без конца торчал в «Ридотто», посеревший и измученный столькими часами без сна, и с беспокойством и отчаянием наблюдал за своим другом.

Казалось, сам демон игры с сатанинским наслаждением резался в карты с Казановой. Везение сменялось невезением: то он отчаянно проигрывал, то возвращал себе все потери и даже выигрывал, а потом снова ему катастрофически не везло. Марко наблюдал за ним, и у него создавалось впечатление, что Казанова играет с поистине пугающим отсутствием здравого смысла, как бы доводя себя игрой до крайнего иступления. «Зачем?» — в сотый раз спрашивал себя Марко, следя за Казановой и строя тщетные планы «вытащить Джакомо из-за стола».

Казанова играл и проигрывал. Десять раз он сыграл и проиграл, всякий раз удваивая ставку с внешне безразличным видом, показавшимся Марко еще более зловещим, чем волнение, которое ранее выказывал его друг. Проиграв последний золотой, Казанова поднялся из-за стола, отвел Марко в сторонку и сказал беспечнейшим тоном:

— Мне нужно еще немного денег.

— Но ты же знаешь, у меня ничего больше не осталось,— сказал Марко, стараясь, чтобы его слова не прозвучали укором.

— А ты не можешь что-нибудь продать?

— Я уже продал все ради тебя,— с горечью заметил молодой человек. — Даже мое доброе имя.

— А как насчет твоих бриллиантовых пряжек?

— Они фальшивые. Настоящие, бриллиантовые, я продал для тебя же два дня назад.

— Я забыл. Может, мне продать мои или попытаться выудить еще несколько цехинов у папаши Брагадина?

— Он не даст тебе и медяка, пока ты не перестанешь играть...

— В таком случае обратимся к ростовщику...

Казанова получил десять дукатов за свои пряжки от тувель и, несмотря на уговоры Марко, вернулся к игорному столу. Играли в фаро (или в фараона), игра эта была необычайно популярна в восемнадцатом веке и почти забыта сейчас. В ней участвовала вся колода, за исключением верхней и нижней карт, которые

почему-то именовались «soda» и «in hoc» *; последняя называлась так, наверное, потому, что колода лежала на столе в коробочке. Банкомет вытаскивал карты по две и клал их рубашкой вверх, а игроки понтировали на рубашки карт, разложенных на зеленом сукне, подобно рулетке, — более осторожные ставили на ряды и комбинации, более бесшабашные — на какую-нибудь одну карту.

Марко молил Бога, чтобы игра поскорее окончилась и чтобы он мог увести Казанову домой и уложить в постель, ибо бедняга Марко начал всерьез подумывать, что Джакомо рехнулся из-за отсутствия сна... Пять раз Казанова швырял золотой наудачу на какую-нибудь карту и пять раз проигрывал. После чего, посмотрев на Марко со странной улыбкой, он сказал:

— Все, что осталось, — ставлю на женщину. — И поставил последние пять дукатов на даму.

Он выиграл и тотчас передвинул горку золота на другую карту, которая тоже выиграла. Так поступил он и в третий раз и, как ни невероятно, снова выиграл. Игроки начали подталкивать друг друга и перешептываться, а зеваки отошли от других столов и столпились вокруг Казановы. Теперь, когда возле него уже снова возвышалась гора золота, Казанова вдруг сменил тактику — от отчаяния перешел к осторожности, но стал играть настолько сосредоточенно, что было больно на него смотреть. В такой детской игре, как фаро, когда колода непрерывно уменьшается, все или почти все зависит от способности игрока запомнить каждую отыгранную и перевернутую карту. Его шансы на выигрыш будут повышаться в математической прогрессии по мере приближения к концу колоды, хотя, конечно, следует помнить, что две карты из нее — «soda» и «in hoc» — не участвуют в игре. Поэтому вполне естественно, что Казанова чаще проигрывал в начале и чаще выигрывал к концу, неизменно повышая и повышая ставки...

За три часа игры без передышки он сорвал банк, но банкомету не разрешалось давать больше пяти тысяч цехинов в одни руки за один присест. Казанова взял тысячу из выигранных им денег золотом, остальные — чеком, который выдал ему банкомет, а у него не было основания не доверять банкомету, поскольку «Ридотто» принадлежало правителям и управлялось ими.

* Верняк (*итал.*) и та самая (*лат.*).

— А теперь что ты намерен делать? — спросил Марко с вполне оправданным волнением, когда они вышли из «Ридотто», окруженные возбужденной толпой, пытавшейся хоть краешком глаза взглянуть на незаслуженного героя этой ночи.

— Спать.

И Казанова погрузился в сон с наслаждением, говорившим о потребности, намного превышающей представления обычных людей, но, казалось, естественной для него. Час за часом лежал он, пребывая в полном забытьи, лишь ненадолго просыпался, чтобы отослать слугу, приходившего за указаниями, и тут же снова засыпал.

Когда он наконец проснулся, то по расположению солнца, проникавшего сквозь деревянные ставни, понял, что перевалило за полдень. Лежа неподвижно с открытыми глазами, Казанова вслушивался в любимые, такие знакомые звуки Венеции — плеск весла и за ним слабые глухие удары мелких волн о края лодки, оклики гондольеров, пронзительные крики торговцев фруктами и овощами, легкие вскрики стрелой падающих вниз стрижей, непрерывный далекий гул голосов и шуршание подошв по мощеным улицам, с которых давно изгнали лошадей. Только в Венеции приятно вот так лежать и слушать музыку человечества.

Казанова лежал, чувствуя слабость и убогость, словно человек, только что выкарабкавшийся из лап лихорадки и сквозь отступающий туман выздоровления начинающий чувствовать пленительное очарование повседневной жизни. Он что же, забыл Анриетту? Похоже, что да, похоже, что игра вытеснила ее из головы и сердца Казановы и он уже готов ринуться в любую авантюру, которую пошлет ему этот город-сирена. Какой смысл оставаться верным презренной тени? И до него вдруг с пронзительной ясностью дошел смысл песенки про народ, что вечно смеется, которую распевал девичий голос где-то высоко на чердаке по другую сторону канала.

В Венеции, где царил дух упадничества, удачливого игрока уважали больше, чем любого художника, ибо идеалом толпы было умение добывать деньги, добывать быстро и не работая. Казанова знал, что его авантюра в «Ридотто» привлечет к нему внимание сотни хрупких прелестных созданий, а он отчаянно желал завести новую интрижку... чтобы убедиться в том, что забыл Анриетту, чье лицо — он инстинктивно был в этом

уверен — будет стоять перед ним даже в объятиях другой женщины.

Он не ошибся насчет того, какую рекламу сделал ему успех в игре. В тот вечер — впервые за много дней — он вышел в маске, уже не надеясь, что Анриетта может увидеть его и подать знак, и, однако же, несмотря на утвержденное им презрение, не мог не думать о ней, заглядывая в лицо каждой женщине без маски.

Он был настолько поглощен своими бессознательными или, пожалуй, наполовину сознательными воспоминаниями об Анриетте, что сначала и не заметил обратившегося к нему раздетого негритенка, а их в ту пору часто использовали в качестве пажей богатые и модные венецианские дамы.

— Высокочтимая маска, — сказал негритенок, кланяясь и улыбаясь с неотразимой смесью нахальства и добродушия, — фортуна улыбнулась вам в игре, теперь от вас зависит насладиться ее благосклонностью и в другой области, которая еще больше вам по вкусу!

Это было отбарабанено без пауз, не вдаваясь в смысл, — так школьники зазубривают непонятный урок. Несоответствие между небрежностью изложения и напыщенностью слов, которые мальчишку явно заставили выучить наизусть, было до того смешным, что Казанова, несмотря на дурное настроение, расхохотался.

— Высокочтимое дитя Солнца, — сказал он в стиле мальчишки, — мы воздаем тебе благодарность. И каким же образом эта авантюра может быть осуществлена?

— Нечего надо мной смеяться, синьор, — сказала мальчишка уже обычным тоном и явно обидевшись, — я ведь сказал только то, что она велела мне сказать.

— Она? А кто это — она?

— Да уж наверно моя хозяйка, синьор. Кто же еще?

— А как ее зовут, милый друг?

— Так легко вы меня, синьор, не поймаете, — произнес мальчишка с забавной попыткой схитрить. — Это пока секрет. Но если вы пожелаете ее увидеть...

Он приблизил лицо к маске Казановы, словно пытаясь уловить выражение его глаз, и с понимающим видом ослабил ее.

— Так, значит, если я пожелаю ее увидеть?..

— Тогда будьте любезны следовать за мной.

И он зашагал с важным видом, снова вызвавшим смех у Казановы. Мальчишка привел его к гондоле, которая стояла на приколе на рiu, за Прокуратие

Веккие. Не переставая поддразнивать негритенка, Казанова сразу заметил, что гондола — из тех, какими пользуются патриции, что в ней два гондольера в красивых белых костюмах с малиновыми поясами и что гербов, какие обычно бывают на таких гондолах, здесь нет. Какую-то долю минуты Казанова помедлил. Да, конечно, венецианки из высшего общества пользовались свободой действий, почти равной их свободе от предрассудков, и хотя приглашение такого рода вполне могло исходить от какой-нибудь прелестницы, оно могло быть и ловушкой, подстроенной кем-то из врагов, а могло быть и одной из мрачных шуточек, столь дорогих сердцу Триумвирата...

— Авантюры — для авантюристов, — достаточно громко произнес он, ступая в гондолу и удобно усаживаясь на горе мягких подушек в фельце.

Он заметил, что и здесь убрано все, что могло бы дать ключ к опознанию владельца. Глядя сквозь боковое окно, Казанова пытался запомнить путь, по которому они быстро скользили, но венецианские гондольеры всегда были и остаются большими мастерами своего дела и лихо сворачивают в малоизвестные каналы, а постепенное сгущение красок, наступающее в Венеции при закате солнца, когда все приобретает голубовато-серый и бархатисто-черный цвета, затрудняло Казанове замечать вехи. Оглянувшись, он увидел, что мальчишка сидит на корточках у входа в фельце и хихикает.

— А, вот ты где, — сказал Казанова, несколько раздраженный его молчаливым весельем. — Что это так тебя забавляет?

— Я думал, как обрадуется моя хозяйка, когда увидит Ваше Превосходительство.

— М-м, — с сомнением произнес Казанова, — а что, если бы ты все-таки сказал мне, как ее зовут?

Негритенок помотал головой и осклабился.

— А, может, она придумает себе имя специально для Вашего Превосходительства.

Казанова попытался пустить в ход то, что, как он знал по опыту, развязывает людям язык всюду: протянул негритенку золотой.

— Нет, синьор, — сказал мальчишка, отводя глаза в сторону. — Раз я что обещал, значит, обещал.

— Хороший мальчик, — снисходительно заметил Казанова. — В любом случае возьми его. Я могу быть очень щедрым другом...

— А что мне за это надо будет сделать? — Парнишка медлил исполненный подозрительности.

— Ничего. Просто я тебе задам несколько вопросов. Можешь отвечать на них, можешь — нет, как хочешь... Твоя хозяйка темненькая или светленькая?

— Ваше Превосходительство сами скоро увидят. — Негритенок снова хихикнул.

— А сколько ей лет?

— Я никогда не спрашивал, Ваше Превосходительство.

— Она замужем?

— Говорят, что да.

— А кто ее чичисбей *?

— Ваше Превосходительство еще об этом спрашивает?

— Не много же из тебя вытянешь, а? — не без сарказма заметил Казанова.

Мальчишка откликнулся не сразу — он был занят, пытаясь ухватиться за причал, к которому подплыла гондола. Затем помог Казанове выйти и произнес уже совсем другим тоном:

— Я верно служу моему хозяину, Ваше Превосходительство.

— Хозяину? — передразнивая его, произнес Казанова, но мальчишка уже умчался вверх по темной лестнице, которая привела их в большие и роскошно обставленные апартаменты, являвшиеся, как сразу понял Казанова, частью одного из пышных казино, каких много в Венеции и где есть такие же апартаменты для встреч наедине с представителем или представительницей противоположного пола, что не положено делать во дворцах.

Негритенок мгновенно исчез, а Казанова, с одобрением оглядев великолепные, с чувственными сюжетами фрески на стенах, стал охорашиваться перед венецианским зеркалом, оглядывая с еще большим одобрением мужественную фигуру и правильные черты Джакомо Казановы. Интересно, кто она и какова собой? Что лучше — приветствовать ее церемонным поклоном, как подобает следующему моде синьору, или упасть к ее ногам и поцеловать ей руку с видом потерявшего голову влюбленного?..

Он круто повернулся, и... улыбка соблазнителя сменилась на его лице весьма кислой гримасой при виде барона Шаумбурга, стоявшего перед ним. Казанова

* Поклонник (ит.).

побелел и невольно отступил, но левая рука его легонько легла на эфес шпаги перед лицом врага.

— Присядьте, синьор,— сказал посол отнюдь не враждебным тоном.

— Ваше Сиятельство,— сухо произнес Казанова,— поскольку ваше приглашение было несколько неофициальным, позвольте сначала спросить...

— Я прибегнул к маленькой хитрости, чтобы завлечь вас сюда: судя по вашей репутации, я подумал, что мне это удастся. Я поступил так... ну, вы знаете, как подозрительно относятся в Венеции к послу. Если это вас оскорбило, прошу принять мои извинения.

Казанова поклонился и сел.

— Часто говорят, Ваше Сиятельство,— весело заметил он,— что послов посылают за границу, чтобы они лгали во благо своей страны.

— Прежде всего,— сказал барон, не обратив внимания на наглую выходку Казановы, если не считать легкой морщинки, появившейся на лбу,— я хочу поблагодарить вас...

— Поблагодарить меня?..— Брови у Казановы взлетели вверх.

— Вы помогли спасти мою жизнь и спасли жизнь молодой особы, которой я интересуюсь...

Казанова изящно прикрыл рот пальцами, выступавшими из кружевной пены манжет, как бы сдерживая легкое покашливание, означавшее: «Вашей любовницы?»

— Милостивый государь,— сказал барон,— речь идет о даме, заботиться о которой мне поручено Ее Величеством королевой Австрии.

Казанова наклонил голову, принимая это объяснение.

— А затем произошел тот небольшой инцидент напротив моего дома... — добавил барон.

«Не человек, а дьявол,— подумал искренне удивленный Казанова,— он знает все...»

— Это была ошибка излишне усердных слуг,— сказал барон.— Тот камень предназначался полицейскому шпику и должен был попасть в его голову. Я сожалею, что обеспокоил благородного человека, и радуюсь, что камень не попал в вас.

— Ваше Сиятельство слишком любезны,— не без иронии пробормотал Казанова.

— Вы вели себя со свойственным молодости безрассудством,— милостиво, однако не без язвительности в

тоне произнес барон.— Как и в том случае, когда подкупили одного из лакеев сенатора Брагадина, чтобы тот в свою очередь подкупил моих гондольеров и узнал у них про даму; так же вы поступили, когда предложили изрядную сумму моему брадобрею, чтобы тот порасспросил меня на этот предмет, после того как выяснили, что гондольеры ничего не знают; и прежде всего так же вы поступили, когда пытались достичь той же цели через вашего друга-иезуита, который должным образом отчитал вас...

По мере произнесения этой тирады Казанова все больше бледнел: он-то считал, что об его интригах никто не знает. Сказать ему было нечего.

— Вам следует прекратить такого рода занятия,— покровительственным тоном произнес барон.— Во всяком случае, не стоит так вести себя с представителями великих держав. А кроме того, интересующая вас дама покинула Венецию в течение двадцати четырех часов.

«А вот он и солгал! — подумал Казанова, приободряясь.— И он не знает, что она послала мне записку. Возможно, она все еще здесь!»

— Весьма сожалею об этом,— вслух произнес он,— ибо мне хотелось — с разрешения Вашего Сиятельства, конечно,— передать даме мое глубочайшее почтение. Но я должен поздравить вас с таким всеведением вашей шпионской сети.

— У меня она и в самом деле всеведущая,— сказал барон, искренне довольный похвалой.— Я рад, что вы это признаете. Ах, синьор, в эти дни всеобщей продажности до чего же трудно нам, людям благородных кровей, найти честных и преданных слуг, которые ни перед чем не остановятся... Но я не хочу вас задерживать. Моя гондола в вашем распоряжении. Однако прежде, чем вы уйдете...— Он порылся в кармане и вытащил небольшую коробочку.— Я был против этого,— добавил он, с досадой глядя на коробочку,— но эти чертовы женщины могут у кого угодно выудить обещание.

— Я не вполне вас понимаю, Ваше Сиятельство,— сказал Казанова, однако сразу догадался, что Анриетта нашла способ дать ему знать о себе.

— Дама,— произнес барон,— благодарит вас и в знак признательности посылает вам это кольцо.

Кольцо было тяжелое, из гравированного серебра с большим овальным лапис-лазуриком — оно не представляло иной ценности, кроме памяти об Анриетте. Она

явно постаралась выбрать такое кольцо, которое было бы ценно лишь как ее дар.

— Я с радостью принимаю его, — сказал Казанова, чувствуя, как к нему возвращается веселое настроение. — В том, конечно, случае, если Ваше Сиятельство заверяет меня, что оно исходит от самой дамы.

— Разрешите присовокупить небольшой совет, — произнес довольно грозным тоном барон, не обратив внимания на слова Казановы. — Вы должны оставить всякую надежду когда-либо увидеть снова эту даму и не предпринимать никаких усилий, чтобы выяснить ее имя, не то это действительно дорого вам будет стоить. — Он помолчал, давая осесть угрозе, затем мелодраматическим жестом указал на дверь. — Вам туда, синьор!

Казанова поклонился и направился к двери; открыв ее, он, казалось, помедлил, затем повернул голову назад.

— Что такое? Что вам еще угодно? — раздраженно спросил барон.

— Я хочу всего лишь, — сказал Казанова, — чтобы вы поблагодарили от моего имени за кольцо и передали мою вечную любовь... *Анриетте*.

— Стойте, синьор, стойте! Немедленно вернитесь! — воскликнул барон, ринувшись к двери, но Казанова захлопнул ее перед его носом.

Барон опоздал: Казанова уже успел незаметно раствориться в темноте, решив не беспокоить его гондольеров.

В ту ночь, далеко за полночь, Марко и Казанова сидели у него в комнате и разговаривали. Казанова мог при необходимости хранить тайну, но если тайна касалась хорошенькой женщины, это раздражало его не меньше, чем крупный каштан в кармане. Уже несколько раз в течение вечера он порывался рассказать Марко о том, что произошло, и всякий раз спохватывался. Наконец, не в силах больше сдерживаться, он выпалил:

— Я видел сегодня барона фон Шаумбурга.

— Какого черта! — Марко явно встревожился, но одновременно и удивился. — Ты говорил с ним?

— Безусловно говорил. Он посылал за мной.

Марко присвистнул.

— И что же он тебе сказал?

— О, слишком много всего — не упоминай. Кончилось тем, что он пригрозил мне, если я буду пытаться встретиться с Анриеттой.

— Анриеттой?

— С той молодой особой, которую мы выудили из канала,— сказал Казанова.

— Откуда тебе известно ее имя?

— Она сама мне сообщила.

Марко был совершенно сбит с толку, и Казанова, получая от всей этой ситуации огромное удовольствие, протянул ему записку Анриетты, которую Марко прочел и, возвращая, сказал:

— Тебе повезло так легко выпутаться. Ты правильно поступишь, если забудешь ее.

— Забуду?! — Казанова расхохотался.— Да неужели ты думаешь, что я испугаюсь угроз какого-то болвана-австрийца? У него же нет на нее никаких прав. Он солгал мне, сказав, что она покинула Венецию. Город этот не маленький, но все равно старому мерзавцу не удастся вечно скрывать ее от меня.

Наступило молчание — Марко поерзал в кресле, явно не зная, на что решиться, и наконец произнес:

— Мне не следовало бы тебе это говорить, но барон сказал правду: Анриетта покинула Венецию.

— А ты-то откуда знаешь? — мгновенно парировал Казанова.

— Мне сказал отец.— Марко помедлил и чуть ли не шепотом добавил: — Это обсуждалось на Совете десяти.

Теперь уже Казанова присвистнул.

— Вот черт! — громко воскликнул он.— С каких это пор мои любовные авантюры стали делами государственных?

— Тихо, тихо! — Марко огляделся, словно ожидая увидеть при свете свечей выступающего из тени шпиона.— Запомни: в Венеции у всех стен есть уши.

— Очевидно, тут замешано что-то политическое,— произнес Казанова, не обращая внимания на предупреждение Марко: — Триумвират и Совет десяти не тратят времени на обсуждение того, что не затрагивает их власти. Что ж, время, наверное, покажет... Куда же она уехала?

— Откуда мне знать? Да если бы я и знал, то не посмел бы сказать тебе. Забудь ее. Считай, что все это тебе приснилось.

— Приснилось? — протянул Казанова, вынимая из кармашка кольцо и медленно поворачивая его в пальцах.— Вот достаточно осязаемое доказательство, что это

был не сон. Анриетта передала мне сегодня через барона это кольцо.

— Через барона?! Ты шутишь!

— Ничуть. Барон — человек чести. Возможно, она подловила его, заставив дать обещание, но уж раз он его дал, то и выполнил с пунктуальностью аристократа, у которого шестнадцать квадратов в гербе и деревянная башка... Это кольцо — с ядом, заметь. Я обнаружил, что оно открывается, если нажать на этот изогнутый малиновый лист, а внутри лежит сладостный яд. Смотри.

Казанова нажал на скрытую пружину, лапис-лазурит отскочил, и Марко увидел в углублении крошечную, изящно исполненную миниатюру Анриетты.

Однако миниатюра под камнем была портретом не Анриетты, как затем вынужден был с сожалением признать Казанова.

5

Визит кардинала, архиепископа Венецианского, — это событие даже для семьи сенатора, а Его Высокопреосвященство не преминуло дать понять сенатору Брагадину и его двум неразлучным друзьям, что визит будет кратким и что прелат не пришел бы, если бы не угроза скандала для церкви...

— По вашей просьбе, Ваше Превосходительство, и вопреки собственному мнению я весьма неохотно разрешил этому молодому человеку дать обет, — сказал прелат.

— Я надеялся... — начал было Брагадин, но кардинал мановением руки прервал его.

— Вы старались поступить как лучше, — сказал он, — но нам следовало вам отказать. Мы ведь умеем распознавать людей. Да, правда, этот ваш молодой Казанова — человек не безнадежный и не буйный. Но должен сказать, он бесспорно не обременен героизмом...

— Тем не менее в самую бурю он спас из ледяной воды... — начал было Брагадин, на сей раз уже с возмущением.

— Знаю, знаю. — Снова мановение руки. — Он поступил так под влиянием порыва великодушия. Но он не из тех, кто готов умереть ради проигранного дела, собственно, я бы сказал, что он преисполнен решимости вообще не умирать и не подвергать себя опасности ради

какого бы то ни было дела. В приступе ярости или тщеславия он может совершать безумные и буйные поступки, но слишком он легкомыслен, чтобы надолго затаить обиду и исподволь готовить мщение. Его чувство чести легко ранимо, но оно поразительно быстро восстанавливается...

Брагадин жестом выразил несогласие и взглянул на своих двух друзей, ища у них поддержки, но они упорно не смотрели на него. Тогда он проглотил свои возражения и дал возможность словоохотливому старику кардиналу выговориться.

— Вы в этом как будто сомневаетесь? Но посмотрите, как он вел себя с Шаумбургом, который хитростью лишил его возможной любовницы, да еще и пригрозил. Сначала ваш Казанова призывал смерть и погибель на голову посла, готов был перерезать ему горло, но по здравому размышлению решил вести себя благоразумно в надежде, что Радаманф * или Святой Петр — если ваш синьор Казанова в кого-нибудь из них верит — со временем выведет его куда надо.

— Прошу, Ваше Высокопреосвященство, меня извинить, — сказал Брагадин, — но не хотите же вы, чтобы молодой человек в сане дьякона дрался на дуэли?

— Никоим образом, — возразил кардинал, происходивший из одной из старейших семей Романьи. — Я хотел лишь сказать, что он и не из благородных, но и не из головорезов. Так же обстоит дело и с его слишком уж многочисленными любовными авантюрами. Он, несомненно, никогда не слышал о философе-гедонисте Аристиппе **, но немного найдется людей, которые более тщательно следовали бы заповедям этого язычника-сластолюбца...

Сенатору и его двум друзьям поднадоело уже слушать эти рассуждения, — архиепископ что же, явился дать им устный портрет Казановы, что было модно в те времена, или проверить на них несколько положений своей будущей проповеди?

— Позвольте спросить, Ваше Высокопреосвященство, какой мы должны сделать из всего этого вывод? — осведомился Брагадин.

* *Радаманф* — сын Зевса и Европы. Согласно мифам, один из трех судей в загробном мире.

** *Аристипп* — древнегреческий философ (ок. 435—355 гг. до н. э.), ученик Сократа.

Архиепископ улыбнулся своей грустной улыбкой, в которой было больше усталости от жизни, чем снисхождения.

— Дело не в том, высокочтимый мой друг,— напыщенно отвечал он,— что ваш молодой друг, судя по всему, не верит в Бога. В наши времена вседозволенности, должен с прискорбием сказать, это не всегда является препятствием к тому, чтобы стать дьяконом или священником. И дело даже не в том, что ваш молодой друг предается грехам плоти, особенно одиозным для человека, надеющегося стать достойным священнослужителем. Он скандально себя ведет. Часто выходит в светской одежде и со шпагой. А в платье аббата — играет. Во время поста просит разрешения есть мясо, что указывает на неизлечимо фривольную натуру. Словом, он должен покинуть церковь ради нашего блага и покинуть Венецию ради своего собственного...

Все, до сих пор сказанное архиепископом,— если исключить манерность речи — было разумно и справедливо, что вынужден был признать даже сенатор Брагадин. Но он не готов был признать разумность совета архиепископа, хотя и прекрасно понимал, что это значило: Его Высокопреосвященство не позволит Казанове стать священником. С другой стороны, что будет делать Казанова, если расстанется с церковью? Не лучше ли послать его в Рим, чтобы он завершил там свои занятия? Там он будет поставлен в рамки более строгой дисциплины и избавлен от соблазнов Венеции.

Легко представить себе, какая долгая дискуссия произошла затем между тремя сенаторами, которые уделили проблеме Джакомо куда больше времени, чем уделяли своим обязанностям в управлении Венецией. Они решили прибегнуть к совету «Ключа Соломона» и были немало удивлены и сбиты с толку, когда их духовный оракул решительно отказался позволить Казанове уехать из Венеции, а вот насчет карьеры в церкви высказался непонятно и двусмысленно...

Ее звали Розаура Лаурано; ей было двадцать два года, она была замужем и стремительно превращалась в роскошную пышную красавицу, каких любил писать Веронезе, а лорд Байрон просто любил. Ее супруг — маленький скупердяй с жеманными манерами, в несоизмерно большом для его тощего лица парике — был

человек благородных кровей, обремененный большими долгами. Как же удалось этому немолодому, хворому, нищему пугалу жениться на здоровой, красивой, хоть и безмозглой девице с большими деньгами? Все та же старая дурацкая история: он был аристократом, она — нет; он дал ей ничего не значащий титул в обмен на весьма солидное состояние ее отца.

Сначала Розаура наслаждалась тем, что живет во дворце четырехсотлетней давности и что к ней обращаются: «Ваше Сиятельство» и «Досточтимая синьора». Потом оказалось, что дворец при всей своей красоте требует ремонта; что едят тут невероятно мало по сравнению с тем обжорством, какое царило в ее буржуазном доме; что слуги смеются за ее спиной и что, как она выяснила, изрядная часть ее приданого пошла на уплату долгов старинной приятельницы ее мужа, замужней дамы, которая красила волосы и свое происхождение вела от дождя. А кроме того, замужняя жизнь оказалась очень унылой, ибо Розаура общалась лишь с высохшими стариками, говорившими только о политике, и высокомерными полногрудыми дамами, без конца рассуждавшими о своих родословных, напоминая тем самым Розауре, что у нее-то никакой родословной нет,— словом, точно она родилась без большого пальца, или без аппендикса, или без чего-то еще.

Жизнь Розауры была тем более скучной, что в ее брачном контракте не был предусмотрен чичисбей. Надо сказать, что чичисбей, или *cavalier' servente*, не всегда был тем, что приписывает ему циничный современный мир, а именно: узаконенным любовником. В эпоху, когда женщины не могли никуда пойти без мужчины, чичисбей был необходимостью — им мог быть друг семьи или бедный родственник, который избавлял мужа и жену от унылой надобности всюду появляться вместе или всегда вместе сидеть дома. Правда, предполагалось, что он должен быть платонически влюблен в свою даму — отдаленный пережиток идеалистической любви времен Данте и Петрарки. Таким путем у всех сохранялось чувство собственного достоинства и подтверждалась невинность отношений скорее, чем испорченность. Возможно, мнимая платоническая любовь часто перерастала в настоящую, плотскую, но ведь...

Словом, Розаура вынуждена была в конце концов воззвать к своему отцу и пригрозить, что убежит из дома, или бросится в канал, или уйдет в монастырь, если ее сухой не улыбочивый муженек не будет давать ей денег

или не найдет какого-нибудь высохшего двоюродного брата, с которым она могла бы выезжать.

В недобрый час этот скучный чичисбей повел Розауру в «Ридотто», где по воле случая она оказалась за столом, за которым играли в фаро, рядом с синьором Джакомо Казановой, мгновенно оценившим ее красоту. Он увидел, что она ничего не смыслит в игре и, пользуясь духом *samaraderie* *, царящим за игорным столом, сначала посочувствовал ей, когда она начала терять свои несколько жалких дукатов, потом отважился дать ей совет, а кончилось дело тем, что он стал ее партнером в игре.

Чичисбей же, которому, пожалуй, следовало бы что-то тут предпринять, отправился за мороженым и чашечкой кофе.

Тем временем влюбчивый Казанова — а лишь немногие станут отрицать, что влюбчивость составляла существенную часть натуры этого обольстительного искателя приключений, — оценивал достоинства Розауры согласно методе и пониманию знатока. Какие пышные шелковистые волосы, а какие темные синие глаза, а какие невинные многообещающие губы и — о, небо! — какая белоснежная шея, позволяющая догадываться о том, какие бархатистые сокрыты под платьем груди! Казанова играл небрежно, безразлично, все еще терзаясь утратой Анриетты. Но вот судьба послала понятное ему утешение, ибо для Казановы (да разве он в этом одинок?) утешением в несостоявшейся любви всегда была новая любовная авантюра.

Теперь он начал играть с той сверхъестественной сноровкой и везением, которые всегда приводили к тому, что он срывал банк в «Ридотто», а со временем сделали его одним из самых известных профессиональных игроков Европы. Он выигрывал и выигрывал и всякий раз делился выигрышем со своей молодой партнершей, которая была потрясена его удачей и, словно новоиспеченная Даная, с трудом верила, что золото, которое текло к ней в руки, было настоящим **. И все это время они громко переговаривались по поводу игры, чтобы отвлечь внимание слушателей, и шептались о том, что начало интересовать обоих куда больше, чем золото.

* Товарищества (фр.).

** Согласно мифам в башню, в которую Даная была заточена своим отцом, Зевс проник в виде золотого дождя.

— Ставим десять дукатов на эту колонку. Я — Джакомо Казанова, а вас как зовут?

— Розаура Лаурано... Я много слышала о вас. Браво! Вы снова выиграли.

— Будем ставить по десять дукатов. Не верьте тому, что вы обо мне слышали: я вовсе не такой плохой, как говорят.

— Вы снова выиграли! А я ничего плохого о вас не слышала — только то, что вы мужчина обаятельный и опасный. Может быть, выйдем из игры?

— Выйдем? Да мы же только начали. Видите! Ставки удваивают. Почему я ни разу не видел вас раньше?

— Не играйте чересчур безрассудно — жаль будет проиграть. Я всего только год замужем. А вы женаты?

— Упаси Боже! То есть, я хочу сказать, коль скоро мне не выпало счастья жениться на вас, я теперь уже никогда не женюсь. Ага, мы снова выиграли!

— Как чудесно! Я хочу сказать, вы насмехаетесь надо мной.

— Я стараюсь, чтобы нам обоим было хорошо. Иду на риск и удваиваю ставки. А мы нигде не можем встретиться наедине?

— Надеюсь, вы будете продолжать выигрывать. Вы же знаете, что дама не может выходить одна.

— Я снова повышаю ставки. Если я обещаю вести себя так, как вы пожелаете, вы не согласились бы прийти в мой казино?

— Вы ставите пятьдесят дукатов зараз?! Однако, вы любите рисковать, не так ли? Я женщина уважаемая.

— Я знаю. Потому я вас и спрашиваю. А вы не можете сделать вид, будто идете к родственнице?

— Ваши пятьдесят дукатов выиграли! А вы обещаете уважать мою честь? Я никогда еще не была наедине с чужим мужчиной.

— О, я обещаю вам все, о чем вы ни попросите. Да и чужим мужчиной я буду для вас недолго. Ну-с, в последний раз бросаю кость и снова повышаю ставку. Есть у вас служанка, которой вы можете довериться?

— Да, но могу ли я довериться вам?

— Мы снова выиграли. Сделайте вид, что считаете деньги, и слушайте внимательно. Это ваш муж стоит там у двери и смотрит на вас?

— Кто? Ах, этот!

— Поздравляю вас — с тем, что вы выиграли столько денег, конечно. Завтра в восемь мой гондольер проедет

мимо вашего дворца. На нем будет голубой костюм с белым поясом и двумя красными розами. Пусть ваша служанка стоит в голубом шарфе у нижнего окна. Ей бросят письмо.

— Триста дукатов! Вы — скверный человек, вы пытаетесь соблазнить меня.

— Ваш чичисбей что-то заподозрил. Лучше вам сейчас уйти. Благодарю вас, синьора, за то, что вы принесли мне счастье. Я уже по уши влюблен в вас.

— Лгун. Благодарю вас за то, что вы так помогли мне в игре. И прощайте — в случае, если мы больше не встретимся.

— Когда я влюблен в женщину, я всегда еще раз встречаюсь с ней. Ваше сиятельство, покорный ваш слуга!

Казанова проводил взглядом молодое тело женщины, пока она легко шла через заполненную людьми залу к двери, где чичисбей подскочил к ней со злостью несправедливого мужа и не имеющего надежды влюбленного. Розаура, не обращая на него внимания, приостановилась, чтобы надеть маску, и, надевая ее, помахала Казанове своей маленькой белой ручкой. Он церемонно поклонился, словно это была обычная знакомая, а когда она исчезла, перешел к другому столу и сделал вид, что наблюдает за игрой.

У него слегка кружилась голова от острого желания, которое возбудила в нем Розаура. Более того, если он хотел удовлетворить это желание не вздохами и сожалением, а чем-то большим, ему необходимо было заняться делом: ведь он пригласил Розауру в казино, которого у него не было, и обещал послать к ней верного гондольера, каким не располагал. Да и для успеха интрижки требовалось немало всякого другого, ибо нет увлечения более дорогостоящего, чем любовь. А кроме того, не все покупается и продается, как, например, безоговорочная верность слуг, которой патриции пользуются от рождения, но которую никому не дано купить.

Казанова взглянул на свои часы: была половина первого. Ночь в Венеции еще только начиналась.

*Краса всех празднеств и земли веселье —
Кипучий итальянский маскарад.*

Казанова вернулся в замок Брагадина, где немногим больше часа тому назад оставил Марко и трех стариков сенаторов за степенной игрой в трик-трак на четверть

дуката. Из своей спальни он послал к Марко слугу со следующей запиской:

«Поднимись ко мне, как только сможешь, ничего никому не говоря. Дж.».

Затем подошел к окну и стал смотреть на Венецию. Теплый ветерок с лагуны слегка отзывал солью, смешанной с легкими, более крепкими ароматами далекой, погруженной в осень земли. Во влажном небе мягко поблескивали звезды, и их сверкающие отражения расплывались в воде от движения тихо скользящих гондол. Как всегда в Венеции в погожую ночь, издали доносилась музыка, и ее тихие звуки, казалось Казанове, сливались в песню о народе, что смеется вечно.

Густой и душный аромат вернул Казанову в собственную спальню, в которой слуги поставили большую вазу с поздними розами. Он вынул красную розу и, осторожно соединив вместе ее лепестки, слегка коснулся их губами — закрыв глаза, он наслаждался ее ароматом и думал о губах Розауры и изящной линии ее шеи, переходящей в крепкие полушария, прикрытые тугой золотой парчой платья.

— Что еще случилось, Джакомо? Снова попал в беду?

Казанова медленно открыл глаза, поставил розу в холодную воду и улыбнулся.

— Не совсем. Я сегодня играл с партнером в «Ридотто», и мы выиграли каждый по триста дукатов.

— Ты посылал за мной, чтобы сказать мне это?

— Конечно нет, дорогой мальчик! Я хочу просить тебя об одолжении. Мне нужно на две-три недели нанять гондолу с гондольером, которому можно доверять. Одолжи мне того Дзордзе и...

— Опять женщина! — В голосе Марко прозвучал испуг. — И это после всего, о чем мы говорили! После всего, что ты обещал! После всего, что сказал архиепископ!..

— А почему меня должно волновать то, что сказал архиепископ? — капризным тоном заметил Казанова.

— Ну, ты ведь вроде бы находишься в его ведении и должен следовать дисциплине... пока...

— Ох, не будем снова об этом. Дашь ты мне Дзордзе на две-три недели?

— Очевидно, придется дать, — нехотя согласился Марко. — А ведь только сегодня вечером все так тебя хвалили за то, что ты открыл в своей жизни новую страницу.

— Именно это я и собираюсь сделать, — бесстыдно заявил Казанова. — Новый фиговый листок.

Марко медленно покачал головой, словно врач, махнувший рукой на больного.

— Да неужели ты настолько безрассуден, Джакомо? Ты что же, не понимаешь, что произойдет, если будешь по-прежнему гоняться за женщинами? Ты просадишь все свои деньги, залезешь в долги, подерешься с кем-нибудь из-за нее на дуэли, потеряешь сон, заболеешь, архиепископ обо всем этом узнает и отлучит тебя от церкви или сделает что-нибудь в этом роде, что погубит твою карьеру и разобьет сердце старика Брагадина, а тогда уже некому будет тебя защищать или тебе помогать, и ты умрешь на виселице...

Выслушав поток этих мрачных пророчеств, Казанова расхохотался.

— Немного же ты оставляешь мне надежды, не так ли? Ах, но ты ведь не видел ее. Какие глаза, какие губы, какое прелестное тело и очаровательная пустая головка! Ну, а кроме того, она меня жаждет — я чувствую это всеми своими фибрами, — и это куда важнее: я жажду ее. А теперь будь умницей, пошли кого-нибудь за Дзордзе.

Получасом позже гондола без света, тихо, словно собственная тень, скользя по темной воде, бесшумно остановилась под окнами замка Лаурано. Ни легкий шелест волны, ни чье-то слово, ни движение на гондоле не нарушали тишину. Затем Казанова поднял руку — белые кружева манжета сверкнули в темноте, и по воздуху поплыла приятная сладострастная музыка, мелодия взлетала на легких крыльях к толстым ставням и древним стенам, кружась, точно серебристые мотыльки в темноте. «Ты прелестна, моя радость (казалось, говорила музыка), и ты знаешь это, и я знаю это, и я влюблен в тебя, а ты влюблена в меня, и мысли о тебе не дают мне заснуть, как и мысли обо мне не дают спать тебе». А затем — Казанова вздрогнул от неожиданности, хотя и знал, что предстоит, — вдруг раздался дивный голос, и закутанная фигура рядом с ним запела «Серенаду» Квирини, прелестный отзвук народной итальянской песни:

Спокойной ночи, моя дорогая.
Верно, ты на пуховой перине
Нежно клонишь головку ко сну;
А я в реке из слез и мук, в долине
Душой и сердцем вспоминаю ту весну.

Спокойной ночи, моя дорогая.
Спокойной ночи, моя дорогая,
Засыпай поскорей, пусть уснет и Любовь,
О ты, моя желанная, родная!
Не бойся, сладко спи, и встретимся мы вновь,
Прощай, я уезжаю, надеясь и страдаю.
Спокойной ночи, моя дорогая *.

Тишина растекалась в ночи, накрывая и дворец, и канал, и длинная темная гондола заскользила прочь так же тихо, как и подплыла.

Но серенаду слышали:

Граф Лаурано, которого она разбудила и который тихо ругнулся, поклявшись, что отрежет нос этим мяукающим дурням;

Розаура, которая еще не спала, когда пение началось, и, поняв, что серенада предназначена ей, теперь лежала в темноте и дрожала от мыслей, которые пение породило в ней;

служанка Розауры Марта, которая услышала серенаду сквозь сон и подумала: «Ну, наконец-то появился первый возлюбленный, а то ведь можно диву даваться, что у нее их не дюжина — такая молоденькая и красивая, к тому же богатая и с таким старым болваном мужем; ох, как бы я желала быть на ее месте, чтобы красивенький молодой господин захотел залезть ко мне в постель, и да благословят ее все святые, пусть молодые люди будут счастливы, пока есть любовь, а то ведь в могиле-то лежать будем долго...»

6

Такой уж у Казановы был характер, что поиски подходящего казино, где он мог бы принимать свою новую даму сердца, превратились для него не в обязанность, а в удовольствие. Где-то в паутине переулков между площадью Святого Марка и мостом Риальто Казанова нашел человека, которого сейчас мы сочли бы почтенным агентом по недвижимости, но который тогда считался весьма подозрительным типом. Дукаты и цехины, которыми позвенел перед ним Казанова, привлекли к нему все внимание агента, и тот предложил по крайней мере с полдюжины роскошных казино.

* Перевод с ит. Л. Вершинина.

Проведя два чрезвычайно приятных часа в посещении всех этих казино, перемещаясь от одного к другому вместе с агентом на гондоле и набравшись такого множества скандальных сплетен об их бывших обитателях, какое он мог воспринять, Казанова снял дом, на котором сразу остановил свой выбор, как только услышал о нем. Комнаты были недавно отделаны в модном стиле рококо с легким налетом того, что именовалось тогда «китайской экзотикой». Портьеры — из генуэзской парчи, мебель — в изящном стиле восемнадцатого века с изгибами, повторявшими очертания женского тела, а фрески на стенах, выполненные талантливым художником, обучавшимся на Пьяцетте и эффектно использовавшим игру света и теней, изображали гибель Помпеи. Казанова явно не принадлежал к числу суровых эстетов, ибо еще большее удовольствие, чем все остальное, доставил ему альков с широкой и роскошной кроватью. Агент, человек, очевидно не отличавшийся строгой моралью и правдивостью, поклялся, что она была специально сделана для владелицы — некой синьоры графини, женщины необыкновенной красоты и беспутного нрава — и является точной копией той, что принадлежала его христианнейшему величеству французскому королю Людовику Благочестивому*.

Оставалось решить весьма существенные проблемы — создать погребок и найти повара. Отпустив агента с подарком, чтобы он чувствовал себя счастливым до конца дня, Казанова отправился в торговый дом одного своего знакомого, который торговал также и вином. Там он провел приятный час, поглощая грибы, тушеные с сыром, и пробуя разные вина в маленькой темной комнатенке, примыкавшей к большому погребу, где стояли чаны, бочки, бутылки и бутылки. Запасшись вином, пожалуй, в большем количестве, чем требовалось для интрижки такого рода, Казанова занялся главной проблемой — поисками повара. Не будучи человеком ученым, он достаточно внимательно читал классиков и знал, что Венера особенно благосклонна, когда ее поддерживают Церера** и Вакх.

Это занятие Казанова тоже превратил в удовольствие: когда к нему приходили повара, он немало забав-

* Людовик I Благочестивый (778—840) — франкский император, получивший свое прозвище за покровительство церкви.

** Церера — богиня полей, земледелия и хлебных злаков.

лялся, выслушивая их рассказы, профессиональную похвалу и видя явное отсутствие скрупулезности в отношении чужой собственности. Казанова не колеблясь остановил свой выбор на французе по имени Блез, который, во-первых, произвел на него впечатление своим высоким лбом, за которым наверняка (как решил Казанова) скрывался недюжинных размеров мозг, необходимый для хорошей кухни, и, во-вторых, рекомендациями, которые подтверждали, что Блез многие годы служил у бывшего английского посла, и в которых его последний chef de cuisine * восторженно отзывался о нем, как о un bec fin ** и un beau retourneur de jupes ***. Звучало это вполне убедительно и производило приятное впечатление, но окончательное решение Казанова принял после следующего диалога:

— Вы совсем не говорите по-итальянски? — не без удивления спросил Казанова (после того, как провел всю беседу по-французски).

— Нет, мсье.

— Сколько же вы здесь прожили?

— Восемнадцать лет.

— Что?! И за все это время даже не начали изучать язык?

— Ах, мсье,— ответил Блез с неподражаемой наивностью,— какой же смысл учить язык народа, у которого нет своей cuisine ****?

Дав Блезу пару цехинов и велел ему приготовить легкий ужин, Казанова вступил во владение своим казино, который он намеревался время от времени оживлять смехом Розауры и ее поцелуями. Конечно, Казанова отдавал себе отчет в том, что агент в этот самый момент докладывал одному из бесчисленных правительственных шпионов, кто снял казино; знал он и то, что о каждом посещении жены графа Лаурано будет доложено Триумвирату. Однако это мало его тревожило, так как он знал, что Триумвират не считал адюльтер опасным для государства, если только это не было связано с политикой, что, безусловно, никоим образом не относилось к Розауре, хотя, видимо, имело какое-то отношение к Анриетте...

* Шеф-повар (фр.).

** Человеке с тонким нюхом (фр.).

*** Великом мастаке задираТЬ юбки (фр.).

**** Кухни (фр.).

Анриетта... Казанова не хотел думать об Анриетте и, конечно, только еще больше думал о ней. Ах! Если бы на месте Розауры была Анриетта... Он вздохнул — да, Казанова именно вздохнул, и притом сентиментально, и, чтобы отвлечься от своих мыслей, подоткнул сутану (а он по какой-то причуде надел ее) и стал составлять нежный, но исполненный огня эротический сонет Розауре, и хотя часть огня, несомненно, предназначалась ей, большая часть нежности была... Казанова прервал сонет на полуслове, снял серебряное кольцо с лапис-лазурином и сокрытой под камнем миниатюрой и положил его в кармашек для часов.

Воздав таким образом должное отсутствующей любви, которая всегда терпит ущерб, он вернулся к прерванному занятию. Переписал сонет на надушенную бумагу с золотым обрезом и вложил в нежную записочку, в которой вместе с выражением своей преданности, более вечной, чем Вселенная, просил Розауру как можно скорее приехать в казино. Все это он вручил слуге Марко Дзордзе, дав точные указания, как тайно передать послание преданному Розауре Андзолето — и дожждаться ответа. После чего Казанова с чистой совестью взялся за чтение изящной поэмы господина де Вольтера «La Pucelle» *, намереваясь с ее помощью убить время, пока у Блеза будет готов ужин.

Но тут — неведомо для Казановы — его дотоле удачное «проникновение галопом» в сердце Розауры наткнулось на препятствие. Дзордзе передал его письмо, а Андзолето искусно переправил его Розауре, но ответ бесконечно долго не поступал, и Дзордзе без толку торчал у дворца Розауры, пока она читала и перечитывала сонет и записку и то вздыхала и плакала, то немного успокаивалась и желала, чтобы жизнь не была такой тяжелой для бедных женщин. Не позволила ли она молодому красавцу слишком быстро завладеть ее сердцем? А что, если кто-то о них узнает? Да и потом, она ведь может забременеть, а Джакомо может оказаться человеком неверным, так не рассказать ли ей все отцу Грегорио?

Казанова предупредал ее в записке, чтобы она никому не доверялась, и, повинувшись этому приказу, Розаура быстро спрятала тайное послание и сонет за

* «Девственница» (фр.). Имеется в виду поэма Вольтера «Орлеанская девственница» (1735).

вырез платья на глазах у Марты, многоопытной горничной, столь философски слушавшей серенаду.

Дело в том, что Марта уже служила у молодых замужних дам и — что в данном случае более существенно — сама некогда была молодой, да и теперь была еще не настолько старой, чтобы не понимать жизни. Серенада... спрятанная записка... несколько слезинок — все эти небезынтересные факты убедили Марту в необходимости выяснить, что происходит, кто он и как далеко зашло дело. Подвергшись умелому допросу Марты, Розаура сначала небрежно вообще все отрицала; затем заявила, что Марта — испорченная женщина, раз может предположить такое, и пусть немедленно убирается из комнаты; а потом разрыдалась, повисла у Марты на шее, сказала, что любит его, сказала, что хотела бы умереть, и наконец, покраснев, извлекла из-за выреза платья записку и сонет.

Марта вытерла ей слезы и поцеловала, тотчас выказав сочувствие, которое ее хозяин, граф Лаурано, считал паразитическим вероломством.

— Андзолето говорит, что его гондольер ждет ответа, — взволнованно произнесла Розаура; Марта молчала. — Наверное, не надо ему отвечать, да?

По-прежнему никакого отклика со стороны Марты.

— Ты считаешь, не надо?

— Если так считает Ваше Сиятельство.

— Дурочка! — Розаура, обрадовавшись возможности разрядить нервное напряжение, топнула на Марту. — Что ты-то считаешь?

— Я не вижу ничего дурного, если человек ведет себя естественно, — спокойно произнесла Марта.

— Естественно?! Но, Марта, разве это не смертный грех возжелать чужую жену?

— Если красивый мужчина, притом молодой и денежный, готов потратить свои деньги, потому что влюбился в самую хорошенькую, самую скромную и самую заброшенную даму в Венеции, — чего же тут неестественного?

Розаура вздохнула. Она могла бы дать на это несколько ответов, но ответы высокоморальные давать не хотела, а аморальные — не смела. Марта взглянула на нее из-под опущенных ресниц и продолжала молчать, хотя у нее будет что сказать, когда настанет момент. Казанова не зря потратил деньги, велел Дзордзе дать любимой служанке Розауры пять дукатов и кучу обещаний.

— Он, очевидно, не в состоянии с собою совладать, — заметила бедняжка Розаура, снова вздохнув и ведя не слишком решительную внутреннюю борьбу в защиту супружеской чести графа Лаурано.

— *Я-то* думаю, что и не очень хочет, — возразила Марта. — Человек чувствительный сразу распознает хорошую женщину.

— Говорят, он большой любитель дам и очень непостоянный.

— Те, кто так говорит, скорей всего хотели бы заполучить его, да не могут, — сказала Марта.

— Нет, не могу я писать ему, — со вздохом произнесла Розаура и тут же добавила: — А он был такой добрый и щедрый в «Ридотто».

Марта молчала.

— Пожалуй, все-таки напишу и скажу, чтобы он меня не ждал и забыл обо мне.

— М-м, — иронически изрекла Марта, — на вашем месте я бы и мечтать не стала о том, чтобы приятно провести время с красивым молодым мужчиной. Я бы лучше сидела здесь одна и никого бы не видела, кроме старого паренте*, который давным-давно забыл, что значит любить, — если вообще когда-либо знал.

Розаура помолчала, а потом по наивности выдала себя:

— В любом случае Лаурано все время крутится вокруг меня — представить себе не могу, какой бы можно придумать предлог, чтобы отлучиться достаточно надолго...

Тут Марта презрительно фыркнула.

— На будущей неделе Его Светлость отправится на материк взимать арендную плату, — сказала она.

— Я это знаю не хуже тебя, — возразила Розаура, — и знаю также, что он всегда берет меня с собой.

— О, Святой Марк, смилуйся над нами! — воскликнула Марта, теряя наконец терпение. — Да неужели только это вас останавливает? Вы до последней минуты молчите, а потом скажите, что заболели — то ли у вас месячные, то ли еще что — я слишком вы себя плохо чувствуете, чтобы ехать, а он, конечно же, пусть едет.

— Он в жизни меня не оставит — слишком он ревнивый и подозрительный.

* Родственника (*ит.*).

— Он куда ревнивее к своим деньгам. Скажите, что попросите вашу замужнюю сестру спать в это время у вас в комнате.

— Но мне же придется ей рассказать и попросить помочь мне и...

— Ба-а! Когда-нибудь и вы окажете ей такую же услугу. Теперь умойтесь-ка, а то все личико заплаканное, потом садитесь и пишите синьору ласковое письмо, а я отнесу его Андзолето.

Ибо Марте подумалось, что у красивого щедрого синьора вполне может быть красивый щедрый гондольер, так почему бы служанке не поразвлечься вместе с хозяйкой?

Записка Розауры попала к Казанове, когда он, мучимый голодом, дождался «простого, но отменного» небольшого ужина, обещанного Блезом. Отсрочка свидания вызвала раздражение у Казановы, и он уже почти готов был послать к черту эту бездушную кокетку Розауру. Но, как поведал миру Вольтер, хорошая пища и вино рождают оптимизм, а ужин Блеза оказался отличным, как и превосходное бургундское. Перечитав после ужина письмо Розауры, Казанова был поражен его прямоотой, его естественностью и скромностью. Да и придуманный ею план избежать бдительного ока графа звучал вполне выполнимо. Но все же целая неделя!..

Так или иначе, эта неделя прошла в обменах записками и взглядами исподтишка в церкви, но никаких серенад больше не пелось из боязни вызвать подозрение. Когда настал желанный день, Розаура отлично разыграла свою роль, блистательно поддержанная Мартой; слугу послали за Фламинией; граф же в своих поступках и словах был именно таким, как и ожидалось: сначала забеспокоился, что придется отложить поездку, и стал проклинать женщин, потом испугался — его стали утешать, и ублажать, и морочить, и наконец отправили в его владения на материке.

Неделя. Это большой срок для зарождающейся любовной авантюры. Много может произойти за неделю, и каприз может перерасти в отвращение или — что, пожалуй, еще хуже — в безразличие. Неудивительно, что неделя эта бесконечно долго тянулась для обоих, несмотря на обмен записками, и взглядами, и сонетами, и заверениями. Однако Казанова, хоть и заполнял этот период унылого ожидания, уделяя необычно много внимания старикам сенаторам и терпеливо отвечая на их

вопросы с помощью «Ключа Соломона», или беседуя с Марко, или скользя в одиночестве в гондоле по тихой лагуне, или обмениваясь шуточками с Блезом, или глядя на вечно меняющуюся венецианскую толпу, никак не мог отделаться от мысли, которую ему хотелось прогнать навеки. Как бы ему хотелось, чтобы на месте Розауры была Анриетта, была Анриетта!

В вечер свидания Казанова сидел у окна своего казино, глядя в сгущавшихся сумерках на проплывающие мимо гондолы, и, поджидая Розауру, продолжал вздыхать об Анриетте. Он куда меньше думал бы об Анриетте, если бы знал, что в этот самый час Розаура вдруг оробела и объявила, что никуда не поедет. Слуги узнают, что она отлучалась, кто-нибудь скажет об этом графу, ее до конца жизни запрут в монастырь, дорогой ее батюшка умрет от горя и так далее, и тому подобное — беды громоздились одна на другую, отчаянно множимые разыгравшимся воображением.

Словом, Розаура попала в тупик. Если она думала, что ее сестра или Марта или они обе начнут ее уговаривать или придумают какой-то новый план, — она ошибалась. Они просто переглядывались, поднимали брови и незаметно пожимали плечами. В конце концов не их это дело, не они собирались ужинать и ложиться в постель с молодым человеком, с которым не следовало бы ужинать и ложиться в постель, к тому же обе пошли на риск по доброте душевной, чтобы помочь страдающей сестре и женщине. Наконец Фламения изрекла:

— Ну, раз ты так считаешь, поправляйся к завтрашнему дню и отправляйся к своему супругу, я вернусь к своему, а что до молодого человека...

Фламения воздела руки к небу и опустила уголки рта, а Марта с глубокомысленным видом кивнула.

Итак, Розауре ничего не оставалось, как взять на себя всю ответственность, которую она надеялась переложить на них, и выполнить план, которому она собиралась следовать, с тех пор как выносила его бессонными ночами на супружеском ложе. В общем, план был неплохой, только слишком сложный. Она будет лучше устраиваться, когда дело дойдет до третьего или четвертого любовника, подумала Марта, выслушав этот план...

Объявили, что синьоре графине стало хуже, и спешно послали за доктором. А он, будучи человеком разумным,

охотно согласился с тем, что больной стало хуже, хотя даже его ограниченные познания говорили, что это плод воображения, и выписал рецепт, после чего получил хорошее вознаграждение и приглашение посетить больную в то же время на другой день. Затем слугам объявили, что синьора графиня должна спать и что ее ни под каким предлогом нельзя тревожить, а синьоры Фламиния и Марта отправятся к аптекарю за лекарством. После чего Марта разделась и легла в постель Розауры, а Розаура переделась в одежду Марты, и, заперев Марту в спальне, обе сестры вышли на темную улицу в масках и баутах...

Тем временем синьор Казанова, оправившись от своих безнадежных мечтаний об Анриетте, то нетерпеливо посматривал на часы, проклиная неточных и неверных женщин, то старался утихомирить громко причитавшего Блеза, опасавшегося, что его произведение искусства может пострадать...

Две маски, покинув замок Лаурано, как ни странно, вовсе не отправились к аптекарю, а вышли на темный, редко посещаемый рио, где их ждал в гондоле Дзордзе с долготерпением человека, уже привыкшего выполнять подобного рода поручения. Тут две дамы расстались — та, что была в одежде Марты, села в гондолу, а другая медленно направилась домой, шепча молитвы, которые уберегли бы ее от ночных страхов и молодых хулиганов, способных выскочить из-за угла, накинуться на одинокую женщину и, перевернув вниз головой, поглумиться над ее унижением.

Фламиния еще не успела вернуться в замок Лаурано, а гондола с псевдо-Мартой уже достигла места своего назначения; молодая особа в платье Марты поспешно взбежала по ступеням и, сняв маску, предстала, краснея, перед Казановой во всей красе графини Розауры, — довольный, но сгорающий от нетерпения Казанова мгновенно схватил ее в объятия, расцеловал и похвалил. Она была такая аппетитная, что он чуть не пообещал тотчас жениться на ней, как только она «сделает его счастливейшим из людей».

Эти дети более беззаботной эпохи не знали ни стеснения, ни самоугрызения, омрачающих подобные краденые радости. Правда, ни один из них не считал, что они поступают целомудренно, и не утверждал, что Господь одобряет союз, который не одобряют люди, но они и не терзались проблемами морали...

Не было у них времени раздумывать о не свойственном им пуританстве или наслаждаться его противоположностью. Блез со всей решимостью великого мастера, который не допустит, чтобы его шедевры пострадали от желаний жертв нагулять больший аппетит, настоял на том, чтобы немедленно подать им ужин. Начать он предложил с супа, именованного в меню «*Velouté à la Reine d'Amour*»*... Каждому блюду, как обнаружил Казанова, взглянув на карточку, было дано соответствующее новое название, хотя само блюдо могло и не быть столь уж оригинальным, как это изображал Блез. И хотя его кухня была безусловно оценена, еще больший успех имели придуманные им названия блюд. Розаура не знала ни слова по-французски, так что Казанове пришлось по очереди объяснять каждое название с соответствующими иллюстрациями...

К тому времени, когда Казанова объяснил Розауре все названия: суп «Бархатистый — для Королевы любви», «Устрицы Венеры из Адриатики», «Перепелки Ночей любви» и «Баранье седло Клеопатры» и они отведали всех этих блюд и выпили соответствующего вина, глаза Розауры заблестели, щеки покраснелись, а корсаж принял несколько измятый вид.

«Пора подавать шампанское», — подумал Казанова.

Тут поэтически-гастрономический талант Блеза достиг новых высот артистизма. Ледяное шампанское сопровождалось округлыми холмами замороженного крема с дикой малинкой наверху каждого, и называлось это: «Груды прекраснейшей из венецианок». При этом подавались конфеты, размером и цветом напоминавшие золотые монеты и именовавшиеся «Золотой дождь для чресел Данаи», а в корзиночке лежали маленькие, прикрытые кружевной салфеточкой пирожные под названием «Истинные водоемы любви».

Казанова воспользовался намеком, а Розаура не оказала сопротивления.

7

Марко и Джакомо сидели у одного из окон апартаментов Казановы и смотрели на Большой канал. Оба молчали: Казанова устремил невидящий взор на тронутую

* «Бархатистый — для Королевы любви» (фр.).

рябью нефритовую воду, а Марко с любопытством и, пожалуй, не без зависти разглядывал лицо своего друга. Как это Джакомо — с помощью какого скрытого обаяния, а возможно, и просто грубой силы — удается мгновенно приворожить к себе женщин, размышлял Марко.

Правда, женщин, пожалуй, легко соблазнить, но у них же уйма причин оказать сопротивление! Однако только не Джакомо. Женщины готовы были рисковать не только своей репутацией и положением в свете, но и возможностью пожизненного заключения в монастыре, лишь бы провести несколько ночей с ним...

А Казанова думал: неделя — как долго тянется неделя, когда ждешь хорошенькую женщину, и как быстро она пролетает, когда эта женщина покоится в твоих объятиях.

Вид у него был такой печальный, что Марко не удержался и задал не вполне благовоспитанный вопрос:

— Ты что, разочаровался в своей Розауре, Джакомо?

Вопрос этот вырвал Казанову из его мечтаний, и он с удивлением посмотрел на друга.

— О чем ты говоришь? Разочаровался? Она была прелестна! Какие губы и волосы, какие груди и плечи, какой темперамент! Да это женщина, о каких мы читаем у древних, — это Делия, Лесбия*...

— Тогда почему же ты такой мрачный?

— Терзаюсь сожалением, быть может, легким раскаянием. Она провела последнюю ночь со мной то в экстазе, то в горьких слезах.

— Не понимаю, почему тебя так волнуют женские слезы?

Казанова с удивлением посмотрел на друга.

— Я же хочу, чтобы женщины были счастливы, — просто сказал он.

— Ну, в таком случае не тем путем ты к этому идешь, — заметил Марко, возможно, надеясь таким образом предупредить друга. — Ты отверждаешь, что влюбился в Розауру — и она безусловно влюблена в тебя, — однако, по твоим же собственным словам, ты сделал ее несчастной.

— Пф! — Казанова не без презрения посмотрел на человека, к которому не тянет женщин. — Ничего ты не понимаешь. Она же пережила незабываемые минуты в своей жизни. Даже когда она обратится к вере и будет

* Делия и Лесбия — нимфы; Лесбией звали также возлюбленную древнеримского поэта Катуллы.

считать, что я отправлюсь в ад, она не сможет не вспоминать те мгновения экстаза, причем с бесконечным сожалением о том, что они прошли. Она плакала не потому, что разочаровалась, а потому, что хотела невозможного. Она хотела приручить богов, надеть на Венеру корсет и туфли на высоком каблуке. Хотела, чтобы недельный медовый месяц растянулся на всю жизнь. Хотела всегда жить в казино, есть французские блюда и спать со мной. Она сказала, что я человек порочный, и отчаянно разрыдалась, когда я сказал, что собираюсь стать епископом. Ей хотелось жить в казино и в то же время сбежать в какую-нибудь протестантскую страну — эту ужасную Англию или туманную Голландию — и выйти за меня замуж! А потом она так плакала, что мне надоело.

— Я ее не виню, — сказал Марко. — Это было жестоко с твоей стороны — сказать, что ты станешь епископом после того, что ты с ней проделывал. Почему бы тебе не уехать за границу и не жениться на ней?

— Что?! — Казанова был явно возмущен. — Бросить все ради пары нежных губок и упругого тела? Что?! Чтобы жена венецианского аристократа сбежала с молодым человеком без гроша в кармане, к тому же в сане дьякона? Ты что, с ума сошел?

— Без гроша в кармане? — подхватил Марко. — Да ты же всего три недели назад взял банк.

— Любовная интрижка, обставленная должным образом, чертовски дорого стоит. К тому же этот малый, Блез, возможно, и гений горшков и сковородок, но жулик в своих отчетах. Однако я ни о чем не жалею. Розаура стоила всех этих затрат, и даже больших. И все же...

Он умолк и снова посмотрел в окно.

— Что — все же? — напомнил ему Марко.

— Я думаю, мне лучше на время уехать в Рим.

— В самом деле? — Марко был этим обстоятельством в известной мере доволен, тем не менее добавил: — Мне будет недоставать тебя. А как же с Розаурой?

— Она хотела слишком многого, — сказал Казанова. — Даже после того как признала, что бежать бессмысленно. Дай-ка припомнить. Какая была составлена программа? Ах, да! Я должен посылать ей каждый день сонет и письмо, и каждый вечер петь серенаду, и никуда не выходить из казино. А Дзордзе день и ночь должен сидеть в гондоле и привозить ее ко мне, как только она сможет сбежать из дома. Ах, нет! Единственный для меня выход — это Рим. Триумвирату, конечно, известно

о нашем романе, а Розаура рано или поздно устроит такой скандал, что они вынуждены будут действовать, и дело кончится для нее монастырем, а для меня — тюрьмой Пьомби...

Казанова был прав: шпионы действительно донесли Триумвирату, что синьора графиня Лаурано семь ночей подряд спала с Казановой в снятом им казино; они даже умудрились сообщить меню Блеза и сколько все эти блюда, по всей вероятности, стоили, — настолько тщательно благие правители надзирали за своими детьми. Триумвират удовольствовался тем, что переслал донесение своих шпионов кардиналу-архиепископу, чтобы он принял или не принял меры — как сочтет нужным.

И так уж получилось, что, когда Марко и Казанова сидели на верхнем этаже и обсуждали Розауру, сенатор Брагадин сидел в это время внизу и слушал посланца архиепископа, рассказывавшего ему про Розауру и Джакомо. Посланцем этим был монсиньор Ломбардини, мужчина необъятных размеров, с умными черными глазами, синими от вина и бритья щеками и носом картошкой, пользовавшийся, однако, всеобщей любовью за чрезвычайную приятность манер и приверженность латыни. Злые языки утверждали, что монсиньор Ломбардини годами не читал Библии на латинском языке, боясь испортить непорочность своего изложения.

— Его Высокопреосвященство не стал бы снова беспокоить Ваше Превосходительство из-за такого пустяка, — сказал монсиньор, — если бы Ваше Превосходительство не распространяло своей высокой протекции на этого любезного, но бесстыжего молодого человека...

— Я чрезвычайно обязан Его Высокопреосвященству, — сухо перебил его Брагадин, — могу я узнать его пожелания?

— Этот молодой человек не без талантов, — избегая прямого ответа, сказал Ломбардини, — хотя должен с сожалением сказать... — и тут ученый муж содрогнулся, — я слышал, как он неверно цитировал Вергилия. Ах, мессир Брагадин, мы живем с вами в век бесстыдства. Какой предмет для вечных сожалений, что мы не живем в Золотой век! Когда Святой отец давал ученым звание кардинала за чистоту латыни! Садолетус и наш с вами соотечественник Бембус — Пьетро Бембо, патриций, как и вы, Ваше Превосходительство, и человек, который...

— Но, монсиньор,— воскликнул в нетерпении Брагадин,— в чем же все-таки суть послания Его Высокопреосвященства?

— Суть, Ваше Превосходительство, суть?..— Старика ученого столь внезапно и мало любезно сняли с его любимого конька и вернули на землю, что он заикался, тараща глаза.— На чем же я остановился? Что...

— Вы намеревались что-то сказать насчет...

— Ах, да,— впервые в жизни перебил собеседника монсиньор Ломбардини, так он был раздосадован отсутствием у сенатора интереса к Садолетусу и Бембусу.— Ах, да. Его Высокопреосвященство считает, что у молодого человека нет призвания.

— У Казановы?

— Именно это имя Его Высокопреосвященство просил меня назвать в беседе с Вашим Превосходительством.

— А почему Его Высокопреосвященство считает, что у молодого человека нет призвания к служению церкви?

Сей любезный священнослужитель при всем желании не мог бы покраснеть или показаться покрасневшим, ибо слишком румяным было его лицо — разве ведь не сказано: «Тот, кто любит муз, любит и вино?» Но кровь, несомненно, прилила к его лицу, когда он, окинув встревоженным взглядом комнату, поджал губы, закрыл один глаз и, приложив палец к носу, испуганно прошептал:

— Триумвират, Ваше Превосходительство!

— При чем тут Триумвират? — спросил Брагадин, хотя у него слегка и заняло под ложечкой, что случается с большинством венецианцев при упоминании о государственных инквизиторах.

— На этот раз они сообщают, что речь идет о супруге аристократа, Ваше Превосходительство,— прошептал толстый латинист.

— А почему они должны винить в этом молодого человека? Разве он виноват, что она распутница? Пусть граф наденет на жену «пояс верности» с замком.

— Вы совершенно правы, Ваше Превосходительство, совершенно правы. «*Varium et mutabile semper...*» * Но Триумвират...

* (Женщина) всегда изменчива и непостоянна (лат.). Цитата из «Энеиды» Вергилия.

— Чума на этот... Нет, я совсем не то хотел сказать,— поспешно воскликнул Брагадин.— Но позвольте спросить, с каких это пор Триумвират вздумал мстить за рогоносцев?

— Не в том дело, Ваше Превосходительство. Каждому молодому человеку естественно влюбляться, а *Nymphagum fugientum amator* *, но Его Святейшество — то есть, я хочу сказать, Его Высокопреосвященство — не любит скандалов.

— Послушайте,— раздраженно заметил Брагадин,— кто же устраивает скандалы, если не вы, почтенные церковники? Молодая женщина разве станет болтать об этом? Или Джакомо?

— Согласен, Ваше Превосходительство, согласен. Но чтобы иметь деньги — ах, *auri sacra fames!* **, — молодой человек играет. Представьте себе, что он сядет за игорный стол в одеянии священнослужителя и...

— А вы предпочли бы, чтобы он сел голый? — раздраженно заметил Брагадин.

— Прошу Ваше Превосходительство выслушать меня до конца — *favete linguis* *** — Его Святейшество — то есть, я хочу сказать, Его Высокопреосвященство — просит вас подумать о том, какой произойдет скандал, если молодого человека в столь почтенном платье поймают на жульничестве, а у Его Высокопреосвященства есть все основания подозревать, что он...

— Это жалкая клевета... — возмущенно начал Брагадин, но монашьяр Ломбардини во второй раз прервал его:

— Прошу прощения, Ваше Превосходительство, но Его Высокопреосвященство поручил мне сообщить вам, что молодой человек должен либо немедленно покинуть Венецию и не возвращаться, пока не исправится и не будет рукоположен другим прелатом, либо должен навсегда покинуть лоно церкви.

При всем своем уродстве Ломбардини умел говорить с достоинством, если не сказать напыщенно, выступая с поручением от своего духовного начальства. Брагадин мгновенно это признал. И сказал лишь: — Это решение окончательное?

— Окончательное. А теперь... — церковный сановник с большим трудом извлек свою ученую массу из кресла, —

* Молодая женщина должна бежать от влюбленного (*лат.*).

** Проклятая жажда золота (*лат.*).

*** «Благоприятствуйте языками», т. е. храните благоговейное молчание.

теперь я откланяюсь, Ваше Превосходительство, принося извинения за то, что злоупотребил вашим временем по поводу столь незначительного, столь пустякового дела. Ах, сенатор, разве не мелочи жизни подводят нас к могиле? *Pulvis et umbra sumus* *. Да исполнится воля Господня!

После того как монсиньор Ломбардини откланялся и покинул дворец — а сенатор Брагадин прошел с ним ровно столько шагов и отвесил ровно столько поклонов и изощренных комплиментов, сколько положено по этикету, когда провожают монсиньора, явившегося с официальным посланием от кардинала-архиепископа, — сенатор вернулся к своему креслу, зажал морщинистые губы между большим и указательным пальцами левой руки и, получив такое подкрепление, погрузился в раздумья.

Что же делать?

Как парировать удар, готовый обрушиться на голову Джакомо? Он-то охотно велел бы «мальчику» сбросить сутану и швырнуть ее в лицо мачехе-церкви, усыновил бы его и завещал бы ему все владения Брагадинов. Но — увы! — законы Венеции запрещали это. А коль скоро «мальчику» — тут старик вздохнул и сильнее сдавил зажатые губы — придется на время покинуть Венецию, пусть лучше бегаёт со шпагой за девчонками и слывет с соизволения Светлейшей республики Венеции завязтым головорезом, чем является служителем этого воронья, этих ненавистников ложа Венеры! Бесспорно, так будет лучше, только вот какая польза солдату от ума и наук, тогда как епископ, не более одаренный природой, чем Казанова (но более ловкий в сокрытии своих талантов), ест на серебре и спит под пуховым одеялом?..

Так и не найдя ответа на вопрос или вернее вопросы, поставленные монсиньором Ломбардини, старик заковылял к двум своим друзьям. Они были не менее озадачены, чем он. Да ведь всего две недели тому назад «Ключ Соломона» решительно отказывался разрешить Джакомо покинуть Венецию — столь решительно, что старцы, беседуя между собой, пришли к выводу: Казанову, несомненно, ждёт какая-то великая честь или богатство.

— Эти вещи выше нашего человеческого разума, — торжественно заявил сенатор Брагадин. — Надо верить и полагаться на общеизвестную мудрость великой иерархии Духов...

* Мы только прах и тень (лат.). Цитата из «Од» Горация.

В тот момент, когда он произносил это, в покои вошел Казанова — старцы не видели его целую неделю. Они обменялись победными взглядами, ибо истолковали его внезапное появление как ответ на свою веру в Духов. Все, все будет хорошо. Однако после обмена первыми дружескими приветствиями беседа не завязалась — такое было впечатление, что каждую из сторон одолевали тайные мысли. Да так, несомненно, и было, ибо одна сторона ничего не сказала про монсиньора Ломбардини и полученное через него послание, а Казанова ничем не намекнул на то, что они обсуждали с Марко. Естественно, Казанова прибег к помощи «Ключа Соломона» и, зная, что расстанется со стариками, постарался в угоду им дать такие ответы и указания свыше, какие, он знал, им больше всего хотелось бы услышать...

— А теперь, — промямлил Брагадин, — нам следует, я думаю, спросить божественный «Ключ» про Джакомо. Должен ли он оставаться в лоне церкви? Должен ли оставаться в Венеции?

Казанова, который только и думал о том, как об этом заговорить, обрадовался. Однако сделал вид, будто противится их воле:

— Но мы же спрашивали об этом всего две недели назад, и ответ был категорический...

Конечно, он дал себя уговорить, и то, как он без улыбки или малейшей дрожи в лице наблюдал за стариками, которые с самым серьезным и уважительным видом следили за его манипуляциями, говорило о том, насколько умел владеть собой Казанова, пока производил свои трюки и наконец получил — на сей раз вполне ясный — ответ оракула:

«Дж. следует остаться в лоне церкви, но немедленно уехать в Рим».

Однако, ничего не зная о визите Ломбардини, Казанова был несколько озадачен и даже чуточку раздосадован тем, с каким восторгом было встречено изречение оракула. Одно дело, когда ты покидаешь Венецию из-за чересчур распалившейся любовницы, и совсем другое, когда твои друзья радуются этому.

— Но как же я поеду в Рим? И почему я должен туда ехать?! Я живу здесь, все мои друзья, все, кто мне дорог, находятся в Венеции. И потом — как же я поеду без денег? Мне что же, идти туда пешком, как средневековому пилигриму?

И тут вдруг разыгралась одна из «чувствительных сцен», характерных для восемнадцатого века и настолько претящих нашей привычке выражать свои чувства, что когда старики, обливаясь слезами, которые так и текли по их румяным щекам, принялись обнимать Казанову, а он обнимал их — с нашей точки зрения, это выглядело нелепо и притворно. Но, право же, тут не было ничего нелепого или притворного — просто старики выражали так свое огорчение предстоящим расставанием. Что же до денег, то сенатор Брагадин предложил своему юному другу две сотни дукатов, чтобы он мог добраться до Рима, и немного карманных денег, чтобы продержаться там...

Упоминание о деньгах, что всегда вызывает интерес, мгновенно осушило слезы старцев, и они погрузились в шумную и оживленную дискуссию о том, как Казанове следует ехать в Рим и под чьим покровительством там жить. Их разговор прервало появление слуги, который принес Казанове письмо, врученное «гондольером, который ждет ответа». Наступило молчание; Казанова же, взглянув на надпись на конверте, увидел ставший уже до тошноты знакомым почерк. Он в смущении поднял взгляд и обнаружил, что старики тоже уставились на письмо, — Брагадин знал, от кого оно, а двое других догадывались, что оно, очевидно, от женщины. Все трое быстро отвели глаза и принялись оживленно, но весьма искусственно что-то обсуждать, а Казанова отошел с письмом к окну. Он прочел:

«Джакомо мой. Джакомо почему ты предал меня Андзолето говорит ты уже нарушил все свои обещания и покинул храм нашей любви. Ох Джакомо никогда не думала что ты так поступишь ведь ты обещал ждать меня днем и ночью и Андзолето говорит ты отослал Блеза этого честного французи который тоже так тебя любил. Как ты можешь быть таким изменщиком неужели ты забыл наши слезы и поцелуи и все наши восторги. Ох Джакомо вернись разве я не отдала тебе то что для женщины дороже жизни, — мою честь и что теперь со мной будет если кто обнаружит...»

На этом Казанова, сгорая от волнения и нетерпеливого желания скорее покончить со всем, прервал чтение.

— Скажи гондольеру, что ответа не будет, — сказал он, вытирая лоб. — Скажи, что я уехал из Венеции...

И он сунул последнюю мольбу Розауры о любви в карман панталон.

8

Трое мудрецов из замка Брагадина решили, что коль скоро Казанова, будучи молодым левитом * и шалопаем, растратил все свои деньги, то пусть едет в Рим самым дешевым способом — на «водяном дилижансе» в Чоггиа и Падую, а оттуда в обычной почтовой карете в Рим. Казанова предпочел бы путешествовать с помпой — доехать в гондоле с гербом Брагадина и двумя гондольерами в ливреях до материка, а оттуда до Рима — в отдельной почтовой карете. Но поскольку Брагадин не собирался платить за эту скромную роскошь, Казанова в приступе экономии решил и сам не платить. Розаура обошлась ему в немалую сумму — тут и *казино*, и Блез, и Дзордзе, и чаевые Андзолето и Марте, и французские вина, и французские ужины, и музыканты, и подарки... Тем не менее он вовсе не был без гроша в кармане, как дал понять Марко и остальным, ибо у него было около девяноста венецианских цехинов наличными и аккредитивы на три тысячи дукатов.

«Водяной дилижанс» (собственно, это была старая баржа с сиденьями) покидал Венецию задолго до рассвета. Утомительные и неудобные средства передвижения Старого света и отправлялись в равно неудобные часы.

Над источающими сырость каналами стоял холодный туман, и Казанову, хоть он и был закутан в дорожный плащ из толстого сукна, пробрала дрожь, когда переполненная баржа двинулась в свой неспешный путь. Забрехала заря, мир расцветился первыми красками, и пассажиры зашевелились — это были в основном мелкие торговцы и крестьяне, приезжавшие по делам в Венецию. Как часто бывает, предрассветный час был самым холодным из всей ночи. Казанова плотнее закутался в плащ и из человека общительного превратился в мрачного субъекта, не любящего общества своих собратьев. Хотя его толкнуло в этот путь

* Левиты — сословие служителей в храмах у древних евреев.

упорное желание Розауры разжечь угасающий огонь любви, Казанова жалел, что покидает Венецию. День разгорался, и Казанова принялся озиаться, пытаясь при бледном свете различить лица своих случайных спутников... По воде пронесся окрик, и из тумана вынырнул на быстрой сандоло * Дзордзе с пакетом.

Джакомо дал преданному слуге дукат и вскрыл печать на пакете. Он был так огорчен отъездом из Венеции, что, хоть и догадывался о содержимом пакета, не мог сдержать нелепой надежды — а вдруг это помилование, посланный в последнюю минуту призыв вернуться в город карнавала и смеха. Но это оказалось, конечно же, письмо — последняя, или, пожалуй, еще не совсем последняя, мольба Розауры. Не дочитав письмо до конца, Казанова продолжал сидеть с мрачным видом, закутавшись в свой толстый плащ, пока его не вывел из раздумья возрастающий гомон вокруг.

Солнце взошло над спокойной гладью лагуны, небо, и воды, и далекие земли заиграли своими вечно меняющимися красками, и пассажиры, сбросив с себя оцепенение, оживились и сухим белым вином, полентой **, колбасой с чесноком на толстых кусках хлеба и прочими деликатесами стали отмечать наступление нового дня. Вид всеобщего веселья и поглощаемой со вкусом еды разжег у Казановы аппетит, и он обследовал содержимое корзины, которую при прощании вручили ему друзья. Он обнаружил в ней деликатесы, которыми можно было бы накормить троих мужчин: заливных перепелок, цыплят, ветчину, большой кусок масла в глиняном горшочке, свежий хлеб, фрукты, маленькие пирожные и несколько бутылок вина.

Среди положительных качеств Казановы было то, что он не терял аппетита даже в самых скверных переделках, ибо основа оптимизма — здоровое пищеварение, регулярно и приятно работающее. Казанова ел, наслаждаясь этим очень ранним, но плотным завтраком, и вдруг заметил двух пассажиров, которые молча скромно сидели недалеко от него. Одна из них была розовощекая, миловидная женщина из народа, лет сорока с небольшим; вторая, совсем молоденькая девушка, сидела, сбросив капюшон грубошерстного плаща, так как утренний

* Сандоло — лодка, лодчонка (*ит.*).

** Полента — кукурузная каша (*ит.*).

воздух все теплел. При виде ее лица Казанова перестал равномерно двигать челюстями.

Ей было около семнадцати — точеное, как на камее эпохи Возрождения, лицо, шелковистые черные волосы, аккуратно заплетенные в косы, стройное тело с пышными формами... Розаура? Церковь? Карьера? Советы друзей? Память об Анриетте, упорно хранимая в нежном молчании? Казанова не был моряком, но есть старая венецианская народная песня про моряка, которая очень ему подходила:

*L'amour del mariner no dura un'ora,
La dove che lu el va, lu s'inamora.*

«Любовь моряка не длится и часа —
куда ни поедет, там встречает любовь»...

Казанова мгновенно подметил, что у женщин, видимо, не было с собой еды, и, как принято в Италии, любезно предложил им содержимое своей корзинки, на что получил столь же любезный и обычный отказ. Но Казанова успел заметить, как алчно загорелись глаза тетки, и догадался, что девушка, как и положено всем молодым существам, голодна. А потому он стал настаивать, и они, уступая в большей мере его добродушному остроумию, чем велению собственного желудка, согласились. Пища развеселила их, вино согрело изнутри и придало блеск глазам, завязавшаяся беседа вызвала смех.

Девушку звали Мариетта, как ту неаполитанку, с которой у Казановы был раньше роман.

— Мариетта! — пылко воскликнул Казанова. — Никогда прежде не знал ни одной Мариетты! Однако, когда я родился, знаменитый астролог предсказал, что моя судьба будет связана с Мариеттой!

Хотя это заявление и не было правдой, ему следовало бы правдой быть. Во всяком случае, лицо девушки залил румянец, а тетка громко расхохоталась — она не прочь была пить такое вино каждый день.

— Но разве вы не священник? — спросила она. — Одеты-то вы как священник.

Казанова тут же пустился в сложные и не вполне связанные объяснения: да, он священник и в то же время не священник, если они могут такое понять, в общем, он всего лишь дьякон, так как его матушка, святая женщина, дала ему образование, чтобы он мог стать епископом, он же хочет проложить себе путь в жизни честным

трудом и, пока еще не связан роковой тонзурой, может жениться, если найдет подходящую девушку...

Они слушали, кивая, а при последних его словах девушка снова залилась румянцем, тетка же сказала, что очень даже хорошо быть священником, но все священники — все-таки мужчины, как она знает по собственному опыту. Нога Казанова каким-то образом очутилась рядом с ногою девушки и застыла там. Тетка же разговорилась.

— В Венецию мы ездили за наследством для Мариетты, — стала похвалиться она с таким видом, будто все в мире должны об этом знать и всем это должно быть так же интересно, как ей. — Вы только подумайте: такой девчонке в будущий Михайлов день должны выплатить двести золотых дукатов! Она, конечно, девушка хорошая и красивая, хоть я и говорю про собственную племянницу. Сирота она, синьор, но получит она наследство или не получит, а ни в чем не будет нуждаться, да благословит ее Господь, пока жива ее тетя Тина. Да, синьор, наследство ей оставил дядя Пино — да покоится с миром его душа! — он торговал сальными свечами тридцать восемь лет в Дзукке. У нее есть еще один дядя — тот пошел по той же линии, что и вы. Доном Антонио зовут его — он самый любимый священник в Чоггиа...

— В Чоггиа? — прервал ее Казанова. — Я там остановлюсь на два-три дня, а может, и больше. Вы там живете?

— Ах, нет, синьор, мы живем в Падуе, но Мариетта пробудет там день-другой, чтобы получить благословение дядюшки...

— Тогда мы можем не расставаться, — весело объявил Казанова, — ибо у меня тоже там дела, очень важные дела в Чоггиа. Давайте выпьем за это! За Мариетту и ее будущего супруга!

Это была настоящая идиллия.

К концу первого дня пребывания в Чоггиа Казанове удалось поселить эту пару в той же гостинице, где жил и он сам, отговорив их останавливаться у дона Антонио; он всячески обхаживал тетю Тину, ублажая ее мелкими знаками внимания и более или менее правдоподобными комплиментами, какие дамы ее возраста могут принять; он произвел впечатление на дона Антонио своим знани-

ем классиков и желанием быть наставленным в теологии более зрелым умом, а также своим знакомством с сенаторами, монсиньорами и даже Его Высокопреосвященством; главное же — он добился в результате своей дипломатии искомой награды: разрешения купить девушке несколько маленьких подарков и даже сумел потихоньку поцеловать ее... В ту ночь, засыпая, Казанова твердо решил жениться на девушке (если она девственница) и уже начал строить планы, как они будут жить простой сельской жизнью, так хорошо описанной Феокритом* и Вергилием, этими прославленными пастухами, жившими главным образом при дворе.

На другое утро Казанова спозаранок снова поцеловал девушку и, как ему показалось, сумел получить достаточное доказательство того, что она тот *gata avis — virgo intacta* **. Тянуть kota за хвост никогда не было свойственно Казанове, особенно если речь шла о хорошенькой девушке, а потому он незамедлительно сделал Мариетте предложение. С совсем ненужным здесь смирением и прямотой Мариетта сказала, что для нее большая честь выйти замуж за такого красивого мужчину и такого высокородного синьора и что она молит Великого Господа и всех святых, чтобы оказаться достойной его. Тронутый, насколько он мог, таким прямодушием, мерзавец сделал благородный жест, признавшись, что он — не патриций, и после цветистого рассказа о том, как его лишили земель, которых у него никогда не было, сказал, что, поженившись, они будут жить чистой и невинной жизнью в Аркадии.

Мариетта, которая большую часть жизни провела в деревне, никогда не слышала об Аркадии и понятия не имела, что это такое или где это находится, но готова была жить где угодно с таким мужем, как этот красивый, щедрый, изумительный синьор, который говорил ей такие чудесные вещи, и у которого такой надутый кружевной платок, и который так чудесно и почтительно целовал ее, пока она вся не загоралась, — не то что эти неотесанные деревенские парни, у которых насчет женщин одна только мысль в голове...

К полудню Казанова объявил о намерении покинуть лоно церкви, хотя не сказал, что намерен после этого

* *Феокрит* (кон. IV — нач. III в. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор идиллий, положивших начало европейской буколической поэзии.

** Редкая птица — нетронутая девственница (*лат.*).

делать, и, сменив священнические одеяния на светский костюм, получил от Мариетты разрешение считать себя обрученным с нею. Тине же было как-то не по себе: все произошло так неожиданно... а быть может, кто знает?.. она немножко и завидовала. А вот дон Антонио решительно отказался дать свое согласие — к великому возмущению Мариетты,— пока Казанова не расскажет все о себе и о своих планах.

Под градом вопросов старого священника, который, хоть и не жил в миру, но был не дурак, Казанова придумал столько всяких объяснений — одно изобретательнее другого,— что даже сам с трудом помнил, кто же он такой. Среди прочих выдумок он изобрел дядюшку, нотариуса в Брешии, который обещал своему любимому племяннику Джакомо поместье недалеко от этого городка, куда Казанова и намеревался привезти будущую супругу, чтобы наслаждаться с ней там пасторальным счастьем... И так далее, и тому подобное. Однако во всем этом нагромождении лжи Казанова в одном был абсолютно искренен — и, как ни странно, именно этому меньше всего поверили бы люди, хорошо знавшие его: он был сейчас настолько увлечен девушкой, что готов был жениться, лишь бы получить возможность обладать ею, что навсегда излечило бы его от желания жениться на ней.

Вполне обоснованные подозрения доброго священника рухнули при появлении пакета с письмами из Венеции от друзей Казановы — пожеланиями счастливого пути, добра, успеха и благополучия в его путешествии. Как мог дон Антонио заподозрить человека, у которого в друзьях такие почтенные венецианцы, как Брагадин, Дзиани, Барбаро и Вальери?

Днем нашей парочке удалось сбежать от бдительного ока кранителей целомудрия Мариетты, и они отправились по магазину. Казанова закупил Мариетте платьев и украшений, какие только мог предоставить такой маленький городок, как Чоггиа, одел ее, как синьору, и затем повел в винный погреб, где позволил себе немало восхитительных вольностей, на какие отваживается — хоть и без позволения — нетерпеливый молодой человек, обрученный со своей любимой. Джакомо и Мариетта условились об именах для своих первых трех сыновей и дочерей; Казанова настолько увлекся, что поклялся (и чуть ли не сам поверил этому): он-де по сути непорочен и уж, конечно, никогда никого не любил так, как Мариетту. В ту ночь,

когда все спали, Мариетта с тысячами трепыханий и сердцем, переполненным любовью, выскользнула из спальни тетушки и прошла по коридору в другую спальню, где ее ждал Джакомо и где она перестала быть девственницей.

Поэт, сказавший: «Того, кто однажды был счастлив, вовек не коснется беда», был скорее смел, чем правдив в своем утверждении. Казанова был безусловно счастлив на протяжении этих бездумных часов, проведенных с хорошенькой, неискушенной в жизни Мариеттой, но никоим образом не застрахован от беды, что он и обнаружил. Однако прежде чем это обнаружить, Казанова познал — не впервые в ходе любовной интрижки — печальную истину, что из фонтана наслаждения всегда возникает горечь. Не успел он одержать победу над Мариеттой, как его критический ум начал подсказывать ему, сколь она наивна и необразованна, сколь не обучена манерам, какая даже внешне плебейка. Он невольно сопоставлял ее — не с Розаурой, а с Анриеттой, чья благородная красота преследовала его, тем более что он успел лишь мельком ее увидеть. Казанова не без смущения и удивления обнаружил, насколько владеет его чувствами и поступками женщина, реально существующая, чье имя он знает, чье бесчувственное тело даже держал на руках, но так и оставшаяся для него призраком идеальной красоты, именем, обозначающим стремление, не имеющее имени, к недостижимому блаженству.

Таким размышлениям предавался Казанова, еще лежа без сна в постели после того, как Розаура покинула его на исходе шестой ночи их любви. В приступе откровенности с самим собой, что случается даже с самыми большими тупицами, а уж тем более с человеком такого ума, как Казанова, он признал, что, с тех пор как увидел Анриетту, все его мысли и поступки подсознательно связаны с ней. Сначала он отчаянно — а насколько отчаянно, знал только он один — пытался найти ее, протянуть между ними ниточку, которая дала бы ему реальную надежду. Затем, оскорбленный в своем тщеславии, поскольку она сумела воспротивиться ему, исчезла из его жизни, оставив лишь записку и кольцо, он в пику ей затеял роман с Розаурой. Но теперь он понял — и как ясно! — что, даже держа в объятиях Розауру, мечтал об Анриетте.

И это Анриетта удерживала его в священнослужителях, хотя никто лучше самого Казановы не знал, насколько он не годится для служения церкви. Ведь стань он

солдатом, его вполне могли бы послать в один из венецианских гарнизонов за границей, а имея сан священника, он мог изобрести десяток причин, чтобы оставаться в Италии. Собственно, и в Рим-то он согласился ехать лишь потому, что каким-то сверхъестественным образом верил — именно там суждено ему найти Анриетту. Ну а Мариетта, почему возникла Мариетта? Откуда эта нелепая идея пасторального счастья с крестьянской девушкой? Казанова зевнул и попытался об этом забыть. Но забыть не мог. Разве Мариетта — не очередная глупость в пику Анриетте? «Вот видите, как мало я о вас думаю, Анриетта, если могу быть идеально счастливым — ну, просто идеально счастлив — с маленькой крестьяночкой...»

Мысль эта так разбередила Казанову, что он выкатился из постели, умылся, оделся и отправился завтракать в маленькую гостиную, которую снял для удобства, а также чтобы иметь возможность встречаться с Мариеттой наедине днем. Завтрак настроил его на оптимистический лад и примирил с самим собой, как всегда бывает у людей с хорошим пищеварением. Казанова зевнул, потянулся — бурные ночи как-никак урезают сон — и подошел к окну, напевая про себя все ту же песенку про «Народ, что смеется вечно». Из окна открывался вид на канал, прорытый через центр Чоггии, с широкими живописными набережными по обеим сторонам, где бурлила жизнь оживленной водной артерии, кишасей рыбацкими лодками и маленькими суденышками. За всем этим вздымались не менее живописные, красивые дома, склады и магазины, которых еще не коснулись мерзость и запустение, царящие ныне в Чоггии.

Казанова ничего этого не замечал. Все слишком знакомое никогда не кажется живописным: мы носим с собой свою обыденность и накладываем ее на окружающие нас время и пространство. Однако из апатии, в какую подвергает хорошее пищеварение, Казанову вывело малоприятное зрелище: группка мужчин прокладывала себе дорогу сквозь толпу с целеустремленным видом людей, несущих неприятную весть. Группка эта состояла из четырех сбиров, своего рода полицейских, и дона Антонио, очень красного, который отчаянно жестикулируя, что-то говорил им.

И без помощи «Ключа Соломона» или какого-либо иного способа проникнуть в таинственные знания оккультной науки синьор Казанова понял, что этот ма-

ленький конвой движется за ним. Ни минуты не медля, он схватил шляпу и плащ, удостоверился в том, что деньги находятся при нем и в надежном месте, вылез через окно в задней стене, спустился по толстой лозе, обвивавшей стену, и боковыми проулками, но с поразительной быстротой, достиг той части порта Чоггии, которая обращена к морю.

Там за два золотых дуката и обещание еще двух за хорошую скорость Казанова нанял двух гребцов с быстрой сандоло и велел им отвезти себя в Венецию, каковое путешествие он совершил в смятении чувств и весьма неудобной позе, лежа на дне лодочки под своим плащом и рыбацкой сетью, от которой отвратительно несло сардинами. Его драматическое появление поздно ночью в замке Брагадина повергло в смятение игроков в трик-трак, состоявших из Марко и трех старых патрициев. По выражению их лиц Казанова понял, что в ближайшие два-три дня «Ключу Соломона» предстоит усиленно и с большим тактом поработать.

В Венеции на Казанову свалилась куча бед: ситуация оказалась куда хуже, чем он мог предполагать, будучи в самом пессимистическом настроении. Как выяснилось, дон Антонио все время с большим подозрением относился к этому хвастливому молодому незнакомцу, который так безрассудно сорил деньгами и упорно хотел жениться на едва знакомой девушке. Знание человеческой природы подсказывало дону Антонио, что солидные мужчины с честно заработанными деньгами всегда бережно относятся к ним и что мужчина, всерьез задумавший жениться, редко так спешит уложить свою избранницу в постель. Однако Мариетта и тетушка Тина были обе полонены молодым человеком и устраивали такие сцены, когда им предлагали не спешить с обручением, что дон Антонио, нехотя и вопреки здравому смыслу, все же дал согласие на брак.

Однако для очистки совести он тотчас же обратился к одному из трех адвокатов, практиковавших в Чоггии, и немедленно отослал его в Венецию навести справки про молодого Джакомо Казанову и его образ жизни. На беду Казановы, адвокат из Чоггии вскоре повстречал некоторых его врагов, все еще кипевших возмущением против того, кто лишил их благосклонности молодых дам, увлеченных этим вкрадчивым и «всеядным» донжуаном. Эти враги Казановы не только сумели вывести на чистую воду его рассказы про дядюшку землевладельца

в Брешии, но и сами нагородили немало всякой лжи. Словом, они так напичкали шокированного адвоката рассказами о дебошах Казановы, его колдовстве, жульничестве в картах и бесконечном злодействе, что, когда тот выложил эту смесь правды и лжи дону Антонио, разъяренный дядюшка немедленно потребовал ареста этого мерзкого и опасного преступника.

По счастью, Казанова быстро предпринял нужные шаги, спасшие его от ареста в Чоггии, где в соответствии с весьма туманными представлениями о правосудии, бывавшими в те времена, он мог бы не один месяц провести в какой-нибудь сырой и мрачной тюрьме, прежде чем кто-либо из его друзей хотя бы услышал, где он находится; к тому же, если бы сбиры сцапали Казанову, пришлось бы потратить немалую сумму на подкуп и добиться решительных приказов из Венеции, чтобы выволить его из их лап. Однако Казанова еще отнюдь не выбрался из беды. Мариетта, обиженная и возмущенная его поступком, обливаясь слезами, призналась во всем, и это привело в такое отчаяние дона Антонио, что он путем тщательных розысков сумел обнаружить, куда бежал Казанова, и тотчас отправил вослед ему своего адвоката, полицейских и ордер на арест.

Сенатор же Брагадин, хоть и был раздражен выходкой этого ненормального, считал дотоле сию историю еще одной из проделок милого юноши; теперь же, услышав весть о грозящем ему аресте, посерьезнел и поспешил к своим друзьям во Дворец дождей. Если Триумвират займется этим делом, судьбе Казановы можно будет не завидовать, бежать же из Венеции ему рискованно, поскольку сбиры дона Антонио настороже. Но и тут Казанове повезло. По какому-то непостижимо-му недомыслию дон Антонио и его адвокат не донесли сразу Триумвирату про Казанову, и Брагадин сумел доказать Общественному обвинителю, сколь нелепы обвинения, выдвигаемые против его молодого друга. Ордер на арест был тотчас отменен.

Но «Мариеттины лиходейства», как именовал случившееся Казанова порою весело, порою мрачно, на этом не окончились. Решив довести дело до уголовного суда и государственных инквизиторов, дон Антонио и его адвокат нагородили такое множество претензий — и нарушение обещания жениться, и соблазнение невинной девушки, и ущерб, нанесенный в этом, в том и в другом отношении, — что требовалось немало времени, и денег,

и подспудного влияния, дабы эти обвинения разбить. Казанова был столь явно виновен, что даже закон мог это признать. А пока он прятался в мансардах замка Брагадина, играя в карты с Марко, советуясь с «Ключом Соломона» и читая латинские и французские книги. Даже когда уже было ясно, что Казанове не грозит опасность и он может выбраться из Венеции и снова отправиться в Рим, сенатор Брагадин все еще старался выдать Мариетту замуж за одного из своих крестьян, который просил продлить ему аренду на землю.

«Дабы удержать Джакомо от беды», Марко послали сопровождать его до венецианской границы — предосторожность совсем уж тщетная, поскольку Казанова никогда не делал того, что предлагал Марко, если этого не хотел, а Марко, хоть и протестуя, неизбежно следовал за Казановой, куда бы тот его ни повел. Однако во время путешествия Казанова держался тише воды, ниже травы. Он был немало напуган скандалом, неожиданно разразившимся после его авантюры в Чоггии, к тому же он, пожалуй, немного сожалел об утрате Мариетты. Так или иначе, за носильщиком, тащившим багаж по знаменитой Корсо в Риме, шел, направляясь ко дворцу Аквавива, весьма благопристойного вида дьякон.

У семьи Аквавива было в Риме два дворца: небольшой семейный особняк, принадлежавший маркизу Аквавиве, и дворец более вместительный и роскошный, тоже расположенный на Корсо и построенный его более знаменитым братом-кардиналом. То, что Казанова стоял сейчас у входа в малый дворец, было унижительным напоминанием о немилости, в которую он попал. Аквавивы были давними друзьями Брагадинов, но кардинал, узнав о скандале в Чоггии, отказался принять Казанову в своем доме. Потребовалось все влияние Брагадина, чтобы убедить кардинала пойти на компромисс: пусть Казанова живет у маркиза и официально считается членом его семьи, а работает и учится там, где велит кардинал. При хорошем поведении в течение года Казанова может быть официально приобщен к свите Его Высокопреосвященства. Перспектива была, безусловно, далеко не заманчивой, и Казанова едва ли знал, почему он от этого не отказался. Он что, в самом деле надеялся встретить в Риме Мариетту?

После беседы с маркизом Казанову отправили в резиденцию кардинала, где его поджидал библиотечарь отец Бернадино, высокий ученый муж лет сорока. Он

принял Казанову с изысканной любезностью и благовоспитанностью, все еще отличающимися римских духовных лиц, выходцев из хороших семей, но держался холодно, сдержанно, что больно укололо Казанову. Он сразу понял, что неблагоприятные вести о нем — по крайней мере частично — восприняты в Риме на веру и что многое зависит от того, сколь хорошее он произведет впечатление и сумеет ли, ведя себя с осторожностью, удержать его. После краткой официальной беседы Казанова почтительно попросил разрешения осмотреть знаменитую библиотеку и коллекции кардинала.

На лице отца Бернадино появилось удивленное выражение, тем не менее он тотчас провел Казанову в библиотеку — просторную комнату с расписным потолком и сводами, где стены были от пола до потолка уставлены книгами. Окна выходили во двор, искусно разгороженный самшитовыми посадками, чтобы выгоднее смотрелись стоявшие меж них статуи и скрижали с латинскими надписями. Другие древние скрижали, а также бюсты императоров и поэтов стояли в библиотеке, славившейся также своей большой коллекцией римских монет.

Отец Бернадино стал показывать Казанове эти сокровища со сдержанностью, какую защиты ради проявляет знаток перед невеждой и нахалом, но Казанова, внимательно слушавший его пояснения, то вставлял какое-то соображение, связанное с историей империи, то цитировал Вергилия или Луцилия *, а то мигом расшифровывал неразборчивую надпись, — и сердце библиотекаря было покорено. Отбросив холодность, он начал живо рассуждать об исчезнувшем мире античности, который был для него более живым, чем люди, среди которых он ходил и дышал.

Когда Казанова уже стал прощаться, отец Бернадино, секунду помедлив, положил руку на его локоть и сказал:

— Ваша жизнь здесь, возможно, будет сначала трудной. У вас есть враги. Позвольте дать вам совет: держитесь внешне открыто, но скрывайте свои мысли — это лучше всего вам послужит и продвинет дальше всего.

Эти слова вспомнились Казанове на другой день, когда он предстал перед кардиналом Аквавивой. В Ве-

* *Луцилий Гай* (ок. 180—102 до н. э.) — римский поэт, оказавший значительное влияние на Горация.

неции Казанова знал патрициев и прелатов, но венецианская аристократия тех времен была малообразованна, а прелаты (за исключением архиепископа) были часто скромного происхождения. Даже кардинал-архиепископ никогда не казался Казанове фигурой столь величественной — аристократом от рождения и одновременно принцем церкви, — как кардинал Аквавива.

Кардинал протянул ему для поцелуя руку с перстнем, предложил присесть и сразу приступил к вопросам. Как бы между прочим он мягко высказал одно пожелание, которое Казанова воспринял как приказ:

— Вам надо избавиться от своего венецианского акцента. Я прослежу за тем, чтобы вас представили одному почтенному семейству из Сиенны, — сказал он. А немного погодя произнес: — Вы хорошо знаете классику, но ваши познания в области теологии оставляют желать лучшего. — И еще: — Можете вы писать стихи на латыни?

Казанова гордился своей способностью слагать гекзаметры и элегии и быстро создал шестистрочную эпиграмму, содержащую искусный, но полный грубой лести комплимент кардиналу, равно как и неизбежную шутку, связанную со значением его имени — «живая вода». Кардинал с бесстрастным лицом прочел строки и заметил:

— Не было нужды льстить мне. Вы ведь еще не при дворе. И в третьей строке ошибка в количестве слогов. — Он помолчал, как бы обдумывая что-то, и сказал: — А пока будете работать у меня временным секретарем и займетесь моей перепиской на французском языке. — И после еще одной небольшой паузы с обаятельнейшей улыбкой добавил: — Отец Бернадино сказал, что будет рад видеть вас в библиотеке, когда вы захотите.

После чего кардинал позвонил в маленький золотой колокольчик — сигнал к тому, что посетителю пора уходить, — и протянул Казанове руку с перстнем, который тот, как положено, поцеловал. Беседа была окончена.

Большинство людей — даже достаточно толстокожих — почувствовали бы себя уязвленными холодностью этого приема, явно указывавшей на то, что Казанова тут нежеланный гость и что принимают его исключительно из уважения к могущественному покровителю. И большинство людей либо с досадой тут же ретировались бы, либо, более сдержанные, повременили бы, а затем нашли более или менее веский предлог, чтобы расстаться

с церковью, что было бы им охотно облегчено. Но не таким был Казанова. Тщеславие было столь глубоко присуще его натуре, что он принял из ряда вон выходящее решение убедить кардинала в неправильности суждения о рекруте из Венеции. И вот в течение некоторого времени можно было наблюдать весьма странное зрелище: Казанова регулярно являлся в присутствии, умеренно ел, не играл, много работал и посещал лишь одно или два высокочтимых семейства.

Такой переход к поведению по всем правилам кажется более невероятным, чем он есть на самом деле. Казанова ведь был еще молод; он был более чем напуган неприятными последствиями своей последней любовной интрижки — последствиями, которые могли бы быть очень серьезными; невзирая на свои успехи за игорными столами в «Ридотто», он еще не стал профессиональным игроком и по-прежнему держался циничной точки зрения, которую излагал своим венецианским друзьям, а именно: что церковь — единственный возможный путь к успеху для бедного умного мужчины, не принадлежащего к аристократам. Сколь бы ни были обоснованы эти соображения, взятые порознь или вместе, они не могли долго скрывать то обстоятельство, что суровый образ жизни, который стал вести Казанова в надежде на будущее материальное вознаграждение, был чистым лицемерием с его стороны. Более того: чтобы следовать какое-то время подобным курсом, требовалась такая концентрация духовных сил и лицедейства, какую Казанова способен был мобилизовать лишь в самом крайнем случае. Не было у него рассудочной холодности, которая позволила бы ему осуществить такую программу.

Совершенно ясно, что эта несостоятельная попытка Казановы вывернуть свою натуру наизнанку, став послушным молодым левитом, была обречена на провал. Рано или поздно он неизбежно должен был снова стать самим собой, и если произошло это раньше, а не позже, виновата в том оказалась, как всегда в жизни Казановы, женщина.

Каждый вечер кардинал и его брат-маркиз поочередно устраивали у себя так называемые *conversazione* *, когда разные люди собирались у них просто побеседовать и провести время за неизбежными кофе и мороженым. Более или менее одна и та же компания собиралась

* Беседы (ит.).

в обоих дворцах: римские священники и аристократы, несколько художников, поэтов, ученых и *cognoscenti* * и порою двое-трое именитых иностранцев. Дамы были, как правило, пожилые, одетые в черное, так что молодая и красивая женщина по имени донна Джульетта особенно выделялась на этом фоне. Какими отношениями была связана донна Джульетта с Аквавивами, так никогда и не выяснилось да и не обсуждалось, но она, несомненно, сама была маркизой и принимали ее как почетную гостью.

У донны Джульетты было продолговатое лицо итальянки с юга, густые черные волосы и черные глаза с длинными ресницами, что в северных странах считается «типичным» для Италии и итальянской красоты, хотя на самом деле в результате смешения рас в Италии существуют разные типы. В обычных обстоятельствах такая женщина, столь отличная от венецианок, мгновенно вызвала бы интерес у Казановы, но под влиянием вновь обретенного, хоть и непрочного аскетизма он вел себя чуть ли не грубо, избегая донну Джульетту и не обращая внимания на то, какими взглядами его одаривали ее блестящие черные глаза. Заметив такое отсутствие внимания и обидевшись, она в свою очередь изображала — а может быть, даже и испытывала — полнейшее безразличие к этому самому высокому, самому интересному, самому живому и, пожалуй, во многих отношениях самому умному мужчине во всем собрании. Однако она поглядывала на него, а он поглядывал на нее, когда каждый из них считал, что другой чем-то занят.

— Красивый малый этот Казанова, — с самым невинным видом заметил в один из вечеров кардинал донне Джульетте. — И как нелепо он выглядит в сутане — точно кавалерийский офицер на маскараде.

— В самом деле, Ваше Высокопреосвященство? — откликнулась она с холодным пренебрежением, обманувшим даже Аквавиву. — Я этого не заметила. Да разве можно замечать людей такого сорта?

Кардинал употребил слово «маскарад», ибо, очевидно, невольно подумал о предстоящем карнавале. В последние дни Римской республики Цицерон и другие наиболее тонченные сенаторы покидали Рим на то время, когда плебс наслаждался сражением гладиаторов с дикими

* Знатоков (*ит.*).

зверями, а ныне духовенство и наиболее привередливые представители высших классов (в том числе оба Аквививы) уезжали на свои виллы во Фраскати или Альбано на время народных гуляний и бесшабашного карнавала, тогда как аристократы помоложе, в особенности дамы, предпочитали остаться и поразвлечься, облачившись в причудливый костюм и скрыв лицо под маской. Так мало изменился Рим по сути своей, хоть и кажется, что сильно изменился внешне.

Карнавал в Риме не был непрерывным, как в Венеции, а проходил в строго определенные сроки, установленные духовными властями, которым очень хотелось бы вообще его отменить, но приходилось терпеть из-за популярности карнавала в народе, который, пожалуй, цеплялся за него тем больше, чем больше он не нравился правителям. Так или иначе, карнавал раздражался в Риме каждый год столь бурно, что изумленные чужестранцы сравнивали его с древними сатурналиями *, только карнавал здесь ждали с большим нетерпением и получали куда больше удовольствия из-за его контраста с обыденностью. Серьезный, мрачный город Рим, по словам одного иностранца-современника, в период карнавала превосходит Париж оживленностью и весельем. Главную улицу — Корсо — заполняют беспечные толпы весельчаков в масках и затейливых костюмах — пешие или в экипаже, — и все швыряют друг в друга маленькими шариками из белого сахара, именуемыми конфетти.

В то утро Казанову разбудили крики и пение, кошачье мяуканье, гиканье и звуки жестяных труб, и он, еще не вполне проснувшись, спотыкаясь, подошел к окну. Даже после Венеции зрелище, представшее глазам Казановы, мгновенно вывело его из состояния сна. Никогда он еще не видел подобного разнообразия причудливых костюмов. Тут были солдаты и сатиры, короли и черти, мавры и турки; женщины, одетые мужчинами, и мужчины — женщицами; дети с длинными бородами, вышагивающие на негнущихся ногах, и старики, пытающиеся — куда менее успешно — изображать младенцев с сосками и трещотками. Дамы вырядились простолюдинками из castelli и samragna **, горожанки облеклись в непривычные одежды монахинь или весталок; жены

* В Древнем Риме — народный праздник по окончании полевых работ в честь бога Сатурна.

** Замков и деревень (ит.).

лавочников пытались изображать герцогинь и принцесс, — словом, все старались выглядеть тем, кем никогда не были или давно перестали быть. Среди них крутились вечно популярные герои комедии дель арте — Тарталья и Бригелла, Скарамучча и Коломбина, Арлекин и Панталоне, нелепые и забавные, как на офортах Калло*.

Казанова, высунувшись из окна, в изумлении смотрел на это зрелище. Кто-то из толпы заметил его и крикнул:

— Эй, ты там! Убери дурной глаз!

Голос был женский, исполненный насмешки и задора. До этой минуты Казанова намеревался, как истый пуританин, держаться вдали от толпы, но этот веселый задорный голос, смех и пение и гудение рожков оказали на него свое действие. Он отпрыгнул от окна с такой стремительностью, точно мимо его головы просвистела пуля, кинулся к сундуку, вытащил оттуда венецианскую маску и бауту и, перепрыгивая через три ступеньки, сбегал вниз. У дверей он столкнулся с маской в костюме неаполитанской рыбной торговки и чуть не сбил ее с ног.

— Эй, ты! Дзордзе! Неуклюжая деревенщина! — возмутилась маска. — Надо же смотреть, куда ты идешь!

Легкая дрожь пробежала по телу Казановы при звуке этого голоса, ибо, несмотря на маску, он мгновенно понял, что голос принадлежит донне Джульетте. Казанова сделал вид, будто не узнал ее.

— Прошу прощения, — грубовато сказал он, нажимая на свой венецианский акцент, — а чего еще вы можете ждать, пытаясь пролезть во дворец?

Рыбная торговка рассмеялась и с издевкой присела в реверансе.

— Ах, венецианский патриций! — не без иронии воскликнула она. — Прошу извинить меня, Сиятельнейший! Проходите. Ни к чему бедной рыбачке задерживать Ваше Сиятельство!

Где это, говорят, что-то устлано добрыми намерениями? В один миг Казанова отбросил все свои с таким трудом приобретенные добрые намерения и решения, схватил рыбную торговку за руку, а другой рукой обвил ее талию.

* Калло, Жак (1593-1635) — французский гравер и живописец.

— Неаполь и Венеция! — весело воскликнул он.— Мы здесь с вами оба — чужестранцы. Давайте вместе веселиться на карнавале.

— Но я же не знаю вас.

— Нет, знаете. Вы же сказали, что я из Венеции — и это правда; что зовут меня Дзордзе — и это действительно так; вы только не добавили, что я ваш преданный поклонник, а именно таковым я и являюсь.

— Но вы же меня не знаете.

— Вы уверены в этом? А если даже и не знаю, что из того? Разве щиколотки у вас не тонкие, руки не изящные, а черные глаза не горят? И... давайте не будем тратить время на болтовню, когда жизнь, смеясь, бурлит вокруг нас!

Взявшись за руки, они выбежали на Корсо, где на них мгновенно налетели проказливые маски — заплясали, закружили их, осыпали конфетти и исчезли. Кто-то протрубил прямо в ухо Казанове, оглушив его; какой-то предприимчивый, но неизвестный поклонник попытался засунуть пригоршню конфетти донне Джульетте за лиф; потом их снова закружили в танце — и все с самыми лучшими в мире намерениями.

Так их кружило и несло по Корсо, пока они, крепко держась друг за друга, не достигли широкой пьядель-Пополо в северном конце Корсо. Большая площадь была заполнена пестрой толпой, возбужденно и шумно праздновавшей карнавал, и Казанова не без труда прокладывая путь себе и своей спутнице назад, на Корсо. Приплясывая и разбрасывая конфетти, они медленно пробирались сквозь поток экипажей и пешеходов и уже находились почти напротив дворца Аквавивы, как вдруг услышали зычные голоса, призывавшие народ расступиться и дать место лошадиным бегам, а папские сбирьы начали теснить толпу и перегородили боковые улицы.

Бега были одним из самых долгожданных событий карнавала, поскольку в другое время года они не разрешались. Эти своеобразные бега едва ли встретили бы одобрение у современного жокея или любителя бегов, ибо устраивались на самом Корсо, и лошади бежали сами по себе. С полудюжины быстроходных лошадей без наездников были выстроены на пьядель-Пополо в конце Корсо и пущены по улице — они мчались бешеным галопом, подхлестываемые криками зрителей, собравшихся у всех окон на Корсо и на всех боковых улицах, а также

шарами с острыми шипами, которые висели по бокам у лошадей и подгоняли их, подобно острым шпорам. Владелец победившей лошади получал штуку красной материи в качестве приза, но, конечно, привлекала зрителей волнующая атмосфера бегов и возможность заключать пари, тем более что в городе обычные бега были запрещены.

— Где же нам укрыться? — в ужасе воскликнула донна Джульетта при виде того, как излишне ретивый полицейский огрел маску палкой. — Ох, вы только посмотрите на эту скотину!

Казанова мгновенно оценил открывающуюся возможность.

— Сюда, сюда! — воскликнул он и потащил ее сквозь толпу к боковому входу во дворец Аквавивы.

В дверях донна Джульетта приостановилась и слегка отпрянула от него.

— Я хочу посмотреть на бега, — сказала она.

— Вы ничего не увидите из боковых улиц — там полно народу. Мы все сможем увидеть из моей комнаты.

— Но ведь там кто-то может быть... слуги...

— Все уехали во Фраскати или стоят на балконах. Пошли же!

Он взял ее за руку, и они на цыпочках стали подниматься по лестнице большого дворца, где обычно полно было вассалов и визитеров, а сейчас она была пуста, и на ней царил тишина — лишь слабо доносилось эхо карнавала. Казанова оказался прав: те несколько слуг, что остались во дворце, толпились на больших балконах *inobile*; его же комната, да и весь этаж были пусты. Донна Джульетта с интересом осмотрелась. Комната была довольно большая, но строго обставленная — с узкой низкой кроватью, примитивным умывальником, комодом, гардеробом и большим письменным столом, заваленным книгами и бумагами. Донна Джульетта просто поверить не могла, что Казанова прожил зиму в таких условиях: камина тут не было, а одна маленькая жаровня на углях не в состоянии была обогреть холодные как лед каменные стены и кафельный пол.

Казанова же давно приучил себя относиться к своему жилищу с философским безразличием и сейчас, всецело занятый своими чувствами, даже не замечал обстановки, к которой успел привыкнуть. Часа, проведенного на карнавале, прикосновения женской руки,

взгляда смеющихся глаз, хотя и сквозь маску, было вполне достаточно, чтобы улетучился весь его аскетизм, приобретенный за долгие месяцы упорных усилий. Сбросив маску и домино, Казанова рухнул перед донной Джульеттой на колени и стал покрывать ее руки поцелуями.

— Это еще что такое, синьор? — усмехнулась донна Джульетта, пытаясь вырвать у него руки. — Мы же пришли сюда, чтобы смотреть на бега...

— Ах, сударыня, вы ведь знаете, что я влюблен в вас!

— В меня?! — воскликнула она. — Да вы даже и не знаете, кто я!

— Вы что, считаете меня круглым идиотом, донна Джульетта? Думаете, я не узнаю вашего голоса и ваших глаз, хоть вы и в маске, как движений вашего тела, хоть оно и запрятано в лиф и юбки крестьянки?!

Донна Джульетта перестала отнимать у него руки. Этот диалог заинтересовал ее куда больше, чем бега, о которых она тут же забыла, и она позволила Казанове подвести ее к единственному удобному сидению в комнате — его кровати, на которую он тотчас уселся рядом с ней.

— Ваша любовь, видимо, очень хрупкое растение, — сказала донна Джульетта, удерживая Казанову на расстоянии вытянутой руки и все еще отбиваясь от него словами. — Неужели час или два, проведенные на карнавале, могли взрастить такую пылкую страсть?

— Вы смеетесь надо мной, донна Джульетта. Вы же знаете, что я влюбился в вас с самого первого дня, как только увидел.

Донна Джульетта рассмеялась.

— Вы избрали странный способ показать мне это! Вы же всегда избегали меня, вид у вас был вечно суровый, как у отшельника, а если вынуждены были ко мне обратиться, то едва смотрели на меня.

— Вот уж неправда, — возразил Казанова, — вы прекрасно знаете, что я смотрел на вас, когда только смел: вокруг ведь столько любопытных глаз и сплетников! А потом — чего же вы хотите? Вы были такой холодной и далекой, как усопшая королева, высеченная из алебаstra...

— Вы в самом деле так думаете? — Донна Джульетта улыбнулась. — Значит, я умею актерствовать лучше, чем полагала.

— И разве вы не вынуждали меня тоже актерствовать? — пожаловался Казанова. — Я вынужден был вести себя, как деревенский священник, тогда как...

— Кстати, аббат, — прервала она его, — как эта сцена сочетается с сутаной, которую вы должны бы носить?

— Да я ее выброшу к черту за один ваш поцелуй.

— Поцелуй?! А еще чего вы потребуете, дон Джакомо?

— Снимите маску.

— Зачем?

— Чтобы я мог поцеловать вас, а затем показать, что будет дальше.

— Говорят, вы распутник.

— А вы ожидали, что я девственник?

— Вы и со мной поступите так же вероломно, как поступали с другими.

— Ах, дайте мне возможность доказать обратное!

Время для препирательств кончилось, ибо маска была снята. Казанова схватил донну Джульетту в объятия и — по его словам — «запечатлел на ее прелестных губках, нежных, как роза, страстный поцелуй, который она наиболее склоннейше приняла».

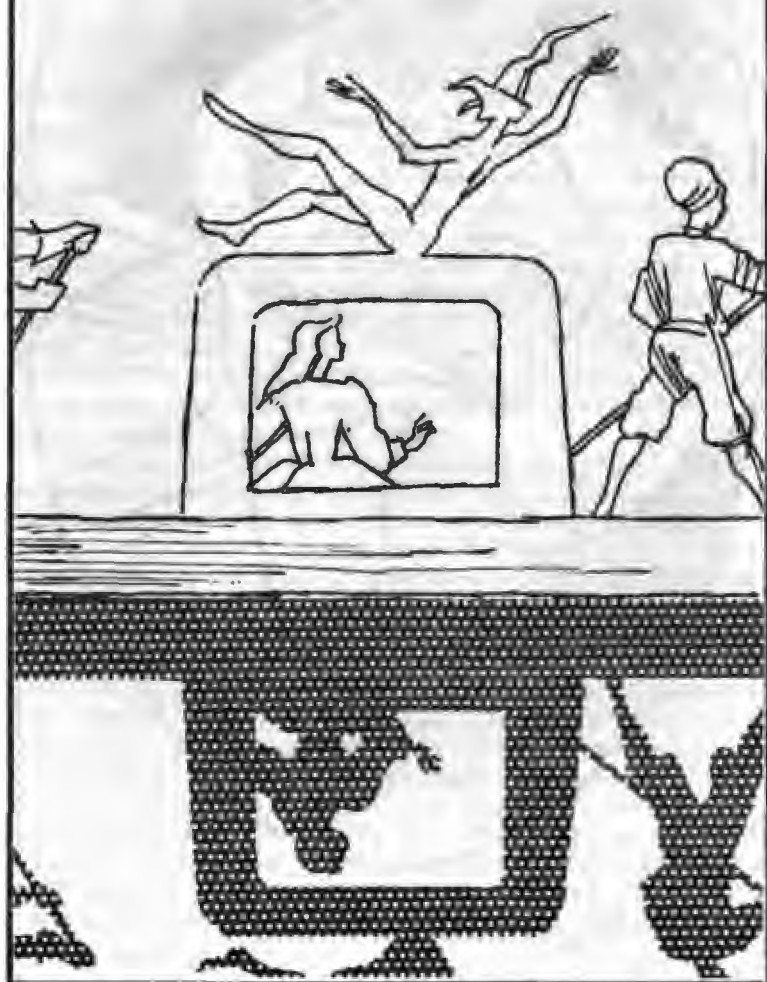
Минуты бежали в обрывистых восклицаниях и новых встречах губ. Цоканье копыт слышалось все ближе и ближе, грохот железных подков пронесся мимо дворца и быстро заглох, перекрытый оглушительными криками толпы. Двое, сидевшие на краешке кровати, казалось, даже и не слышали всего этого шума, и лошади, под предлогом любования которыми во всяком случае донна Джульетта находилась здесь (хотя это и не объясняло, почему она сидела на кровати), пронеслись мимо, а она даже и не попыталась взглянуть на бега. Вскоре руки Казановы, став смелее, встретили на своем пути лишь обычное препятствие — белый лиф крестьянского платья и черный корсет, обнажившие округлые сокровища, которые они должны были бы скрывать, и красную юбку, которая поднялась много выше колен донны Джульетты...

Казанова кинулся к окну, чтобы закрыть ставни и помешать любопытному оку из верхних окон дворца, расположенного на другой стороне Корсо, заглянуть в комнату. Толпа мальчишек и юнцов, с гиканьем и криками мчавшиеся за лошадьми, уже исчезла из вида. По улице снова поехали кареты, и возобновилась битва конфетти. Держась за крюк ставни, Казанова

взглянул вниз, и в поле его зрения попало лицо молодой женщины в одной из медленно двигавшихся карет. Она сняла маску, и сопровождавший ее мужчина помогал вытряхнуть конфетти из ее черных волос. Она смеялась, но смех сменился выражением удивления и удовольствия, когда она узнала того, кто глядел на нее из окна. А Казанова смотрел ей вслед и, с трудом веря своим глазам, увидел, как она прижала палец к губам, словно предупреждая его быть осторожнее, а потом незаметно для своего спутника дважды поманила, предлагая следовать за ней. Диким, хриплым голосом Казанова выкрикнул одно слово: «Анриетта!» и выскочил из комнаты, оставив на своей кровати полуголую красавицу, которая из женщины, готовой стать его любовницей, в одну секунду превратилась в злейшего его врага.



Часть II















«Lom po far e die in pensar
E vega quello che li po inchiontrar»

«Человек может в мыслях совершить поступок и высказаться, и увидеть, к чему это приведет».

Иными словами: посмотри вокруг, а потом прыгай.

*Надпись на стене собора
Св. Марка в Венеции*

1

    **К**     **огда Казанова по мановению руки одной женщины бросил другую, ту, что уже держал в объятиях, он совершил нечто весьма оригинальное, но, как ни странно, соответствующее его темпераменту. Это был интересный момент в его жизни. Конечно, успех, каким Казанова пользовался у женщин, во многом объяснялся тем, что он способен был вспылать ярким чувством и с неумолимой энергией следовать влечению. Люди, казалось, считали, что человек, обладающий таким великолепным «аппетитом», имеет право его удовлетворять. Те, кто готов заплатить почти любую цену за минутное наслаждение, обычно добиваются своего.**

Одна из любимых шуток природы, которые она никогда не устает выкидывать, состоит в том, что она способна заставить двух людей забыть ради нескольких минут восторга в объятиях друг друга о возможной или вероятной награде, ожидающей человека в итоге многомесячных или многолетних стараний и самовоздержания.

Но в данной сложной ситуации это уже произошло до того, как Казанова выглянул из окна и увидел Анриетту... Люди, даже многоопытные, всегда думают, что могут удержать в тайне любовную интрижку, потому что хотят удержать ее в тайне, — так желаемое торжествует над здравым смыслом и опытом. Собственно, сторонние наблюдатели порою узнают о том, что человек влюбился, еще до самой жертвы, и уж во всяком случае наивно было со стороны Джульетты и Джакомо воображать, будто хитрые и высокоумудренные в вопросах пола итальянские слуги так ничего и

не узнают о том, что происходило между ними. Когда наша пара вошла на цыпочках в спальню Казановы, донна Джульетта тем самым нанесла непоправимый удар своей репутации в глазах Аквавивы и его окружения, а Казанова уничтожил все, что надеялся выиграть за месяцы воздержания.

Это было типичное проявление безумия, овладевающего полами, без чего человечество, зажатое в рамках некоего жуткого фаланстера добропорядочного и единообразного здравого смысла, осталось бы без единого всплеска безумия, которое и делает наше существование сносным. Но вот перед вами Казанова, одним прыжком погрузившийся на семь саженей в безумие, покинув послушные губы и уступчивые колени Джульетты ради взмаха руки — весьма двусмысленного жеста, в лучшем случае обещавшего не больше сексуальных радостей, чем те, от которых он столь резко и нелюбезно отказался. Человек этот, говорим мы, на какой-то момент «лишился рассудка».

Если это выражение означает: «отдаться на волю своих инстинктов без секунды промедления или попытки сдержать себя», то Казанова действительно «лишился рассудка» на те несколько минут, которые понадобились ему, чтобы слететь через три ступеньки с лестницы и выскочить на шумную Корсо, заполненную толпой, готовой позабавиться с любым, достаточно слабым, чтобы стать жертвой. Попав в толпу, Казанова мгновенно понял, как нелепо повел себя: Анриетта и ее коляска давно уже исчезли из вида. Но легче сделать первый глупый шаг, чем остановиться. И Казанова, не раздумывая, а по-прежнему подчиняясь инстинкту, помчался следом за коляской.

Неожиданное появление растрепанного молодого человека без маски и маскарадного костюма мгновенно привлекло внимание толпы. Люди с гиканьем и насмешками закрутились вокруг него, осыпая конфетти и непристойными шутками. Казанова вскипел и попытался пробиться сквозь окружавших его людей, тотчас вызвав их возмущение. Полетели комья грязи, заменяющие массам красноречие, посыпались удары, ему разорвали рубашку, стали дергать за волосы. Толпа была настолько взвинчена, что готова была линчевать его, — ну что такое чья-то жизнь, когда народ веселится: ведь он это заслужил!

По счастью, Казанова вовремя увидел грозившую ему опасность. И опять-таки по счастью, он был мужчина крупный, способный при необходимости выказать почти

невероятную силу. С неожиданностью, на миг озадачившей напиравших на него людей, он отказался от попытки проложить себе путь по Корсо, где каждый тяжело давшийся шаг подводил его лишь к более плотному барьеру враждебных тел, и резкими бросками кинулся через улицу туда, где было меньше народа. Толпа уловила его намерение и с проклятьями, криками, взрывами хохота, молотя кулаками, попыталась удержать его, но он пробил себе дорогу могучими руками, плечами и ударами колен и добрался до узкого проулка, отвлекаясь от Корсо и приводившего после нескольких поворотов в лабиринт старых паршивеньких улочек. Сбросив с себя руки самых упорных преследователей, Казанова кинулся в узкий грязный проулок — вслед за ним с гиканьем неслись оборванцы и крепкие здоровые горожане, жаждавшие поразвлечься.

Если бы они поймали Казанову, ему пришлось бы очень туго, но он — в отличие от большинства преследователей — находился в местах, которые прекрасно знал. Огибая углы старых дворцов, ныряя под осыпающиеся арки, пробегая мимо вонючих дворов и конюшен, Казанова наконец сумел уйти от погони и, пересекши темный двор, нашел убежище под пещерными сводами винного погребка. Остановившись за дверью, тяжело дыша, Казанова слышал, как замирал вдали топот ног вместе с криками разочарования и угрозами кровавой расправы.

Когда последний отзвук поистине смертоносного преследования затих, Казанова наконец смог расслабиться и оглядеться. Он находился у входа в большой сводчатый зал, такой же огромный, пустой и почти такой же грязный, как современный железнодорожный туннель, правда, древние стены здесь были когда-то расписаны яркими фресками. В дальнем конце туннеля виднелся в полутьме огонь, горевший на кирпичном помосте среди огромных чугунных котлов, сковородок и вертел. В нише и вдоль одной из стен стояли большущие кувшины и грязные черные бурдюки с вином, а сама зала была разделена грубыми деревянными перегородками на маленькие закоулки, какие все еще можно встретить в некоторых английских тавернах.

Зрелище это, столь любопытное и живописное на взгляд современника, показалось ничем не примечательным Казанове, ибо роковым образом было ему знакомо. Занимало его сейчас то, что одежда его была разорвана

и вся в грязи, что он оставил шляпу и плащ во дворце Аквавивы, что от удара камнем в голову из раны текла кровь, как и из многочисленных царапин — следов ногтей, прошедшихся по разным частям его тела.

— Эрколе! — крикнул он, заполнив эту пещеру-кухню раскатами своего баса.— Эрколе! Аталанта! Это я, Казанова!

Со двора донеслось шарканье ног.

— Убирайся! — рыкнул хриплый мужской голос.

— Никаких драчунов-пьяниц! — взвизгнул высокий голос сварливой женщины.

Казанова расхохотался при виде двух лохматых голов и довольно грязных встревоженных лиц, выглянувших в кухню из убогого закоулка, величественно именуемого спальней.

— Что?! — воскликнул, смеясь, Казанова и направился к ним, раскрыв объятия.— Вы что, с сегодня на завтра уже не помните тех, с кем дружили вчера?

— Казанова!

А Казанова не раз укрывался здесь, найдя в этой мрачной таверне отдохновение от строгих правил и великолепия дворца Аквавивы, и своим веселым нравом, своими шуточками, своими анекдотами и бьющим через край жизнелюбием вскоре завоевал безусловную преданность хозяина таверны и его жены. А сейчас прокопченная маленькая траттория послужила ему пристанищем от куда более серьезной угрозы самому его существованию.

— Почему это вы в одной рубашке? — воскликнули хозяева.

— Да вы и парик потеряли! Святые угодники, вы же весь исцарапанный и в крови!

И так далее, и тому подобное — с на редкость неинтересной словоохотливостью, какая появляется у подобного рода людей в неожиданной ситуации. Казанова удовлетворил их любопытство с помощью небольшой доли правды и большой доли вымысла, и они принялись помогать ему смывать грязь и кровь, а также зашивать самые вопиющие дыры в одежде. Казанове показалось забавным, что в этом злословии ему помогают Эрколе, иначе — Геркулес, и Аталанта,— правда, он уже успел привыкнуть к тому, что в Риме принято давать детям пышные имена времен Империи.

Умывшись, обчистившись и надев зачиненное платье, Казанова тотчас попросил подать ему еды и вина и

отослал синьора Эрколе за письменными принадлежностями. Несмотря на не внушающий доверия вид траттории, Аталанта поставила на стол в одном из закоулков миску горячего супа, холодного цыпленка с хлебом, изюм и белое вино, именуемое «Треббьяно». В этот период своей жизни Казанова любил считать, что почти все беды можно уладить или, по крайней мере, забыть за хорошей едой. Но сейчас, поглощая пищу с обычным аппетитом, даже он вынужден был признать, что попал в нелепейшую переделку. Ринувшись вослед поманившей его девичьей руке, он сам лишил себя любовницы, покровителя, дома, карьеры, а также почти всех своих денег и одежды — весь его гардероб остался в спальне во дворце Аквавивы. Казанова достаточно хорошо знал женщин и понимал, что после оскорбления, нанесенного донне Джульетте, возвращение в палаццо неизбежно грозит ему избиением со стороны лакеев, а может быть, даже и смертью. Более того, зная, как просто нанять головорезов, чтобы убить кого угодно, Казанова понял, что его жизни будет постоянно грозить опасность, пока он находится на территории Рима. А может быть, и за пределами владений Его Святейшества папы, мрачно подумал Казанова.

Сейчас первой задачей было вернуть свою собственность из дворца Аквавивы до того, как маркиз и кардинал вернутся из Фраскати. Казанова знал лишь одного человека в Риме, который, не будучи его врагом, пользовался достаточным уважением и мог войти во дворец, не вызвав подозрений даже у донны Джульетты, — им был отец Бернадино. О нем-то и подумал Казанова, попросив принести ему перо, чернила и бумагу. Но вот что волновало Казанову: какой подход найти к отцу Бернадино, как признаться в создавшейся ситуации и попросить о помощи, не слишком явно обманывая, с одной стороны, и не слишком впадая в цинизм — с другой?

После долгих обдумываний, возгласов «тьфу» и «пф», Казанова, испортив немало листов бумаги, сочинил следующее письмо:

«Досточтимый отче,

Случилось нечто, о чем Вы не замедлите услышать, — это доказывает мне самому, что я не гожусь быть священником. Я уже покинул дворец Аквавивы и нашел убежище у человека, который принесет Вам эту записку. Умоляю извинить меня

за беспокойство и проявить любезность, проследив за тем, чтобы этот человек принес мне мою одежду и деньги. Его зовут синьор Эрколе из Аbruцци, он — честный бедняк и мой превосходный друг. Тем не менее, зная человеческую натуру, я думаю, будет правильнее, если Вы спрячете деньги под подкладку моей одежды и предупредите славного малого, что за утерю любого из предметов он будет непременно повешен в этом мире и проклят в грядущем.

*Смиренный и покорный, преданный
Ваш слуга, досточтимый отче,
ДЖАКОМО КАЗАНОВА».*

Сложив и запечатав это ценное послание, Казанова хлопнул в ладоши, призывая синьора Эрколе, и, достав из внутреннего кармана штанов несколько золотых монет, дал ему одну из них и тщательно наказал немедленно отнести письмо отцу Бернадино.

Отправив синьора Эрколе с поручением, Казанова выпил бокал вина, вздохнул и откинулся на скамье с зубочисткой в зубах. Он предался размышлениям, пытаясь наметить план возможно более быстрого бегства из Рима, но в каком направлении двинуться, никак не мог решить.

Из неопределенных раздумий Казанову вывело появление в его маленьком закоулке какого-то человека. Это был довольно броско одетый мужчина лет тридцати пяти, который стоял и кланялся, широко осклабясь, так что видно было отсутствие двух передних зубов. Первым побуждением Казановы было сказать незнакомцу, чтобы он отправлялся к чертям, но, вспомнив, что ему придется еще какое-то время прождать возвращения синьора Эрколе, переменял решение и предложил мужчине разделить с ним остатки вина.

— Ваше здоровье, синьор,— сказал незнакомец,— и здоровье ваших родных — знатного дома Аквавивы.

— Ваше здоровье,— откликнулся Казанова, удивляясь, каким, черт побери, образом этот человек узнал, что он связан с Аквавивами, ибо Казанова был уверен, что никогда прежде не видел его.— Вы ошибаетесь, синьор. Я бедный венецианский аристократ и, к несчастью, никаким родством с великим княжеским родом, который вы упомянули, не связан.

— Как вам будет угодно,— сказал мужчина, потягивая вино,— кто я такой, чтобы ставить это под сомне-

ние, коль скоро Ваше Сиятельство решили зайти инкогнито в жалкую таверну?

Казанова передернул плечами, рассмеялся и, чтобы развлечься, стал слушать нескончаемую болтовню этого малого, который трещал так (лениво подумал Казанова), словно выучил текст наизусть. Внезапно одна случайно оброненная фраза дала Казанове ключ к разгадке: это шулер, явно решивший, что перед ним зеленый новичок, которого можно обобрать. И Казанова оказался прав: после нескольких льстиво-угодливых фраз мужчина вытащил колоду карт и предложил «немного поиграть, чтобы скоротать время, пока вернется ваш посланный». Глаза Казановы опасно сверкнули, но он проглотил это оскорбление, нанесенное его репутации игрока, и безмятежным тоном произнес:

— Дражайший мой синьор, так уж получилось, что до сегодняшнего дня я принадлежал церкви. И мало что понимаю в картах.

— О, я быстро научу Ваше Сиятельство, — пылко воскликнул мужчина, — это очень просто, право же, очень просто. К тому же, знаете ли, вы почти наверняка выиграете — мы называем это «везением новичков».

— Но ведь это будет несправедливо по отношению к вам, — иронически заметил Казанова.

— Ах, не будем об этом. — Незнакомцу до того не терпелось втянуть Казанову в игру, что он не заметил легкого сарказма в его тоне. — Разве благородные люди обращают внимание на такие пустяки?

Казанова любезно наклонил голову в знак согласия и с видом простака стал слушать объяснение правил предложенной игры, — это был хорошо известный метод «стрижки» несведущих людей, которому Казанова научился, когда ему не было и шестнадцати лет, у своих продювных дружков в Венеции. Каждый из них положил по пригоршне монет, и игра началась. Сначала Казанова, конечно, без труда выигрывал, наблюдая с немалым весельем и с еще большим презрением за неуклюжими приемами партнера. Выждав достаточно, чтобы у «зеленого новичка» появился аппетит к выигрышу, шулер изменил тактику, рассчитывая за несколько ходов отыграть все проигранное, а потом «раздеть» Казанову до последнего дуката. Но, к своему явному недоумению и досаде, он не выигрывал, и выражение удивления и озабоченности на его лице было до того нелепым, что Казанова с трудом сдерживал смех.

Шулер явно почувствовал, что Казанову все это немало веселит, и при очередной сдаче карт попробовал уже в открытую сблефовать. Казанова со множеством извинений, сочетая любезность, присущую предполагаемому отпрыску высокого рода, с наивностью новичка, вежливо указал партнеру на «оплошность», и шулеру пришлось не только признать свою «ошибку», но и выплатить немалую сумму, которую он поставил на карту, намереваясь выиграть. Немало сбитый этим с толку, стремясь побыстрее прикарманить деньги «новичка», незнакомец начал делать большие ставки, играть опрометчиво, пуская в ход все плутни, каким был обучен. Каково же было его изумление, когда он обнаружил, что каждый его опрометчивый ход мгновенно используется партнером в свою пользу, каждый его трюк и мошенничество мгновенно отмечаются как «оплошность», причем настолько вежливо, что он вынужден с этим соглашаться, пока — хуже уж некуда — он быстро не проиграл свыше ста дукатов.

Когда последняя его монета исчезла, шулер снова сдал карты и, воспользовавшись (как ему показалось) тем, что Казанова был поглощен своими картами, неожиданно вскочил и занес над ним длинный кинжал. Казанова же, наблюдавший в свое время не одну такую сцену, был готов к встрече с ним. Схватив мошенника за руку своей невероятно сильной рукой, Казанова без труда разоружил его и в одно мгновение сжал ему горло. Как следует встряхнув шулера с такой силой, какой позавидовал бы теперь из сказки поймавший крысу, Казанова вышвырнул его из-за загородки и велел убраться, если ему дорога жизнь, на глазах у Аталанты, тарасившейся на них из дымного конца кухни.

— Жизнь?! — с горечью повторил несчастный, с трудом поднимаясь на ноги. — Какая у меня может быть жизнь? Вы же отобрали у меня все до последнего дуката!

— Бери! — И Казанова презрительно бросил ему несколько золотых монет. — А теперь убирайся, пока я не свернул тебе шею!

Повернувшись с этими словами к двери, Казанова со смущением увидел прямо перед собой отца Бернадино, чье лицо едва ли могло быть суровее или выражать большее осуждение. Казанова приготовился выслушать отповедь, а тем временем игрок выскочил за дверь, наградив своего партнера самыми малопривлекательными

ми эпитетами, какие могло измыслить его плодовитое и многоопытное воображение. Отец Бернадино, однако, никак не комментировал ситуацию, хотя по обрывкам любезностей, какие он случайно услышал, мог естественно предположить, что ко всем прочим безобразиям Джакомо еще и обдурил бедного человека в карты. Попросив синьора Эрколе передать узлы Казанове и жестом отменяя его подобоострастное предложение откусать и выпить, отец Бернадино сел напротив Казановы и молча уставился на него со странным выражением лица, на котором читалось раздражение, огорчение и жалость,— так можно было бы смотреть на здорового, прелестного, но уж очень озорного ребенка.

Казанове не слишком понравилось выражение лица отца Бернадино, да и неожиданное появление библиотекаря застало его врасплох. Он ведь хотел только воспользоваться интересом, который проявлял к нему библиотекарь, чтобы вернуть свои вещи, и ему ни на секунду не пришло в голову, что священник может счесть своим моральным долгом сделать выговор заблудшей душе,— навязывать умонастроения противно было духу того времени.

Наконец, когда молчание начало становиться уже нелепым, отец Бернадино вытащил кожаный мешочек и приоткрыл его, показывая, что он полон золотых монет и рекомендательных писем — весьма существенного остатка от выигрыша Казановы в «Ридотто».

— Я бы просил вас пересчитать их,— холодно произнес отец Бернадино.

— Какой в этом смысл, раз вы сами их принесли? — сказал Казанова, пряча золото и сложенные бумаги, и, чтобы не выглядеть слишком уж пугалом, стал переодеваться в другую, хотя и поношенную одежду.

Пока Казанова переодевался, оба молчали, и Казанова очень надеялся, что отец Бернадино наконец уйдет, выслушав его многократно повторенные благодарности. Но тот лишь отмахивался от его излияний и продолжал сидеть, и таким образом Казанове ничего не оставалось, как вернуться на свое место.

— Я сожалею, что доставил столько беспокойств и вам пришлось самому принести мне этакий пустяк,— в десятый раз произнес Казанова, только теперь уже с оттенком нетерпения, показывая, что хочет избавиться от чересчур любезного помощника.

Но отец Бернадино не желал понимать намеки.

— Хотелось бы мне разгадать вас,— задумчиво произнес он.— В вас намешано столько всякого разного!

— Разве все люди не таковы?

— Чего я никак не могу понять, это как у вас хватило нахальства навязать свою особу церкви.

— По всей вероятности, мне следовало иметь богатую и могущественную матушку, глубоко преданную моим интересам,— холодно заметил Казанова.— Такая подлинная благотворительность может ведь прикрыть множество грехов, верно? Кстати, вы не видели донны Джульетты?

— Видел.

— А-а! И она уже сообщила свою версию Аквавивам? Конечно? Она не теряет времени, эта молодая дама!

— Что побудило вас совершить столь опасный и безумный поступок?

Казанова улыбнулся.

— Женщина соблазнила меня, и я...

— Не верю,— сухо возразил отец Бернадино,— и даже если это так, ваш долг был противостоять соблазну...

— В подражание вышестоящим? — с издевкой произнес Казанова, глядя священнику в глаза так твердо и многозначительно, что Бернадино вспыхнул и отвел взгляд.

— Не вам критиковать благодетелей и вышестоящих.

Эта фраза, весьма затасканная и произнесенная между прочим, уязвила Казанову в самое больное место, показав всю незначительность занимаемого им в обществе положения.

— Значит — нет! — воскликнул он с такою силой, что отец Бернадино невольно отшатнулся.— Нет, конечно, не мне! Это *они* могут критиковать меня, называть подлецом и мерзавцем и грязным развратником за то, что я открыто и с немалым риском для себя делаю то же, что они делают втихую, тайно и безнаказанно! Да будь я тем, кем вы явно меня считаете, я бы приятно развлекался сейчас в постельке с донной Джульеттой, а не сидел бы здесь, рискуя жизнью, в то время как она разыгрывает из себя перед своими «покровителями» жену Потифара *. Надо быть способным желать женщину, чтобы понять, почему я поступил так, а не иначе...

* Потифар — по Библии, начальник телохранителей египетского царя Фараона, отмечавший особым доверием Иосифа и посадивший его в тюрьму по наговору своей жены.

Он неожиданно умолк, увидев выражение лица отца Бернадино. Тот явно верил версии донны Джульетты, которую Казанова мог достаточно точно себе представить, — наверняка некий изобретательно придуманный вариант избитой темы о том, как он, воспользовавшись тем, что в доме никого не было, совершил покушение на ее целомудрие и был вынужден бежать из дворца от ее праведного возмущения и лакеев. Казанова размышлял над создавшейся ситуацией достаточно мрачно и горько, что было чуждо его обычно легкому отношению к жизни...

— Что же вы намереваетесь делать? — неожиданно ворвался в его мысли голос отца Бернадино.

Казанова поднял на него взгляд, пожал плечами, но не произнес ни слова. А отец Бернадино, слегка запинаясь, продолжал:

— Вам следует... я хочу сказать, что, наверное, должен вас предупредить, чтобы вы не задерживались в Риме. Неодобрение, которое вызовет ваш поступок у неких могущественных сил...

— Не говоря уже о мести разъяренной женщины, — цинично вставил Казанова. — Да. Я уеду из Рима, но...

— Но?

— Когда мне заблагорассудится и будет удобно, — холодно добавил Казанова.

Отец Бернадино вспыхнул от намек на то, что не следует вмешиваться в чужие дела, и поднялся. Но что-то, какое-то чувство невыполненного долга, должно быть, не позволяло ему уйти, не воззвав в последний раз к этой непокорной и заблудшей овце.

— Я не стану спрашивать вас, куда вы направитесь, — нерешительно начал он, опустив глаза долу, — как и о том, на что вы собираетесь жить, — хотелось бы мне, правда, убедить вас отказаться от своего метода добывания денег. — Видимо, приободрившись, он поднял на Казанову глаза. — Я слышал об этом в связи с вами, но не верил, пока сам не увидел и не услышал. Крик отчаяния, выражение лица несчастного, который выбежал отсюда, еще не изгладились из моей памяти. Ах, Джакомо, Джакомо, если бы вы только согласились отказаться от игры, оставить это бесчестное занятие...

— Бесчестное?! — воскликнул Казанова, сверкая глазами. — Разрешите сказать вам, синьор, что картежный долг — это долг чести! Вы говорите мне, что играть в карты бесчестно, вы упрекаете меня за то, что я на этом

делаю деньги. А разрешите вас спросить, методы банкира и ростовщика, которые законно наживаются на людской нужде и дают деньги под проценты,— это менее бесчестно? А то, что у торговца заморскими товарами океан играет роль карточного стола, а корабли являются ставками,— это менее бесчестно? Игрок за карточным столом идет на риск, а шарлатаны, именуемые лекарями, играют в полной безопасности: если пациент выздоравливает — значит, он выздоровел благодаря гению лекаря; если же он умрет — значит, на то воля Божия. А чем торгует адвокат — дает возможность поставить на чужое золото или свободу или счастье, и человек выигрывает или проигрывает по прихоти старого, глупого, испорченного судьи! Да вы сами, синьор! Чем торгуют люди вашей профессии — надеждой на рай, которого никто не видел, в грядущем, существование которого никто не может ни доказать, ни опровергнуть,— словом, идет куда более дорогостоящая и безрассудная игра, чем любая...

— Хватит, синьор! — Глаза отца Бернадино стали жесткими от гнева и возмущения.— Позвольте мне больше этого не слушать и позвольте дать вам совет попридержать язык. За последние несколько минут вы наговорили достаточно, чтобы поместить вас в такое место, где вы будете надолго лишены всякой возможности играть в карты, и сейчас больше, чем когда-либо,— ибо я обязан сообщить куда следует о том, что вы сказали, и больше, чем когда-либо, я советую вам побыстрее уехать из Папского государства. Прощайте!

2

Не столько цинизм, сколько жизненный опыт подсказывал Казанове, что потеря друга — не всегда большая беда, это может быть даже и ко благу, ибо позволяет сохранить запасы дружеских чувств. Но Казанова ни на секунду не пытался скрыть от себя, что расставание с отцом Бернадино несколько огорчило его — всегда ведь неприятно видеть славного человека, опутанного паутиной морализирующего идиотизма.

Казанова снова опустился на скамью, чувствуя, как на его широкие плечи навалилась усталость. Ну и день выдался — сплошные волнения и напряжение: и толпа от широты чувств немного круто обошлась с ним, да и угроза возмездия со стороны церкви и донны Джульетты — а обе

по-своему были оскорблены Казановой — не слишком располагала к веселью. Разрыв с ученым и глубоко верующим библиотекарем завершил преподанный Казанове урок и добавил усталости. Казанова сгорбился над столом, рассеянно крутя в пальцах ножку пустого бокала, и задумался. Уехать из Рима? Что ж, наверное, ему надо выбраться из города до того, как закроют ворота на ночь, — во всяком случае пора двигаться в путь. Но куда?

Вопрос повис в воздухе, пока Казанова наполнял бокал и пил вино. Им овладела меланхолия, находясь во власти которой человек готов распространить на себя досаду, испытываемую по отношению к другим. Ему очень не хотелось куда-то двигаться — ну и пусть его убьют головорезы Аквавивы или, еще лучше, арестуют возмущенные его поведением власти. Не прибавляла уверенности в себе и поношенная одежда, и сознание, что парик не по нему — *он-то* может считать такую небрежность в одежде знаком того, что расстался с церковью, но те, кто отвечает за дисциплину в ее рядах, могут подумать иначе. Это соображение, подкрепленное вином, пробудило в нем достаточную энергию, чтобы решить, по крайней мере, куда бежать — в Неаполь. Быть может, тамошние друзья все-таки не забыли его, а полиция, наоборот, забыла. Во всяком случае, бегство в Неаполь от гнева Рима будет служить ему превосходной рекомендацией или возобновлением рекомендации, поскольку между двумя дворами существовала вполне оправданная нелюбовь...

В этот момент раздумья Казановы были прерваны — он почувствовал, как кто-то дернул его за рукав, и, оглянувшись, увидел необычайно грязную старуху. Как многие мошеники, Казанова часто сострадал отдельным беднякам и несчастным, но с полнейшим презрением относился ко всем абстрактным планам или прожекам по искоренению бедности. Он полез в карман за монетой, чтобы подать старой сове, но тут его сильнее дернули за рукав, и он внимательнее взгляделся в старую каргу. Она протянула ему письмо, что удивило его куда меньше, чем медленно дошедшее до его сознания обстоятельство: у этой грязнущей и оборванной старухи — молодые, пухлые и хорошенькие ручки, глаза под густыми седыми бровями — веселые и слишком блестящие для старой клячи, плетущейся к могиле, седые же и сальные волосы, выглядывавшие из-под чепца, — вовсе и не волосы, а вата...

— Вы неплохо изменили свою внешность,— сказал Казанова,— но у меня нет конфетти, и мне осточертел карнавал...

В глазах старухи появился испуг. Она бросила письмо на стол и, ускользнув от Казановы, попытавшегося ее схватить, с проворством, необычайным для женщины, которой за семьдесят, подхватила свои юбки и помчалась к двери, показав на бегу очень красивые щиколотки и икры. Казанова не успел выбраться из-за стола, как женщина исчезла за дверью.

Сев снова за стол, он взял письмо — оно было написано на хорошей бумаге, хотя и несло на себе отпечатки грязных пальцев переодетого курьера, но поскольку оскорбительный прием снятия отпечатков пальцев еще не был введен в практику и даже не придуман, Казанова понятия не имел о том, какой ключ к разгадке он держит в руках. Вскрыв конверт, он прочел:

«Флоренция. 30-го. А.».

Сие короткое и весьма загадочное послание оказало мгновенное и поразительное действие на Казанову. Он заплясал по старой таверне, схватил флягу с вином, обнаружил, что она почти пуста, швырнул ее на пол так, что она разбилась вдребезги, и, хлопнув в ладоши, крикнул синьору Эрколе, чтобы тот принес новую флягу... Казанова понимал, что старуха была не Анриетта, но был уверен: это кто-то, знающий ее; из послания же он понял, что ему следует быть во Флоренции 30-го числа этого месяца, а поскольку теперь было только 17-е, то времени у него было предостаточно.

Эрколе, спотыкаясь от спешки, принес новую флягу с вином и был немало удивлен неожиданной переменой в настроении Казановы, а когда услышал вопрос Казановы, глаза у него и вовсе расширились, но отвечал он, не задумываясь.

— Мне нужно получше одеться — ты не знаешь никого, кто мог бы мне в этом помочь?

— Да, синьор, знаю.

— Пошли за ним тотчас же... и, Эрколе...

— Синьор?

— Можешь взять на себя труд тотчас отослать письмо в Венецию?

— Да, синьор.

— Отлично. И еще, Эрколе...

— Синьор?

— Я хочу немедля выехать во Флоренцию. Купи мне почтовую карету, закажи лучших лошадей...

— Это будет стоить денег, синьор Джакомо...

Вместо ответа Казанова вытащил кожаный мешочек, принесенный отцом Бернадино, и, громко звякнув золотыми монетами, небрежно бросил его на стол. Эрколе осклабился, показав в сочувственной и алчной улыбке желтые сломанные клыки, и помчался выполнять приказания. А Казанова в ожидании торговца одеждой преспокойно уселся за стол и стал писать письмо сенатору Брагадину. «Ключ Соломона», не говоря уже о других обстоятельствах, вынуждает «Вашего любящего и преданного Джакомо» немедленно выехать из Рима во Флоренцию, «где необычайная удача ждет меня», а потому, приводя многие равно неоспоримые доводы и высказав немало приятной лести в адрес всех в Венеции, «Духи повелевают», а «Ваш любящий Джакомо умоляет» сенатора Брагадина тотчас же выслать Казанове на флорентийский банк такую сумму, какую в состоянии дать.

Вот как получилось, что более или менее знаменитый Джакомо Казанова, намеревавшийся отбыть из Рима ночью через ворота Сан-Джованни, на самом деле выехал из города солнечным днем, в четыре часа пополудни, через ворота дель-Пополо — по Фламиниевой дороге, что ведет на север, а не по Аппиевой, ведущей на юг. Карета была старая, но прочная, удобная и достаточно устойчивая для путешествия по ухабистой, полной рытвин дороге. Да к тому же фореитор так весело взмахивал кнутом, так побратски ругал лошадей, а копыта их выстукивали такую веселую дробь, что и Казанове становилось веселее, хотя именно он такое настроение в них и вдохнул. Он с восхищением поглядывал на свои новые золотые пуговицы и кружевные манжеты. Вольный воздух путешествий после душно-однообразной жизни в Риме, веселые краски костюма после вороньей черноты сутаны преисполяли Казанову чувством, что он снова стал синьором, — а разве Казанова, говоря откровенно, не жаждал больше всего на свете наслаждаться привилегиями синьора, не считая, однако, нужным соблюдать связанные с этим ограничения и обязанности?

Словом, Казанова в преотличном настроении с грохотом мчался на север и, глядя назад, через пустынную Кампанью, всякий раз видел, как уменьшается вдаль купол Святого Петра. Но... всегда ведь есть «но», всегда

источник наслаждения несет с собой что-то неприятное. Думая об Анриетте и Джульетте — а мысли о них часто посещали Казанову, — он никак не мог выбросить из головы нелепое и унижительное сравнение: ему вспоминалась басня Эзопа, в которой собака бросает в реку кусок мяса, чтобы схватить увеличенное его отражение. «Красота таит обещание счастья» — да, конечно! Но счастье должно быть реальным, а не только обещанным. К тому же инстинкт самосохранения, столь хорошо развитый у Казановы, побуждал его как можно скорее выехать из папских владений, подальше от влияния донны Джульетты и Аквавивы, а также от мрачных римских сбиров, которые уж никак не способны посочувствовать влюбленному, спешащему на свидание. В этой достаточно реальной опасности Казанова пытался найти оправдание тому нетерпению, с каким он стремился попасть во Флоренцию. Ему ни разу не пришло в голову, что Анриетта в своей записке, возможно, давала понять, чтобы он не приезжал во Флоренцию до тридцатого, хотя он, конечно, подумал, что ее чрезвычайно лаконичное послание столь же двусмысленно, как предсказание оракулов.

Перед самой зарей Казанова добрался до последней почтовой станции перед Великим герцогством Тосканским. Всю ночь он то засыпал, то вдруг просыпался, чтобы заплатить за смену лошадей, его трясло и качало, а надежды сменялись страхами, и теперь Казанова (что было весьма для него характерно) чувствовал не столько усталость, сколько голод. Следовало решить, проявить ли осторожность и, чтобы избежать возможного мщения со стороны донны Джульетты, позавтракать в Тоскании или позавтракать немедленно тут, рискуя столкнуться с убийцами?

И, безусловно, только Казанова мог предпочесть удовлетворение аппетита соображениям осторожности и поставить завтрак выше личной безопасности. Но, как это нередко случалось с Казановой, он вскоре пожалел о своем необдуманном решении. Хозяин был мрачный и медлительный, и, когда завтрак наконец появился на столе, еда оказалась, к огорчению Казановы, хуже некуда. Тщетно он пытался с помощью своего знаменитого обаяния повлиять на сварливого хозяина — ничто не действовало и не принесло ни обычной любезности, ни приличной еды. Хозяин явно с первого взгляда возненавидел Казанову и бормотал что-то насчет того, что, если гостю тут не нравится, пусть платит и убирается вон.

— Эй, не так скоро! — Казанову начало раздражать его нахальство. — Прежде чем уплатить, я должен...

Он так и не закончил фразы, ибо в этот момент с верхнего этажа донесся поистине адский шум — там топали, с треском ломали мебель, хлопали дверьми, и все это — под мрачный аккомпанемент скрежетающихся шпаг и громкие проклятия на итальянском языке, то и дело перекрываемые руганью, которую сыпал густой бас по-латыни, по-немецки, по-венгерски.

— Это еще что за чертов грохот? — воскликнул Казанова, дернув за рукав хозяина, мрачно уставившегося в потолок.

— Полиция. Собираются арестовать венгра.

— За что?

— А мне откуда знать? — Хозяин передернул плечами. — Полиция имеет право войти в гостиницу в любой номер, чтобы проверить, не спит ли кто с женщиной...

— Что? И вы разрешаете подлым полицейским под таким предлогом врываться в комнаты синьоров? Ко всем чертям такое чистоплюйство!

Со шпагой в руке Казанова взлетел по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, и его глазам предстало весьма любопытное зрелище. Длинноусый венгр в одной рубашке, с большим шрамом через все лицо защищался от наступавших на него четырех папских полицейских. Но поразило Казанову и осталось в памяти то любопытное обстоятельство, что римские полицейские в волнении ругались *на венецианском диалекте*. Однако в тот момент у него не было времени раздумывать над этим: Казанова бросился на выручку венгру, видя, что того теснят и ему туго приходится.

Драка была отчаянная. Полицейские теснили венгра, и из его, по крайней мере, трех небольших, но мучительных ран текла кровь. Неожиданное подкрепление в виде высокого мужчины, вооруженного шпагой и выглядевшего, пожалуй, внушительнее, чем на самом деле, придало сил теснимому меньшинству и соответственно обескуражило нападающих. Первым же броском Казанове посчастливилось разоружить одного из полицейских и ранить другого ударом наотмашь по ноге. Венгр мгновенно воспользовался временной паникой в стане противника, проткнул одному из них плечо и, подкрепляемый Казановой, буквально спустил с черной лестницы всех четверых, и те со страшным грохотом

полетели вниз, сталкиваясь головами и задами, ломая сабли, перекручивая ножны, кляня на чем свет стоит всех святых и поливая бранью всех ближайших родственников.

— Domine! — произнес венгр по-латыни, вытирая рукавом пот и кровь с лица. — Ago tibi gratias. Homo es! *

— Sie sprengt **, — со смехом ответил Казанова и добавил опять-таки на латыни: — Как же это, черт подери, вы не говорите по-итальянски?

— Видите ли, сударь, — очень серьезно произнес офицер, — у нас в стране мы говорим между собой по-венгерски, а со слугами — на латыни. Мы вынуждены немного знать немецкий, чтобы нас могли понять эти проклятые австрийцы. Я и сам служу Ее Величеству Императрице Австрийской.

Этот монолог, произнесенный прерывисто, поскольку оба еще не отдышались после сражения, пришелся по душе Казанове. Ему сразу понравился этот странный тип, который в одной фразе проклинал австрийцев, а в другой выражал свою приверженность их правительнице.

— А что послужило причиной для нападения на вас? — задал вполне естественный вопрос Казанова.

— Откуда же мне знать? — Венгр с безразличным видом пожал плечами. — Я действительно везу депеши Ее Императорскому Величеству, но думаю, эти типы охотились скорее всего за моим товарищем. — Венгр внезапно умолк и хлопнул себя по лбу, как это делают люди, внезапно вспомнившие что-то очень важное, однако ускользнувшее из их памяти. — Кстати, вспомнил: надо немедленно перерезать ему глотку.

— Перерезать глотку?! — воскликнул Казанова, которого поразила и одновременно позабавила нелепость такого высказывания. — Как же так! После того, как вы спасли ему жизнь? Какой в том смысл?

— Сударь, — сказал венгр, — я полагаю, вы человек благородных кровей, судя по вашей одежде и по тому, что вы пришли мне на помощь против этих чумных сапайлс ***, но вы не солдат и, очевидно, не знакомы с кодексом чести, которого держатся те, кто носит форму Ее Величества. Тем не менее вы отлично дрались с этими сапайлс... А этот молодой безобразник, который

* Аминь... Превеликая тебе благодарность. Настоящий человек! (лат.)

** Надеюсь (лат.)

*** Мерзавцев (фр.)

сидит у себя в спальне, он опозорил свой мундир, не придя мне на помощь, как только услышал шум драки. Поэтому ему придется драться со мной.

— Возможно, он крепко спал и не слышал,— предположил Казанова не очень уверенно.

— Что за глупости! — воскликнул венгр.— Конечно же, слышал. Должен вам сказать, он сразу показался мне подозрительным, с той минуты, как мне дали странное поручение сопровождать его в Тоскану. Говорит он только по-французски, а это показывает, что он не верный подданный императрицы, да к тому же я в жизни не видал юнца с таким бабьим лицом. Так или иначе, это не причина, чтобы мне не перерезать ему глотку.

Казанове необыкновенно понравился этот эксцентричный вояка с его нелепым кодексом чести — он охотно пробыл бы с ним подольше; но если венгр перережет юноше горло, это несомненно повлечет за собой немалые для него осложнения по части закона. И видя, что венгр двинулся по коридору с явным намерением привести свою угрозу в исполнение, Казанова умудрился схватить его за руку и, изящно напомнив о маленькой услуге, которую только что ему оказал, попытался его остановить.

— Судя по тому, что вы говорите, ваш товарищ, видимо, совсем молоденький,— стал Казанова втолковывать венгру.— Наверное, только недавно вышел из-под опеки мамочки и сестричек и еще, должно быть, всего стесняется...

— Этот парень — самый бесстыжий человек, каких я когда-либо встречал,— запальчиво перебил его венгр.— Сударь, он наотрез отказался лечь со мной в одну постель, как заведено между товарищами, и решительно настаивал на том, чтобы иметь отдельную комнату, избалованный молокосос! В моем полку, синьор, мы часто спим по десять человек в одной постели, все в стельку пьяные, как положено офицерам и благородным господам.

— Бесспорно, бесспорно... прекрасный обычай,— умиротворяюще произнес Казанова.— Но вы же не собираетесь драться с ним в ночной рубашке, верно? Разрешите, я поговорю с ним, пока вы будете одеваться. Может, он извинится...

— Никаких извинений я не приму,— высокомерно заявил венгр.— Но вы совершенно правы. На утреннем воздухе голым ногам чертовски холодно. Я сейчас

оденусь, а потом приглашаю вас позавтракать со мной, после того как разделаюсь с этим...

И он презрительно повел рукой, указывая на дверь, за которой, как полагал Казанова, прятался напуганный молодой офицер. Удостоверившись, что это именно та дверь, какая нужна, и видя, что венгр благополучно удалился в свой номер, Казанова постучал, но отклика не последовало. Согласно полицейским правилам, висевшим в рамке и запрещающим недозволенные увеселения в спальнях, двери в этой гостинице были без замков. Не услышав отклика, Казанова толкнул дверь, но, вопреки его ожиданиям, она не открылась. Разведка, произведенная через замочную скважину, убедила его, что к двери были просто-напросто придвинуты стулья. Сильный удар широкого плеча с треском повалил их на пол, и Казанова влетел в комнату; молодой человек, лежавший в постели, вскрикнул и быстро нырнул под одеяло; оттуда раздался приглушенный голос, весьма решительно потребовавший на французском, ломаном итальянском и на чем-то вроде латыни, чтобы нарушитель спокойствия «убирался отсюда».

Казанова приставил к двери стул, чтобы хоть немного задержать венгра, если тот ринется в комнату, жаждая крови, затем подошел к кровати. Вспомнив, что юноша изъясняется по-французски, Казанова заговорил с ним как можно мягче на этом языке.

— Мсье, я пришел к вам как друг... чтобы развязать один сложный узел. Как могли вы оказаться таким трусом и предоставить своему коллеге-офицеру драться одному? Этому должно быть какое-то объяснение. Скажите мне, в чем дело, и я постараюсь умиротворить вашего товарища, а то он клянется, что перережет вам горло!

Ответа не последовало, только фигура, лежавшая в постели, еще больше сжалась, словно трусишка в панике пытался глубже зарыться под одеяло. Даже у Казановы, ненавидевшего браваду, такая безмерная трусость профессионального солдата вызвала раздражение — подобную трусость ни молодость, ни неопытность не могли извинить. Кипя от возмущения, он схватил своими сильными руками одеяло и мощным рывком дернул к изножью кровати...

Бесцеремонный поступок Казановы обнажил нагое тело молодой женщины, причем даже он, разбиравшийся в таких вещах, вынужден был признать, что редко видел

более привлекательное зрелище. Но, как ни странно для распутника его калибра, Казанова не смотрел оценивающим взглядом на крепкие груди, тонкие руки, округлые бедра и нежное тело с треугольником темных волос — он смотрел на лицо молодой женщины. Среди спутанных блестящих локонов перед ним было лицо, отражавшее целую гамму чувств, — лицо Анриетты...

Если Казанова не чувствовал себя идиотом, то, безусловно, выглядел таковым, уставясь с глупым видом на свою все еще таинственную любовь, которую он так неожиданно и так бесцеремонно обнажил. Если у него и родилась какая-то мысль, помимо всепоглощающего изумления и растерянности, — это была нелепая мысль о том, что в долгой и многообразной истории любовных отношений редко встречалась такая ситуация, чтобы мужчина держал бесчувственное тело своей любимой на руках и видел ее обнаженной, прежде чем они обменялись хотя бы словом... По счастью для Казановы, женщины редко чувствуют себя оскорбленными, когда мужчина из-за прекрасного пола ведет себя глупо, а Казанова продолжал стоять, уставясь на обнаженную Анриетту, словно деревенщина на ярмарке; тем временем Анриетта, оправившись от изумления, натянула на себя одеяло и спросила Казанову, как он посмел так оскорбить ее — ворваться к ней в спальню и стащить с нее одеяло?

На этот не вполне искренний вопрос можно было дать целый ряд ответов... К примеру, Анриетта прекрасно знала, что он вошел к ней в спальню, полагая, что там мужчина. А Казанова легко мог возразить, что явился к ней не для того, чтобы увидеть ее обнаженной, а чтобы спасти ее жизнь от вспыльчивого венгра. Он же сумел произнести лишь:

— Вы... вы же... Анриетта!

— Это что, дает вам право врывать ко мне в спальню?

— Я... да разве вы не узнаете меня? — взмолился Казанова, лишившись своего обычного нахального апломба. — Я же Джакомо Казанова...

— Казанова? — повторила Анриетта с таким наивным ехидством. — Я слышала это имя. Не тот ли вы молодой человек, который вынужден был покинуть Венецию из-за супруги некоего аристократа и...

— Вы ошибаетесь, — возразил Казанова, внутренне удивившись, каким, черт подери, образом она могла быть

так точно осведомлена.— Я тот Казанова, с которым вы познакомились в водах Большого канала и которого поманили вчера в Риме. И вот я тут, к вашим услугам!

— Теперь, когда мы представились друг другу, первой услугой, о которой я вас, синьор, попрошу, будет покинуть мою спальню, чтобы я могла встать. К сему добавлю... хочу верить, что в ваших же интересах, а также к вашей чести не раскрывать тайну моего пола, когда увидите меня в форме.

Казанова ударил себя по лбу, внезапно вспомнив о немаловажном обстоятельстве, про которое он успел забыть.

— Господи! — воскликнул он.— Я же совсем забыл о причине, которая побудила меня ворваться к вам...

— И что же это за причина?

— Да этот шпагоглотатель-венгр, драчливое животное,— с весьма озабоченным видом произнес Казанова,— собирается драться с вами...

— Драться со мной? Из-за чего?

— Потому что вы не пришли к нему на помощь во время его схватки с венецианцами... Кстати, а почему *они* пытались ворваться к вам?

В последних словах Казановы прозвучала ревность, что выглядело более чем забавно. Но Анриетта даже не заметила укоризненного тона, и Казанова с удивлением увидел, как глаза ее перестали смеяться, а раскрасневшиеся было щеки вдруг побледнели.

— Венецианцы?! Если это были венецианцы, то они хотели убить меня! Оставьте меня: мне надо немедленно одеться. Даже в Тоскане я не буду в безопасности от них...

— Но с какой стати мои соотечественники...

— Мсье Казанова, я знаю, о чем говорю. Пойдите и скажите этому дураку венгру, что мы немедленно выезжаем.

С этими словами она выскочила из постели, держа перед собой простыню, которая скорее приоткрывала ее, чем скрывала.

— Но, мадам! — воззвал к ней Казанова, считая не последним соображением немного оттянуть расставание.— Вы забыли, что венгр настроен серьезно, и не учитываете обязанностей, которые налагает на вас форма. Он преисполнен решимости драться на дуэли. Вы только послушайте!

Из соседней комнаты доносился топот ног и поток восклицаний: «Тьерсе, кварта, парируй, коли!», перемежа-

емых дикими выкриками: «Ха! Ха!» Венгр явно готовился, как и грозился, перерезать своему товарищу горло.

— Я же сказала, что он дурак! — Анриетта топнула голый ногой по полу. — Идите же, мсье, и передайте ему мое указание.

— Он, бесспорно, человек чести, — не без иронии заметил Казанова. — Он тотчас откажется от дуэли, как только узнает, что вы — дама.

— Вот этого ни он, ни кто-либо другой здесь не должен знать! Это должно оставаться тайной. Вы человек сообразительный, мсье Казанова. Сейчас же идите к нему, придумайте какое-нибудь оправдание, но проследите за тем, чтобы я немедленно уехала из этой смертельной ловушки...

Часто бывает так, что в критическую минуту поведение человека убеждает больше, чем слова. Анриетта, правда, сказала «смертельная ловушка», но Казанова привык к преувеличениям — особенно у женщин. Он не обратил бы внимания на просьбу Анриетты, сочтя ее всего лишь уловкой, хитростью с целью выдворить его из спальни, а себя избавить от ситуации, оскорбительной для женского целомудрия, если бы всем своим поведением она не дала ему почувствовать, что говорит вполне серьезно. Каким-то образом, по причинам, которые Казанове еще не дано было понять, Анриетта была явно убеждена, что ее жизнь в опасности, — правда, к такому выводу вполне можно было прийти после недавней драки с переодетыми венецианцами...

Мгновение Казанова помедлил — обольстителю в нем не хотел упускать такой возможности одержать быструю победу, — затем повернулся и направился к двери. Уже выходя, он краешком глаза увидел, как Анриетта натягивала на себя форму австрийского гусара, которую носила для маскировки. Но почему ей надо маскироваться? — недоумевал он.

Если Казанова на миг приостановился в коридоре, вместо того чтобы пройти напрямик к венгру, — кто может его за это винить? Хотя он был убежден, что жизнь Анриетты в опасности, да и его собственная тоже, — правда, это обстоятельство почему-то перестало его волновать, — столь многое произошло за эти полчаса, столько надо было всего наметить и осуществить, что Казанове необходимо было собраться с мыслями. Он не имел ни малейшего представления, что сказать дуэлянту-венгру, который все еще со свистом рассекал воздух

саблей у себя в комнате, топал и выкрикивал «ха». А кроме того, десяток вопросов относительно Анриетты жужжал в голове Казановы, вызывая раздражение. Почему она окружает себя тайной? Какого черта она делает на этой одинокой почтовой станции, переодетая солдатом, путешествуя с настоящим солдатом, опасаясь нападения со стороны головорезов-венцианцев? Не будь столь явным то, что тупица венгр даже и не подозревал в своем товарище женщины, Казанова был бы уверен, что Анриетта — его любовница. Сейчас же волны ревности накатывались на него при мысли о тех возможностях, которые предоставляет совместное путешествие, и о том, что венгр в любой момент может сделать открытие, и тогда «честь» армии мгновенно повелит ему осадить свое протезе нежелательными предложениями, а при случае даже и употребить силу. Ну а кроме всего прочего, что за игру ведет она с ним, Казановой? Зачем было назначать свидание «во Флоренции» — без указания точного места, но в определенный день, а самой раскатывать по дорогам Италии с этим нелепым венгром...

Венгр... Мысль о нем вернула Казанову к необходимости утихомирить глупца и каким-то образом отобрать у него Анриетту. Как же это осуществить? Казанова не имел об этом ни малейшего понятия, ибо всякий раз, когда он пытался что-то придумать, в голову лезли все прочие проблемы и непонятности, связанные с Анриеттой, а ум, который не может сосредоточиться, не способен ничего решить, это уж точно... Казанова машинально пересек коридор, постучал в дверь и вошел в комнату венгра, где ему предстало зрелище, наполнившее его чувством неприязни к этому нелепому и назойливому созданию рода человеческого, настойчивым желанием избавиться от него.

Верный военным идеалам, венгр надел парадную форму — Казанова увидел, что он капитан; мундир сверкал золотом и позвякивал медалями: венгр решил убить своего так называемого «товарища» с соблюдением всего церемониала. Держа в руке смертоносное оружие — саблю, он упражнялся в приемах поединка с таким спокойствием и достоинством, словно выступал перед Ее Величеством Императрицей. Увидев Казанову, капитан перестал наносить удары «противнику», упер кончик сабли в незастланный ковром пол и, приподняв брови, спросил:

— Ну-с?

— Что — ну-с?

— Он готов? А то я хочу завтракать.

Нелепость, если не сказать, оскорбительность этой фразы привела Казанову в отчаяние. Правда, он наверняка отнесся бы ко всему этому куда спокойнее, не будь тут замешана Анриетта, но при всех своих пороках Казанова не был задирой — его возмутил этот идиот-военный, который ставил «честь» выше здравого смысла, а человеческую жизнь ценил меньше собственного завтрака. Казанове как раз и не хватало злости, чтобы перестать витать в облаках.

— Сударь,— сказал он с наилюбезнейшим видом, подходя к венгру. — Дело улажено к чести обеих сторон. Лейтенант даже не просит вас извиниться и принимает ваши объяснения.

Венгр, наверное, не больше удивился бы, если бы сабля, на которую он опирался, вдруг превратилась в живого угря. Он покраснел, на его лице так комически смешались изумление и оскорбленное достоинство, что Казанова с трудом удержался от улыбки.

— Какого черта, сударь! — захлебываясь от ярости, воскликнул капитан. — Что вы, черт подери, хотите этим сказать? Вы меня оскорбляете, а я на все оскорбления отвечаю вот так, сударь, так! — И он взмахнул саблей, полагая, что выглядит необычайно грозно, тогда как на самом деле вид у него был препотешный.

— Сударь,— воззвал к нему Казанова, пустив в ход все свое обаяние, — я полагаю, вы хотя бы выслушаете того, кто совсем недавно имел честь драться на вашей стороне?..

При этих словах капитан торжественно наклонил голову, точно старый попугай.

— Вы мужчина умный и человек чести,— льстиво продолжал Казанова,— и вы, несомненно, понимаете, что только человеку, обладающему особыми заслугами, могли бы поручить столь важную миссию, как охрана принца, путешествующего инкогнито...

— Принца! — У капитана от изумления чуть не вылезли глаза из орбит. — Какого принца?

— О, Господи! — Казанова изобразил отчаяние. — Я сказал «принца»? Капитан, я полагаюсь на ваше великодушие и надеюсь, вы забудете о том, что я нарушил доверенную мне тайну, и ни единым намеком не дадите это понять самому принцу. Но факт остается фактом... и это по указанию самой императрицы он воздержался

от участия в драке, как и по ее указанию безопасность его особы была доверена одному из лучших фехтовальщиков в армии.

— Тысяча чертей! — воскликнул капитан, не приходя в себя от изумления. — А как же насчет депеш, которые я везу?

«Черт подери, — подумал Казанова, — как же я об этом не вспомнил!» Вслух же он сказал:

— Это тоже чрезвычайно важно, и я убежден, что благополучная их доставка вместе с благополучной доставкой принца обеспечит вам повышение...

— Повышение?! — Глаза у капитана загорелись, ибо, как все бедные офицеры, не имеющие могущественных друзей, он убедился, что повышения приходится долго ждать.

— Ш-ш! — Казанова приложил палец к его губам. — Сейчас не время для подробностей. Все объяснится позже. А пока жизнь принца в опасности — ему угрожают эти мошенники или еще какие-то. План таков. Я поеду с... мм... лейтенантом. Вы — следом на случай нападения. На границе разделимся: вы поедете прямо в Ливорно и будете ждать нас в гостинице. Если в течение трех дней вы ничего от нас не услышите, следуйте немедленно в штаб и докладывайте...

— Но... — с сомнением начал было венгр.

Казанова величественным жестом отбросил все возможные сомнения.

— Сударь! Разве время сейчас перебрасываться словами, когда жизнь принца в опасности? Он вытащил часы, сверил их с часами капитана и объявил, кладя конец всем дискуссиям: — Выезжаем через десять минут.

3

Казанова переминался с ноги на ногу, стоя у дверей почтовой станции и глядя на большой почтовый двор, в котором пара ленивых конюхов, следуя хорошо известному принципу «до завтра успеем», запрягала лошадей в две почтовые кареты. Казанова не пытался подгонять их согласно не менее известному принципу — с помощью чаевых. Наоборот: время от времени поглядывая исподтишка на часы, он пытался занять капитана нескончаемым потоком эротических анекдо-

тов, чтобы тот не замечал течения времени. А дело в том, что Анриетта опаздывала, хоть и была убеждена в грозившей ей опасности, — женщины всегда ведь опаздывают. Капитан же, как все профессиональные военные, был пунктуален до секунды и, естественно, рассчитывал, что молодой солдат будет так же пунктуален, хоть он и принц.

Казанова с тревогой наблюдал за капитаном, а тот становился все мрачнее и подозрительнее, но объяснялось ли это задержкой с отъездом, или же капитан внутренне разогревал себя, подводя к необходимости новой дуэли, Казанова не мог решить. Хоть бы она поспешила! Он все мысленно просчитал: в последнюю минуту дать хорошие чаевые конюхам капитана, чтобы те задержали его, а другие чаевые — собственному кучеру, чтобы тот гнал всюю и ушел от преследователя... А затем, когда Анриетта останется с ним наедине...

К его изумлению, Анриетта наотрез отказалась следовать его изящно придуманному плану. Казанове, правда, удалось посадить ее в свою карету, прежде чем она успела что-либо возразить. Крикнув через плечо капитану, что они непременно встретятся у пограничного таможенного поста, Казанова нетерпеливо бросил кучеру: «Трогай!» и уже готов был вскочить в карету и сесть рядом со своей таинственно переодетой дамой.

— Стойте! — воскликнула Анриетта столь решительно, что кучер придержал лошадей и оглянулся, чтобы проверить, не забыли ли чего важного.

— *Теперь-то* в чем дело? — спросил Казанова, сгорая от нетерпения, но стараясь соблюдать спокойствие и добродушие.

— Капитан.

— При чем тут капитан?

— Он должен ехать со мной.

— С вами?! — Казанова был потрясен. — Вы хотите сказать, что предпочитаете путешествовать с этим занудой вместо меня?

В его тоне звучала столь явная ревность, что Анриетта на секунду растерялась. Окинув взглядом двор, она увидела, что за ними наблюдает по крайней мере десяток бездельников, включая мрачного хозяина почтовой станции и капитана.

— Ради всего святого, не устраивайте здесь сцены, — взмолилась она. — Это может стоить нам жизни. Я объяс-

ню позже... на досуге... когда мы будем одни. Я должна быть уверена, что этот идиот благополучно доберется до Флоренции.

— Вы должны быть уверены в том, что он благополучно доберется до Флоренции?! — В голосе Казановы звучало сомнение, хотя он и обрадовался обещанию, прозвучавшему в ее словах: «когда мы будем одни». — Но это же он охраняет вас!

— Так он полагает, — сказала она, — но мозг операции — я. Он везет депеши куда более важные, чем думает этот тщеславный идиот, и опасно, если они попадут в руки не тех людей. Позвольте, я сяду в его карету.

— Мы подождем его у границы, — взмолился Казанова, — дайте мне по крайней мере доехать с вами до нее. Если вы так настаиваете, то пересядете там.

— Клянётесь вашей честью?

— Клянусь честью... и любовью.

Анриетта махнула кучеру, чтобы трогал, и подвинулась, чтобы Казанова мог сесть рядом. Памятуя о чаевых и желая честно заработать их, кучер так стремительно тронул с места, что Казанова чуть не вылетел на грязный почтовый двор. Только ловкость и сила спасли его от шумного и нелепого падения, а такого рода беды даже зарождающаяся любовь с трудом забывает. Благодаря судьбу за то, что он избежал падения, Казанова откинулся на стенку кареты, готовясь как можно лучше использовать свое первое настоящее *solitude á deux* * с Анриеттой. Он дважды спас ей жизнь — из ледяной воды канала и от вспыльчивого капитана, он нес ее на руках и видел обнаженной, пожертвовал ради нее другой женщиной и последовал за ней, стоило ей поманить, — за все это он, безусловно, достоин награды или, по крайней мере, обещания награды.

Именно сейчас в большей мере, чем когда-либо, для Казановы настало время пустить в ход свое знаменитое обаяние. Ведь он обещал Анриетте — правда, не без надежды, что обещание это можно будет спокойно нарушить, — что она поедет с капитаном после остановки на границе. А почтовая карета, покачиваясь и отчаянно подсакивая, уже ехала последнюю милю по дороге Папской области. Его и Анриетту то резко кидало друг к другу, то отбрасывало, когда одно из колес попадало

* Уединение вдвоем (фр.).

в рытвину и карета накреньялась. Словом, все было будто специально создано для старины Казановы — сколько угодно возможностей для флирта, галантных соприкосновений, смелых жестов. А он сидел неподвижно, как мешок с картошкой, не произнося ни слова и ничего не предпринимая. Сейчас, когда дело дошло до дела, когда появилась возможность сказать Анриетте хоть что-нибудь из всего того, что он думал ей сказать, задать хоть какие-то из сотен вопросов, которые намеревался ей задать, Казанова пребывал в полнейшем замешательстве — точно школьник, которого неожиданно представили первой танцовщице кордебалета, в которую он был давно влюблен. А ни одно человеческое чувство так не заразительно, как смущение. Не прошло и нескольких минут, как молодая женщина, обычно столь прекрасно владевшая собой, почувствовала не меньшую неловкость и скованность, чем ее воздыхатель.

Но такова уж женщина: еще немного — и Анриетта вполне могла бы рассердиться на обычно веселого Казанову за это величайшее доказательство его преданности. Ибо для Казановы вести себя так скромно и сконфужено в присутствии хорошенькой молодой женщины было чем-то новым. Но прежде чем Анриетта успела почувствовать досаду от этой трогательной *gaucherie* * прежде чем они оба пришли в себя от смущения и обменялись хотя бы десятком фраз, чрезмерно рьяный кучер уже примчал их к таможенному посту.

Казанова все еще надеялся, что ему удастся «потерять» капитана на границе, но, несмотря на чаевые, данные Казановой, карета капитана прибыла через пять минут после того, как они подъехали к пограничному посту и все еще препирались с угрюмыми, глупыми и подозрительными людьми, которых суверенные государства выбирают для встречи прибывающих и отбывающих чужеземцев. Казанове достаточно было взглянуть на лицо капитана, чтобы понять, какая грозит ему беда. Подобно большинству людей его типа, венгр способен был держать в голове только одну мысль. Теперь он уже не помышлял о дуэли. Наоборот, был преисполнен решимости не выпускать «принца» из виду и старался возможно более рьяно выполнять свои обязанности эскорта в надежде на запоздалое повышение. Казанова

* Неловкости, неуклюжести (фр.).

явно перестарался, придумав, как избежать дуэли. И теперь немало времени ушло на исполненные яда препирательства по поводу того, кто поедет с «лейтенантом», — спор решил сам «лейтенант», объявив, что намерен путешествовать один, а они могут ехать впереди или сзади, как им угодно.

Из-за различных задержек в пути, дождя, а главное, усталости они решили провести ночь в Сиене. К этому времени Казанова уже вполне овладел собой. Он понял, что своим поведением по отношению к «лейтенанту» рискует поставить под угрозу то, чего больше всего хотел избежать, а именно: рискует возбудить подозрение венгра, и тогда откроется, что «лейтенант», или «принц», — это женщина. Более того, Казанова понял, что если он хочет избавиться от венгра, то прежде всего следует рассеять унылую атмосферу недовольства и неловкости, которая установилась между ними тремя. Ничего не выйдет, если они всю дорогу будут сердиться друг на друга.

И как только они достигли гостиницы, Казанова принялся «растоплять лед». Он обеспечил себе благожелательность хозяина, сняв лучшие комнаты, заказав лучшее вино и дав денег на всякие излишества. Он наговорил комплиментов хозяйке, пошутил с поваром, ущипнул горничную за зад и вообще постарался быть всем как можно приятнее. Столь тонкая подготовка принесла свои плоды в виде превосходного ужина. Казарменные шутки на языке хоть и не совсем Цицерона вызвали лошадиный хохот венгра. Остроумная история и комплимент на французском — улыбку на губах Анриетты. Казанова смеялся, болтал, забавлял своих спутников, переводил им, льстил, пускал по кругу бутылку вина, излучал энергию, доброжелательность и обаяние молодого бога Диониса. После ужина у него хватило силы воли проиграть несколько дукатов венгру в карты, «лейтенант» же извинился и отправился спать. Несмотря на такое нудное окончание вечера, Казанова был доволен собой. Завтра они будут во Флоренции; завтра он избавится от капитана; завтра он будет наконец наедине с Анриеттой...

Настало завтра, и, как и прежде, Казанова с капитаном следовали в своей карете за каретой Анриетты. Во Флоренции, петляя по узким кривым улочкам, они вдруг потеряли ее из вида, а когда прибыли на постоялый двор, Казанова со злостью и огорчением увидел, что

Анриетта не вышла из кареты. Наоборот: она спокойно сидит в заляпанном грязью экипаже и ждет, пока сменят грязных и потных лошадей, что явно говорило о ее намерении ехать дальше.

— Вы только посмотрите!.. — воскликнул Казанова и вовремя спохватился, чуть не сказав: «Вы только посмотрите на нее».

— На что? — спросил венгр, озираясь? (Так делают люди, решившие, что они что-то упускают.)

Казанова не ответил. Он уже шагал через грязный постоялый двор к Анриетте, а она даже не заметила среди прибывающих и отбывающих карет, как приехали ее спутники.

— Что это значит? — в гневе спросил Казанова.

Голос его прозвучал так резко, что Анриетта вопросительно взглянула на него.

— Не понимаю...

Казанова презрительно рассмеялся.

— Мне совсем не трудно понять... что вы одурачили меня, мадам. Разве не здесь, во Флоренции, вы приказали мне встретиться с вами?

— Я же сказала — тридцатого. А сегодня только девятнадцатое...

— Разве дата так важна, мадам? — теряя терпение, спросил Казанова. — Вы, безусловно, могли бы...

И умолк, увидев направлявшегося к ним венгра, который осторожно ступал по вонючему двору, чтобы не запачкать свои начищенные военные сапоги. Анриетта, тоже заметив его, поспешно шепнула Казанове:

— Можете снять комнату, где мы могли бы пять минут побыть наедине? Скажите капитану, чтобы он подождал меня здесь.

Казанова повел Анриетту в гостиницу, и золотой мгновенно отпер им дверь отдельной комнаты. Как бывает с людьми в особенно напряженные минуты, Казанова, вроде бы всецело занятый Анриеттой, машинально подмечал все детали, и они навеки врезались в его память. Он заметил, что комната, хотя и с высоким потолком, была душной, значит, не проветривалась; что на потолке была изображена Аврора в своей колеснице, покидающая Титана; что портьеры из тяжелого бархата — пыльные, а мебель — старая и неудобная...

Не успела дверь закрыться за слугой, как Анриетта напустилась на Казанову:

— Почему вы такой нетерпеливый? Почему вы мне не верите?

Казанова даже несколько растерялся, ибо сам намеревался ринуться в атаку.

— А почему вы избегаете меня? Почему такая таинственность? — парировал он.

На секунду казалось, что Анриетта разразится в ответ гневом. Но она сдержалась и положила маленькую белую ручку на его локоть.

— Не будем ссориться — ведь мы впервые остались одни! Если бы вы поступили, как я сказала, и приехали сюда тридцатого, всех этих треволнений не было бы...

— Но вы же не говорили мне не приезжать до тридцатого! — воскликнул Казанова. — И признайтесь: ваши письма грешат краткостью! — Анриетта улыбнулась. — К тому же, если бы я тотчас не пустился в путь, эти мерзавцы на границе...

— Знаю, знаю, — сказала она. — И поверьте: я вам благодарна. Но вы относитесь ко мне с таким подозрением, точно я легкомысленная женщина. И с такой ревностью, точно я уже ваша жена...

Казанова схватил ее руку и поднес к губам.

— Но вы станете моей женой? Обещайте!

— Как же я могу дать вам такое обещание, когда мы с вами и двух слов не сказали? Разве вам недостаточно того, что я иду на риск — ах, куда больший, чем вы можете себе представить! — чтобы встретиться с вами, невзирая на то, что вы такой вероломный и легкомысленный человек...

— Но почему мы не можем избавиться от этого венгра и побыть здесь вместе?

— Потому что я должна ехать дальше.

— С капитаном?

— Ах, теперь вы снова меня ревнуете. — Анриетта улыбнулась. — Обещаю вам, что через час капитан расстанется со мной навсегда.

— Но вы-то почему должны ехать? — спросил Казанова. — Позвольте мне о вас позаботиться...

— Я выполняю поручение. — Анриетта подняла левую руку с письмом, на котором — к изумлению Казановы — стояла официальная гербовая печать Австрии.

— Мчитесь на встречу с бароном фон Шаумбургом? — спросил Казанова, внезапно вспомнив про этого малоприятного дипломата.

— Вот теперь вы уже оскорбляете меня... Мне пора ехать.

— Могу я поехать с вами?

— Нет.

— Почему нет?

— Я объясню это позже — возможно. Побудьте здесь до тридцатого. Если к этому времени я не вернусь во Флоренцию, то пришлю вам записку. А теперь мне пора...

— Но по чьему приказанию? — остановил ее Казанова. — Вашего отца? Вашего мужа?

— Я не замужем, и мой отец умер.

— Тогда, ради всего святого, по чьему же...

— Мы расстаемся ненадолго.

— Значит, я все-таки вам не безразличен?

Вместо ответа она вырвала свою руку из его рук и выбежала из комнаты, Казанова — за ней. Но такое уж было у него везение, что в этот момент компания господ в париках и с саблями вывалилась из соседней комнаты, где эти господа завтракали, и отрезала ему путь, а стройный офицер в форме тем временем быстро удалялся по коридору. В ту пору щепетильности попытка прорваться сквозь группу людей почти наверняка привела бы к дуэли; когда же Казанова добрался наконец до выхода из гостиницы, он увидел лишь, как забрызганная грязью почтовая карета, покачиваясь, выезжала на улицу из-под высокой арки постоянного двора. В третий раз Анриетта умудрилась ускользнуть от него!

4

Растерянный и озадаченный, Казанова стоял на пороге гостиницы, глядя во двор. Карет теперь стало меньше, чем утром, в гостинице устанавливался обычный дневной ритм жизни, конюхи и их помощники болтались без дела, обсуждая женщин и цены на овес, а двое, наиболее энергичных, принялись подметать двор и окатывать его водой из ведер. Забрызганная грязью карета Казановы продолжала стоять во дворе — на крыше ее все еще был привязан багаж, а пустые оглобли в отчаянии были вздеты к серому небу.

Казанову затопила обескураженность — словно с неба спустилась туча и его жизнь погрузилась во мрак. У него было такое чувство, будто все его предали; он был

беспомощен и растерян — подобное состояние часто нападает в тот или иной период жизни на человека, внезапно оказавшегося в едва знакомом городе, в одиночестве, без друзей. Особенно гнетет ощущение пустоты, которое наступает после ярких и волнительных действий, а именно такое происходило в жизни Казановы в последние три дня. Три дня! Он просто не мог поверить, что столь многое могло произойти за столь короткий срок!

Мрачному настроению Казановы, когда он стоял у гостиницы в то унылое утро, грозившее разразиться дождем, а карета уносила Анриетту и венгра все дальше от него, — куда? — способствовала и неведомая ему до толе смесь чувств. Отнюдь не впервые женщина перехитрила Казанову, но он впервые почувствовал себя бессильным перед волей женщины. Он вспыхнул при мысли, что все это время мчался к ней по первому ее зову и ни разу не посмел прибегнуть к своей испытанной методе. Сегодня утром, застигнув Анриетту врасплох, он мог сделать с ней все, что захотел бы, однако даже не дотронулся до нее. Если бы он поступил как мужчина и овладел ею, она сейчас бегала бы за ним, а не бежала бы от него с другим мужчиной — и притом каким! Казанова перебрал в уме все самые циничные афоризмы, связанные с женщинами, какие мог припомнить, и применил их к Анриетте, — утешение, которое он при этом получил, было сравнимо с тем, какое получает человек с больным зубом, дотрагиваясь до него. Казанова с удивлением обнаружил, что он больше не разделяет этих афоризмов и ему даже стыдно думать об Анриетте. Право же, с ним происходило нечто необычное, если ему в голову пришла мысль, что он недостойн какой-либо женщины.

Сколько простоял бы он так, предаваясь морализированию, трудно сказать, но начавшийся ливень прервал его сентиментальные размышления и заставил войти внутрь. Он вернулся в ту комнату, за которую заплатил, чтобы провести с Анриеттой несколько кратких минут не очень успешной и не удовлетворившей его беседы, но оставаться там почему-то не мог. Что-то было в ней не по душе ему, — возможно, старая мебель или, пожалуй, слегка затхлая атмосфера. Не может же быть, чтобы ему не сиделось там из-за призрака стройной женщины в нелепой военной форме, которая говорила ему: «Не будем ссориться — ведь мы впервые остались одни», и еще: «Вы относитесь ко мне с такой ревностью, точно я

уже ваша жена», и еще: «Побудьте здесь до тридцатого», и: «Я не замужем, и мой отец умер»...

Не в силах дольше оставаться в этой комнате, Казанова спустился вниз и, увидев хозяина, почти машинально попросил отвести ему другой номер и принести туда его багаж, чтобы вещи не мокли под дождем. Но комнату он попросил только на одну ночь: он еще не решил, ждать ли здесь до 30-го и посмотреть, что будет, или, подчиняясь голосу оскорбленного самолюбия, немедленно двинуться в Венецию. В Венеции, нашептывало ему самолюбие, сколько угодно хорошеньких девушек, которые охотно заставят забыть Анриетту, но отлично зная себя, Казанова понимал, что, хотя девушек он безусловно там найдет, он не найдет с ними забвения. Это препирательство с самим собой было бесцельно и глупо, и, не будь самолюбие Казановы оскорблено и не окружай Анриетту атмосфера таинственности, раздражавшая и одновременно заинтриговавшая Казанову, оно не возникло бы. Однако эта таинственность казалась ему интересной лишь до тех пор, пока она не вступала в противоречие с его планами, а это происходило, казалось, постоянно.

Ливень кончился, небо поднялось, и полосы солнечного света, прорвавшиеся сквозь тучи, осветили далекие Апеннины. Не в силах сидеть спокойно и почему-то не жажда навесить двух-трех персон, которых он знал во Флоренции, Казанова отправился в одиночестве побродить и, пройдя мимо собора, вышел к берегам Арно. Как ни странно, хотя Джан Гастоне, «последний из Медичи», умер, а его место на троне занял Франциск Лотарингский, Флоренция средних веков и эпохи Возрождения оставалась в целости. Еще более странным представляется то, что никого в мире это, казалось, не интересовало: путешественники осматривали лишь несколько древних построек и несколько картин, но они не видели города, который по своему интеллектуальному наполнению уступает лишь Афинам.

Казанова не являлся тут исключением. Даже если бы он не был всецело поглощен своей страстью к Анриетте, он все равно не обращал бы внимания на окружавшую его красоту. Однако, наверное, потому, что он был первый и последний раз за свою долгую эротическую карьеру по-настоящему влюблен, и на него снизошел миг озарения. Блуждая по городу, он остановился на одном из мостов и загляделся на простирившуюся перед

ним Арно, с изогнутой линией дворцов на одном берегу и задами старых домов на другом, а за ними — оливковые сады и кипарисы Сан-Миньято, где пели соловьи, тогда как у ног его текла нефритово-зеленая, заметно высохшая река, на поверхности которой появились сейчас первые желтые воронки от дождя. В этот миг искатель приключений забыл о себе и своих делах и подумал: со временем все это уйдет и тем не менее надолго переживет и его, и Анриетту...

Казанова ненавидел одиночество и мысли, которые оно навевало, считая, как почти все люди и почти во все времена, это явлением нездоровым. Он поспешил в сады Кашине, где было полно гуляющих, любовавшихся вереницей роскошных колясок и кабриолетов, в которых сидели дамы в бриллиантовых серьгах, с высоко взбитыми прическами и церемонно отвечали на поклоны синьоров в напудренных париках и парчовых жилетах. Казанова смотрел на представшее ему зрелище безразличным взглядом — настолько оно было ему знакомо: в конце-то концов такие гулянья происходили днем во всех больших итальянских городах, — нравилось же ему все это лишь тем, что это движение и болтовня, все эти сцены и эпизоды человеческой комедии занимали его, заслоняя вредные мысли о смерти, рожденные видом кладбищенских кипарисов.

Собственно, эта оживленная сцена исчезла бы из его памяти, как и многое другое, отвлекавшее от скуки, если бы не один эпизод, врезавшийся в его память на всю жизнь вместе с золочеными каретами, грациозно ступающими лошадьми, напыщенными кучерами в золотых парчовых цилиндрах, высокомерными лакеями на запятках, деревьями, все еще влажными и блестящими от дождя, и большими лиловыми облаками, клубившимися над далекой грядой гор. Вот только что он смотрел на все это с тусклым безразличием, продолжая размышлять, ехать ли ему в Венецию или остаться здесь и посмотреть, вернется ли Анриетта, а в следующую минуту он уже стоял, застыв, весь напрягшись, во власти противоречивых чувств — удивления, любопытства, страха, желания. Мимо Казановы медленно проехала коляска, в которой сидела лишь одна дама — прелестно одетая, красивая и надменная, она посмотрела прямо ему в лицо с таким выражением, словно хотела сказать: «Я знаю вас, и вы знаете меня, но я не собираюсь вас узнавать».

Этой женщиной была донна Джульетта.

Прошло, наверное, с полминуты, прежде чем Казанова сумел совладать со своими чувствами и обрел способность сдвинуться с места. Первым его инстинктивным движением было последовать за коляской, дабы узнать, что донна Джульетта делает во Флоренции, но из-за скопления народа быстро проложить себе путь ему не удавалось. Отказавшись от этой попытки, он сказал себе, что такая известная особа, как донна Джульетта, не может находиться во Флоренции без того, чтобы об этом не знали. Тем не менее он продолжал шагать в направлении своей гостиницы настолько быстро, насколько позволяла толпа, ибо должен был двигаться, чтобы разрядить внутреннее волнение.

Донна Джульетта во Флоренции! И так скоро! Вот уж этого Казанова меньше всего ожидал, о такой возможности он даже и не думал. И ему это совсем не нравилось. Не нравилось заподозрить — приходя постепенно к уверенности, — что у него отбирают инициативу в жизни, и отбирают именно те, кого он считал своей особой и сладостной добычей, — женщины. Что все-таки донна Джульетта делает во Флоренции? Их встреча — простое совпадение или она намеренно последовала за ним? Если да, то как она сумела добраться сюда так быстро и как узнала, куда надо ехать? В своем смятении Казанова забыл, что одну ночь провел со своими спутниками в Сиене, в то время как донна Джульетта могла провести ее в пути; забыл он и о том, что отец Бернадино видел его в таверне у Эрколе и что Эрколе, каким бы другом он ни был, мог все рассказать о нем под угрозой впасть в немилость у Аккавивов. Взбаламученной же совети Казанова внезапное появление донны Джульетты представлялось совершенно необъяснимым, таким неприятным сюрпризом. А пока, ускорив шаг, ибо улица, на которую он вышел, была не столь запружена колясками, Казанова с тревогой спрашивал себя: если донна Джульетта в самом деле последовала за ним, то с какими намерениями? Он достаточно хорошо знал характер римлян, которым свойственна жестокая мстительность, и понимал, что гнев такой женщины, как донна Джульетта, может оказаться роковым для него. Он решил, что надо быть очень осторожным.

Но разве осмотрительность может быть присуща такому вертопраху, как Казанова, вся жизнь которого

была подчинена бездумному следованию импульсам и потому полна авантюры? Во всяком случае, избранный им метод предосторожности был не очень разумным. Выяснив у брадобрея — а брадобреи ведь были предками журналистов, — что донна Джульетта приехала всего лишь с одной горничной и лакеем, которого Казанова видел на запятках ее коляски, а остановилась она в одном из дворцов близ церкви Санта-Кроче, Казанова заперся у себя в гостинице из боязни, что его могут убить или жестоко изувечить. Ему и в голову не пришло, что месть донны Джульетты — если она надувает ему мстить — может быть менее примитивной и более неспешной. А что, если она вовсе не пылает мстостью, но по-прежнему влюблена в несравненного, неотразимого Казанову и чахнет среди нудных графинь, жаждая лишь его поцелуев, которые вернут на ее лицо улыбку, а ей самой хорошее настроение?

Эта мысль пришла в голову Казанове после того, как он чуть ли не впал в меланхолию, просидев взаперти в своей комнате целых три дня и не видя никого, кроме горничной, слишком уродливой даже для него, да хозяйина, крестьянина из Валь-де'Эльза, не обладавшего грубоватым юмором и смекалкой флорентийца, а потому и не заслуживавшего внимания. Дело в том, что Казанова жаждал найти какой-нибудь предлог, чтобы выкинуть в окно всю эту предосторожность. Его решение просидеть в гостинице до 30-го, пока не вернется Анриетта, — если она вообще вернется, — значительно ослабло от невероятной скуки пребывания взаперти. Черт с ним со всем, не съест же его эта женщина, а прошло уже четыре дня с тех пор, как он расстался с Анриеттой, и он горел любопытством, желая узнать, каковы же *все-таки* чувства донны Джульетты и...

— Пришли-ка мне брадобрея и достань на сегодня ложу в оперу! — сказал он хозяину, явившемуся к нему с поклоном и немало возрадовавшемуся при виде того, что постоялец снова стал нормальным, особенно после того, как Казанова заказал к обеду бутылку французского вина...

В маленьком театрике, где в те дни давали примитивные оперные представления, был торжественный вечер: публика пришла послушать нового блистательного кастрата из Неаполя — во всяком случае, если у него достаточно сильный голос, способный перекрыть жужжание разговоров, которыми

тогда обычно встречали певцов. На спектакль ждали герцога, поэтому добыть место было «невозможно», пока Казанова невозмутимо не извлек из кармана общеизвестное лекарство от подобных *невозможностей*, уплатив двойную цену. И он об этом не жалел, стоя один в своей ложе, одетый во все лучшее, что у него имелось, с безукоризненным кружевным жабо и золотыми (или по крайней мере выглядевшими как золотые) пуговицами, и хладнокровно разглядывая публику в ненужный ему лорнет. Невзирая на свое самодовольство и апломб, Казанова не в силах был сдержать трепета — от чего? Одни сказали бы — от страха, другие — от волнения при виде донны Джульетты во фьокки (парадном вечернем платье) и бриллиантах, в сопровождении другой аристократки, каноника Санта-Кроче и какого-то молодого человека, который большую часть времени любовался пре красным солитером в своем кольце.

Казанова испытал еще больший трепет, когда этот молодой человек любезно подошел к нему в антракте и представившись кавалером Монтеспина, сказал:

— Донна Джульетта хотела бы видеть вас в своей ложе.

Казанова на секунду заколебался. Трепет, пронизавший его, словно удар молнии в ночи, предупреждал об опасности, и Казанова стал искать подходящий предлог, чтобы увильнуть от приглашения. Но что можно придумать? Что сказать? Ничего подходящего не приходило ему в голову, а молодой человек вежливо дожидался ответа с выражением благовоспитанного удивления: как может благородный синьор не поспешить на зов дамы? Делать нечего — пришлось поклониться и последовать за молодым человеком, а затем быть представленным друзьям донны Джульетты, принять участие в любезной беседе и постараться придумать правдоподобное объяснение своему пребыванию во Флоренции, а также сочинить не слишком вразумительный расказ о себе.

Казанова снова ощутил трепет при виде того, каким странным блеском вспыхнули глаза донны Джульетты, когда он вошел в ложу, — он не мог разгадать, какие чувства владели ею. Ненависть, подумал он, а может быть, страстное желание? Так или иначе, отчетливо помня ту сцену в Риме в его спальне, когда донна Джульетта готова была ему отдаться и полунагая лежала на кровати, а он, как сумасшедший, ринулся вон из комнаты, — как ей

казалось, безо всяких видимых причин, — Казанова задрожал, увидев сейчас огонь, вспыхнувший в ее глазах. А когда молодой человек, намекая на то, что Казанова не сразу согласился идти с ним, заметил, что синьор Казанова, должно быть, настоящий отшельник, избегающий даже друзей, донна Джульетта не замедлила сказать:

— У синьора Казановы странная манера неожиданно бросать своих лучших друзей. Манера необъяснимая и... непростительная.

И она усиленно замахала веером — совсем так, со страхом подумал Казанова, как машет хвостом тигр перед наступлением весны.

— Ах, синьора, — с сокрушенным видом сказал он, — в жизни человека случаются порой трагические события, которые побуждают его совершать, честно признаюсь, необъяснимые поступки, и эти поступки были бы непростительны, если бы тот, кто их совершал, не был глубоко несчастен и лишен возможности поступить иначе.

Донна Джульетта пожала плечами, как бы давая понять, что ее не интересуют его объяснения и она не желает ему верить, даже если и выслушивает их. Но когда вновь заиграла музыка и у Казановы появился предлог вернуться в свою ложу, донна Джульетта спросила:

— Вы долго пробудете во Флоренции, синьор Казанова?

— Сам еще не знаю, — с запинкой произнес Казанова, которого этот прямой вопрос при его нервном состоянии сразу выбил из колеи. — То есть... я думаю пробыть тут с неделю или немного больше.

— А-а. И вы здесь один?

— Совершенно один, синьора.

Она с безразличным видом отвернулась от него, помахивая веером, что-то сказала своей подруге и, когда он уже открывал дверь ложи, произнесла ему вслед:

— Я принимаю каждый вечер в восемь.

Казанова поклонился.

Направляясь к своей ложе по плохо освещенному коридору, Казанова сказал себе, что совершил серьезную ошибку, снова связавшись с «этой женщиной». Он повторил это еще раз, когда она любезно поклонилась ему среди толпившейся в ожидании своих карет публики, после того как спектакль закончился и кастрата с должным восторгом объявили дивным, несравненным,

величайшим певцом всех времен, а голос его — достойным Аполлона. И повторил это еще раз, когда уже готовился отойти ко сну. Ведь через неделю Анриетта вернется во Флоренцию. Теперь, когда у Казановы снова появилась возможность изменить ей, он почему-то был убежден, что она придет, хотя раньше, когда все мысли его были только о ней, он серьезно в этом сомневался. Теперь же никаких сомнений не было. Через неделю она вернется, решил он, ложась в постель, и они поженятся, и тогда... что же будет тогда? Никаких определенных планов на этот счет и никаких особых желаний у Казановы не возникало, кроме неопределенной фразы, завершающей, как в сказке, каждый роман: «И заживут они счастливо на веки веков». Во всяком случае, думал Казанова, уже засыпая, он ничем не связал себя с донной Джульеттой. Не пойдет он на ее вечерние приемы, больше не увидится с ней, останется верен Анриетте и будет ждать ее.

Во исполнение этого мудрого решения Казанова долго провалялся утром в постели, обильно позавтракал и провел вторую половину дня и начало вечера в тайном игорном доме, о котором слышал от своего друга брадобрея. За столом, где играли в фаро, дела его шли настолько успешно, что встревоженный хозяин отвел его в сторону и предложил сто золотых флорентийских флоринов, чтобы Казанова перестал играть, или процент от выигрышей, если он согласится каждый день в течение пяти часов держать банк. Окрыленный такой удачей, благодаря которой он неплохо наполнил свои пустые карманы, еще не отяжеленные вспомоществованием старика Брагадина, Казанова решил, что мир снова у его ног. Он даже не мог припомнить, почему с таким подозрением отнесся накануне к появлению донны Джульетты. Ну, право же, чего тут бояться? А вот Анриетта... что сказала бы она, если б узнала? И Казанова без труда, с величайшим презрением ответил сам себе на этот вопрос: если ты влюблен в одну женщину, это еще не причина, чтобы перестать замечать всех остальных...

Итак, он, конечно, отправился к донне Джульетте, и, если не считать нескольких первых минут смущения и приступов покаяния, когда он думал об Анриетте, время Казанова провел очень приятно. Донна Джульетта была очаровательна в роли хозяйки, переходя от гостя к гостю, весело поболтала с Казановой и представила его

хорошеньким флорентийкам, чей акцент позабавил Казанову не меньше, чем его акцент позабавил их. «Синьор Хасанова» называли они его, заменив букву «к» хриплым тосканским «х». Это послужило поводом для бесконечных милых шуток и тонких, шаловливых намеков с его стороны, высоко оцененных этими дамами со строгой моралью. Даже донна Джульетта присоединилась к ним, но Казанова старательно избегал использовать возможности, которые она ему предоставляла или, казалось, предоставляла. Он опасался, что если серьезно начнет ухаживать за ней, то либо будет так резко отчитан, что даже его это проймет, либо она напрямую спросит, почему он вдруг бросил ее и поступил так неблагородно в столь пикантный момент. А Казанова, несмотря на всю свою изобретательность и большой опыт по части околпачивания женщин, так и не мог придумать более или менее правдоподобного или хотя бы чуточку вероятного объяснения — разве что сказать правду, и были минуты, когда он, склоняясь над креслом Джульетты, глядя сверху на ее прелестные оголенные плечи и чуть приоткрытые изгибы груди, сомневался, может ли сам поверить тому, что произошло, и делает ли это ему честь. Словом, он не сумел придумать объяснения, которое могло бы польстить донне Джульетте или хотя бы не ранить ее самолюбие, а потому счел наилучшим избегать малейшего повода для обсуждения того эпизода.

А тем временем сердце и разум подсказывали Казанове, что он затеял глупую и опасную игру, к тому же противоречащую преданности Анриетте. Ну что бы он подумал о ней, если бы она так поступала? Прекрасно зная ответ, Казанова старался не задавать себе этого вопроса. Каждую ночь, возвращаясь в гостиницу, он давал себе слово, что больше не пойдет к донне Джульетте, и каждый вечер в определенный час отправлялся либо к ней на прием, либо в оперу.

От сенатора Брагадина прибыло письмо с поручением банку, и самый добрый из отцов едва ли мог быть более снисходительным и сочувствующим. Признавая, что пребывание в Риме было ошибкой, Брагадин не винил Казанову за то, что он не сумел там преуспеть, более того, безо всякой необходимости бедный старик взял на себя ответственность за то, в чем, безусловно, не был виноват. Он призывал Казанову немедленно вернуться в Венецию и в несколько туманных и общих выражениях,

но настоятельно предупреждал, что ему грозит серьезная опасность, которая в любой момент может стать роковой; «Ключ Соломона», с которым Брагадин умолял Джакомо немедленно посоветоваться, подтвердит это и посоветует, как вести себя дальше.

Тщательно спрятав во внутренний карман деньги, Казанова принялся небрежно рвать письмо бедняги сенатора. Однако постепенно движения его становились все медленнее и неувереннее, а потом он и вовсе замер с клочками письма в руке. Внезапно он вспомнил об одном обстоятельстве, на которое дотоле не обратил внимания. Как и подобает даме высшего света, донна Джульетта никогда не встречалась с ним наедине, около нее всегда были одна-две дамы и один или несколько непонятных титулованных господ, которых Казанова по недомыслию причислял к молодым бездельникам, вечно околачивающимся возле хорошеньких женщин. А как раз утром болтливый брадобрей сообщил ему — среди прочих фактов, сплетен и домыслов, — что трое из постоянных спутников донны Джульетты являются лучшими дуэлянтами в Тоскане. Ну и что? — неожиданно спросил себя Казанова. Ему-то какое до этого дело!

Он швырнул обрывки письма сенатора в корзину для мусора, передернул плечами и вернулся в гостиницу, чтобы переодеться к ужину и пойти в оперу. Он уже перестал брать себе ложу и неукоснительно появлялся в ложе маркизы, каковое обстоятельство свидетельствовало о том, что хотя он еще и не был причислен к ее окружению в качестве *cavalliere servente**, но находился на пути к тому. На сей раз он немного опоздал, и оркестр уже играл, когда он вошел в ложу и церемонно поднес руку маркизы к губам.

— Вы опоздали, — с укором сказала она таким тоном, как если бы имела право ему выговаривать.

— Лошадь, которая меня везла, поскользнулась и сломала дышло и себе ноги, бедняга, — небрежно произнес Казанова. — Мне пришлось идти пешком.

И он указал на свои белоснежные шелковые чулки, забрызганные грязью. Донна Джульетта приподняла брови и слетка помахала веером с таким видом, словно ей нет дела до мира, в котором могут случаться подобные неприятности. И, невзирая на раздраженное «Шш! Шш!»

* Верного рыцаря, послушного кавалера (*ит.*).

сидевших поблизости немногочисленных любителей музыки, принялась беседовать с Казановой.

— На завтра намечена экскурсия в Поджо-Кайяно, — сказала она, не обращая внимания на возмущенные возгласы. — Великий герцог дал разрешение. Я везу с собой несколько друзей, и мы устроим там в садах пикник. Вы мне понадобится, Казанова, чтобы принимать гостей и следить за лакеями...

Казанова с улыбкой поклонился и уже готов был дать традиционно вежливый ответ, как вдруг слова застряли у него в горле, а улыбка застыла, сменившись выражением ужаса, стыда и восторга, ибо он впервые заметил тех или, вернее, ту, что сидела в ложе на противоположной стороне маленького зрительного зала. Рядом с красивым молодым человеком, в котором Казанова мгновенно признал австрийского поверенного в делах в Тоскане, сидела прелестная молодая женщина, модно, но не экстравагантно одетая и в очень хороших бриллиантах.

Женщина эта была Анриетта, и, узнав ее, Казанова вспомнил, что число сегодня — тридцатое. Легко представить себе, какие разные чувства забушевали в Казанове — восторг при виде того, что Анриетта сдержала слово, возмущение собой за то, что он забыл о дате, стыд от того, что публично находился при другой женщине. Он, конечно, постарался это скрыть и с наигранной томностью и безразличием опустил на стул после того, как добрых полминуты пристально смотрел на Анриетту. Любой дурак заметил бы, что Казанову что-то заинтересовало и взволновало, и донна Джульетта при своем остром уме тут же заметила, на какую ложу он смотрел. В глазах ее вспыхнуло злорадство, но она тотчас снова приняла холодный и безразличный вид и прекратила разговор, словно бы решив послушать музыку и пение, а на самом деле, точно хищница, стала следить за Казановой, подмечая смену выражений на его подвижном лице с дьявольским умением разгадывать — не в пример хищнику — их смысл.

Казанова же бросил на нее взгляд-другой и, видя, что она сидит с внешне спокойным и безразличным видом, опрометчиво решил, что она ничего не заметила или, по крайней мере, не заметила ничего подозрительного. Он был действительно обеспокоен тем, что донна Джульетта и Анриетта могут встретиться, как и тем, что донна Джульетта может заподозрить, что он интересуется сидящей напротив молодой красавицей или хотя бы знаком с ней. Поэтому он сдержался и не выскочил

тотчас из ложи, несомненно проявив на сей раз куда больше выдержки, чем в своей спальне в Риме. Он стал ждать первого антракта, ждать с таким нетерпением, что опера показалась ему нескончаемой, а сменяющие друг друга картины представлялись с каждым разом все нуднее и длиннее. Как он проклинал речитативы и манерность тенора, которому, казалось, доставляло удовольствие задерживать действие, рисуясь перед публикой; трели и рулады сопрано; бесконечные дуэты и трио, а главным образом доводящий до бешенства восторг флорентийских меломанов, без конца вызывавших певцов и аплодировавших до тех пор, пока те не споют на «бис».

Но наступает такой момент, когда даже восторги итальянской публики выдыхаются и даже самая длинная опера подходит к концу. Занавес опустился, певцы откланялись, аплодисменты смолкли, но Казанова продолжал держать себя в руках. Наконец он томно, с безразличным, как он надеялся, видом поднялся со своего места, объявив, что хочет поразмять ноги, и попросил у донны Джульетты разрешения покинуть ее — с намерением не возвращаться и никогда больше ее не видеть. Он решил послать записку Анриетте и сказать, что ждал ее, но обстоятельства помешали ему прийти к ней в ложу.

Казанова мысленно уже составлял текст записки, а потому чуть не пропустил мимо ушей слова донны Джульетты:

— Я предпочитаю, чтобы сегодня вечером вы были со мной, дон Джакомо.

Эта фраза все-таки дошла до сознания Казановы — он вздрогнул и покраснел. Ложа в театре была подобна гостиной, где дама-хозяйка имела полное право приказывать своим приглашенным. Однако на практике подобная тирания — а именно так следовало рассматривать слова донны Джульетты — не применялась, разве что чичисбея начнут поклевывать слишком много куриц.

— Синьора? — в голосе Казановы звучало явное удивление.

— Я сказала, что вы будете нужны мне сегодня вечером... весь вечер... мне надо дать вам сотню указаний насчет завтрашнего дня. Словом, прошу вас сесть, синьор.

— Сударыня, — сказал Казанова, вежливо поклонившись, — я полностью признаю за вами право ожидать повиновения от всех своих покорных слуг, но в данном

случае прошу позволения передать вас заботам графа Джузеппе и...

— Граф полностью разделяет мое мнение, что вам следует остаться, как я прошу, — резко произнесла донна Джульетта.

— Но, право же, донна Джульетта, это уже выходит за рамки шутки, — запротестовал Казанова. — Не можете же вы считать...

— Я считаю, что вы должны сесть и быть тут, пока я не разрешу вам уйти, — высокомерно заявила донна Джульетта.

Казанова с не меньшим высокомерием выпрямился и, несмотря на ее властный тон и повелительный блеск в глазах, повернулся, чтобы уйти... и очутился лицом к лицу с графом, который поднялся с места и стоял теперь, скрестив руки на груди, прислонясь к двери. Казанова мгновенно понял, что попал в западню, которую наверняка давно уже заготовили для него донна Джульетта и граф и которая теперь по заранее условленному сигналу захлопнулась. Он в нерешительности перевел взгляд с бесстрастного лица графа на донну Джульетту, сидевшую с ехидной усмешкой. Попытайся он пройти мимо графа или попроси его отойти от двери, сделай Казанова хоть шаг вперед — ему пришлось бы принять вызов, от которого он не мог бы отказаться, а это наверняка кончилось бы для него роковым образом. Ибо граф, как всего лишь утром узнал от болтливого брадоброя Казанова, был самым опасным из трех дуэлянтов, сопровождавших донну Джульетту.

А донна Джульетта и не подозревала, что Анриетта была той женщиной, из-за которой Казанова так беспардонно и жестоко обошелся с ней в Риме, но она почувствовала, что между Казановой и дамой, сидевшей в ложе напротив, что-то есть. Знай она всю правду, она могла бы подстрекнуть графа оскорбить Казанову, и дело кончилось бы тем, что Казанове перерезали бы горло. Она, несомненно, так и собиралась со временем поступить, а пока забавлялась, мучая того, кем одно время увлекалась. Казанова, во всяком случае, частично догадывался о ее намерениях и постарался, не бунтуя, подчиниться, но улыбка на его бледном встревоженном лице, когда он поклонился и снова сел, была кривая. Ситуация складывалась прескверная — такого он не предвидел и готов был

дать себе хорошего пинка за легкомыслие и слепое тщеславие, которые позволили женщине заловить его в западню.

Что же делать? Он твердил себе, что надо сохранять спокойствие и тогда появится спасительная идея, но никакая идея в голову не приходила. Минутами у него возникало желание показать себя героем, не терпелось оскорбить графа и донну Джульетту, принять вызов, затем кинуться к Анриетте и бежать с ней... Какой смысл спрашивать себя — куда, ибо, во-первых, он не был уверен, что она поедет с ним, а во-вторых, он прекрасно понимал, что если даст графу повод вызвать себя на дуэль, она состоится немедленно, при свете факелов, где-нибудь за садами Боболи, а поскольку граф в отличие от Казановы привык к такого рода ночным похождениям, то можно не сомневаться в скором переходе синьора Казановы в мир иной.

Словом, ничего не оставалось, как сидеть и улыбаться, и ненавидеть донну Джульетту, и возносить мольбы к небу, чтобы Анриетта не заметила его. Но она, конечно, заметила — он прекрасно знал, что она увидела его до того, как он увидел ее, и, покраснев от огорчения, наблюдал, как она неотрывно смотрит на него, нимало не отвлекаясь публикой, залюбившейся во время антракта, и не уделяя ни малейшего внимания словам своего спутника. Больше же всего Казанову бесило — да и делало его положение нелепым — то, что донна Джульетта разыгрывала комедию, будто они в наилучших отношениях, и она даже слегка флиртовала, тогда как на самом деле всячески колола его своим злым язычком и изничтожала мстительными взглядами.

— Синьор Казанова такой переменчивый, — заметила она, взглянув поверх головы Казановы на графа, — никогда подолгу не бывает верен ни друзьям, ни любовницам. Верно, мой принц из сказки?

И она склонилась к нему, так что голова ее почти коснулась его плеча, а рука не без издевки ласково похлопала его по локтю.

— Вы слишком суровы, маркиза, — проямлил Казанова.

— Сурова? О, нет! — Ее смех прозвучал так задорно, что перешептыванья прекратились, а взгляды обратились на столь открыто флиртовавшую пару. — Я была

слишком милостива в свое время. Стоит лишь пожалеть, что я одарила своей милостью подлеца.

И хотя глаза ее метнули молнии, внешне она так к нему ласкалась, что со стороны могло показаться — влюбленная дурочка настолько потеряла голову, что готова объявить всему свету о своем пристрастии.

— Это происходило явно до нашего с вами знакомства, донна Джульетта, — сказал Казанова, уязвленный употребленным ею словом и не найдя ничего лучшего в ответ. — Среди римской аристократии есть и сомнительные личности.

— Откуда вам это известно? — презрительно бросила она. — Разве что по наслышке. А вот мне доподлинно известно, что вас не приглашали ни в один дом, кроме дома Аквавивы.

— Их-то я как раз и имел в виду, — парировал он, любезно улыбаясь и ненавидя себя за это, ибо Анриетта наверняка все видит, хоть он и старается на нее не смотреть.

Донну Джульетту передернуло: удар, нанесенный ее родственникам, которыми она невероятно гордилась, привел ее в такое возмущение, что она готова была ринуться на Казанову с кинжалом.

— Не вам знать об этом, — в ярости зашипела она. — Вы многого не знаете. В том числе и того, что Аквавива никогда не оставляет оскорбления неотмщенным.

— Аквавива? — Казанова приподнял брови. — Я и не знал, что вы связаны с этим семейством какими-либо узами, если не считать...

Слово «незаконных» он проглотил, сделав вид, будто закашлялся, и тут почему-то в разговор вмешался граф:

— Донна Джульетта — родственница Аквавивов в четвертом колене.

— Как интересно, — не без издевки сказал Казанова и вдруг переменял тон. — Но почему мы говорим все это друг другу? — обратился он к маркизе. — Такое впечатление, будто мы репетируем злую комедию.

— Для меня это не комедия, уверяю вас, — сказала маркиза невольно более мягким тоном.

— Послушайте, я знаю, что вы сердиты, — произнес Казанова своим самым чарующим голосом, включая на полную мощность свое знаменитое обаяние, — и, признаю, вы имеете к тому все основания. Великий Боже, сударыня, если бы я не знал, что существуют самые серьезные причины, поводы, объяснения того поступка,

который так оскорбил вас, — повторяю, если бы я не знал этого, то склонен был бы от отчаяния покончить жизнь самоубийством.

— Какие же это причины и объяснения? — невольно вырвалось у донны Джульетты, хотя она и решила про себя не слушать доводов этого самого убедительного из лгунов, умевшего заставить женщину поверить, что черное есть белое. — Они должны быть действительно неоспоримы, чтобы убедить меня.

Но вместо того чтобы снова издевательски приластать Казанову, отчего по телу его пробегала дрожь, словно он видел, как она кладет розы у его разверстой могилы, донна Джульетта откинулась на спинку кресла и насупилась, бросая на него пронзительные взгляды. Казанова пожал плечами — он уже снова овладел собой.

— Ах, маркиза, и вы спрашиваете меня об этом здесь, в театре, в присутствии графа, беспристрастного и невольного свидетеля, хоть он и близкий наш друг?

— Граф ничего не знает о нашей ссоре и ее причине, — перебила она его, и Казанова, с каждой минутой все больше успокаиваясь и овладевая собой, заметил, как затрепетали ее ноздри, а прелестные груди вздымались и опускались от прилива чувств. — Говорить об этом — смерти подобно.

Казанова поклонился.

— Об этом никто никогда не будет знать, кроме меня, — торжественно заявил он. — Клянусь. Но коль скоро живу я лишь затем, чтобы обелить себя в ваших глазах...

— Это невозможно, — прервала она его. — Ничто не может объяснить такого...

— Такой беды, — с обезоруживающей улыбкой закончил за нее Казанова, в свою очередь нежно склоняясь к ней. — Да, — продолжал он, — самой ужасной из бед... — Он неожиданно умолк, уставясь на ее левую руку, и на лице его появилось выражение возмущения.

— Что такое? — спросила маркиза, искренне удивленная и несколько обеспокоенная. — На что вы так оставились?

— Это кольцо! — хриплым голосом произнес Казанова, указывая на кольцо. — Этот рубин на вашем среднем пальце. Быть не может... Нет, это оно. О, вероломный, это кольцо я подарил Марко Вальери, самому близкому мне человеку, а он отдал вам это кольцо, которое поклялся вечно хранить в память о нашей дружбе. Ах, человеческая природа!..

— Вы ошибаетесь, — сказала донна Джульетта, снимая с пальца кольцо. — Это старинная драгоценность нашей семьи, уверяю вас.

— Разрешите взглянуть?

Казанова взял у нее кольцо и, поднявшись со стула, поднес к канделябру со свечами, висевшему возле ложи.

— Вы правы! — пылко воскликнул он. — Слава Богу, это не мое кольцо, но...

От волнения руки у него так дрожали, что кольцо выскользнуло из пальцев, и, пытаясь его схватить, он взмахом руки сбросил кольцо через барьер ложи вниз, где оно и упало в партере среди толпы.

— Вот неловкий болван! — воскликнул Казанова. — Но не волнуйтесь. Я сейчас вам его достану.

И прежде чем изумленная маркиза и не менее изумленный граф успели хотя бы пальцем шевельнуть, Казанова одним прыжком подскочил к двери, распахнул ее, захлопнул за собой и кинулся по коридору к лестнице. За считанные секунды, пока граф пытался открыть дверь ложи, Казанова проложил себе путь сквозь стоявшую группами публику, сбежал вниз по лестнице и выскочил на улицу — помогло Казанове то, что его бегство совпало с окончанием антракта: раздался звонок, и все, кто находился в фойе, заспешили к своим местам, отрезав графу всякую возможность нагнать его.

5

Казанова придерживался убеждения, которое, однако, старательно хранил в глубине души, а именно: что друзья из простонародья не только искреннее высокопоставленных особ, но порой и намного полезнее. Так, у него было немало добрых друзей среди содержателей римских таверн, и, следуя своему убеждению, — скорее из искренней симпатии, чем из низменного расчета, — он подружился с флорентийским брадобреем Чино, чью фамилию, если таковая у него и была, Казанова не потрудился узнать.

Сейчас, очутившись без шляпы и плаща на темных грязных улицах Флоренции, где с далеких снежных Апеннин дул холодный ветер; оставив позади сварливую особу и дуэлянта и предвкушая встречу с несом-

ненно озадаченной, по всей вероятности, оскорбленной и скорее всего навеки утраченной возлюбленной, Казанова оказался в чертовски трудной ситуации, когда человеку остро необходим друг. Дрожь пробежала по его телу, когда он ногой в бальной туфле случайно попал в лужу, а от порыва ветра, налетевшего из-за угла большого каменного дворца, сразу застыл. Друг, друг, где ты?! Где Марко? Где Брагадин? Где... Он мог бы назвать десяток добрых людей, но все они, к несчастью, находились не в одной сотне миль от Флоренции... И тот самый ветер, что так резок и грозен даже для здоровых легких, едва не сорвав с него парик, который тут же полетел бы в вонючую канаву, натолкнул Казанову на мысль о Чино.

Человек, привыкший добиваться успеха в своих деяниях, действует незамедлительно, когда ему приходит в голову хорошая мысль. Вот и Казанова, не обращая внимания на лужи и холодный ветер, как говорится, взял ноги в руки и, шлепая по воде, спотыкаясь и ругаясь, стал поспешно пробираться по мокрым древним улицам, пока не вышел в проулок, на углу которого Чино занимался своим ремеслом среди медных тазиков для бритья, под аккомпанемент гитар и бесконечных сплетен о Флоренции. Чино вздрогнул от удивления, когда Казанова ворвался в его теплый закуток, принеся с собой дыхание холодного воздуха и оживление человека, проделавшего путь под открытым небом.

— Синьор Казанова! Что привело вас ко мне в такой спешке?

— Необходимость в твоём совете и помощи. Задняя комната твоя свободна?

Несмотря на позднее время, Чино все еще работал — завивал парик для одного адвоката, которому он спешно требовался. Господу Богу известно, что честному человеку не следует обижать законников, тем не менее Чино без единого вздоха отложил работу и сквозь занавеску из бусинок проследовал за своим нетерпеливым другом в крошечную комнатушку, где он жил, ел, спал и составлял мази, пудры и духи, необходимые для его ремесла.

— Ты должен помочь мне заполучить ее, — сказал Казанова. — Если я ее потеряю, я перережу себе горло.

Итальянские брадобреи редко бывают циниками, как и их коллеги по ремеслу в других странах, — эти безгра-

ничные сплетники не могут не жалеть и не любить род человеческий, который доставляет им столько развлечений. И Казанова, воззвав к сентиментальности брадобрея и его преувеличенно развитому чувству драматического, инстинктивно затронул нужную струну. Чино опустился в кресло и развел руками.

— Расскажите мне все по порядку,— от широты души предложил он: вот будет развлечение для клиентов на целую неделю!

— Все по порядку? — Казанова торжественно покачал головой.— Дорогой друг, на это у нас уйдет вся ночь, а мы должны действовать, действовать и действовать разумно. Сегодня вечером я был одновременно трусом и храбрецом, идиотом и мудрецом, предателем и человеком, бесконечно преданным. Сегодня вечером дама, которую я люблю, из своей ложи видела, как я — круглый идиот — флиртовал, или могло показаться, что флиртовал, с дамой, которую я не люблю.

— Пер Вассо! * — произнес Чино, вытаращив глаза.

— Если я вернусь сейчас в оперу,— в общем, если я не скроюсь с людских глаз,— моя жизнь в опасности! Для начала я должен послать своей любимой записку, а затем должен узнать, где она остановилась...

— Вот черт,— сказал Чино.— Быстро же вы работаете, синьор мио!

— Затем мне необходимо прибежище, а завтра я должен видеть ее. Все это ты должен немедленно для меня устроить.

— Я?

— Безусловно. Ты самый умный человек во Флоренции, потому я и пришел к тебе. А кроме того... — И Казанова большим и двумя пальцами правой руки сделал быстрый и красноречивый жест, который в Италии означает «деньги». Этот довод и решил все дело.

— Я могу найти вам прекрасно обставленную квартиру на виа деи-Барди... и перевести туда ваш багаж из гостиницы. Там вам будет спокойно, к тому же Ваше Превосходительство сможет поплевать в Арно с балкона своего салона.

— Прелестное утешение для влюбленного! — в нетерпении воскликнул Казанова.— А сейчас дай-ка я напишу записку, которую ты доставишь и...

* Клянусь Вакхом! (ит.)

Но Чино так усиленно замотал головой, что Казанова умолк и вопросительно посмотрел на него.

— Во-первых, Ваше Превосходительство,— сказал Чино, старательно титуловавший теперь Казанову после того, как ему обещали вознаграждение,— я не могу доставлять любовные письма даже для друга и человека благородного. Это нанесет урон моей чести, и соседи станут называть меня Чино-сводник. А во-вторых, записки ведут к разговорам, а в этой истории слышится звон разгневанных шпаг...

— Значит, ты отказываешься мне помочь?! — с негодованием воскликнул Казанова.

— Никоим образом. Скажите мне, что вы хотите передать даме, и я буду послем Вашего Превосходительства...

Казанова поморгал, уставился на своего собеседника и расхохотался, а через минуту два мерзавца, склонив друг к другу головы, уже плели нити сговора.

Ну, а Анриетта просидела до конца оперы в полной неуверенности и великом огорчении, не зная, что и думать, надеяться или страшиться. Она решила устроить сюрприз Казанове, рассчитывая, как ребенок, что весь обещанный день 30-го он сгорал от нетерпения и теперь, увидев ее в ложе, тут же к ней прибежит. Трудно, пожалуй, представить себе большее разочарование, чем то, которое испытывает человек, долго замышлявший «сюрприз» любимому и обнаруживший, что все пошло не так. Поэтому настроение у Анриетты было подавленное, когда она, печально пожелав спокойной ночи своему вежливо поклонившемуся спутнику, медленно поднялась по плохо освещенной лестнице старого дворца на этаж, который на это время сняла для себя. Она была настолько погружена в свои мрачные и, наверное, гневные мысли, что лишь восклицание камеристки заставило ее поднять глаза, и она увидела мужчину, явно прятавшегося в тени, а теперь низко ей поклонившегося.

— Это еще что такое? — воскликнула Анриетта.— Что вам тут угодно?

— Всего лишь сказать вам одно слово, прелестная синьорина,— произнес злополучный Чино чересчур уже елейным голосом, снова взмахнув шляпой и склонившись в поклоне, который он наострил сделать, выступая в любительских спектаклях.

Анриетта нахмурилась: ей подумалось, что этот позер, надушенный так, что дышать невозможно, какой-

нибудь флорентийский фат, увидевший ее в опере и задумавший одержать над ней победу.

— Разрешите мне пройти, синьор, — сказала она. — И никогда больше со мной не заговаривайте!

Ее гнев и резкий тон заставили съжаться бедного Чино, но он тотчас призвал на помощь присущее его ремеслу нахальство и вместо того, чтобы отступить, шагнул к даме и прошептал:

— У меня есть пароль, который заставит вас, синьора, передумать. Этот пароль — Джакомо.

— Джакомо?! — Анриетта вздрогнула и остановилась в нерешительности. — Если вы говорите о том, кого я имею в виду, то почему же он сам сюда не пришел?

— Ах, милостивая синьорина, он был бы здесь, если бы не находился в опасности...

— В опасности?! — Анриетта побледнела. — Его арестовали? Он попал в засаду?

Теперь уже Чино вздрогнул: он ведь не имел ни малейшего представления о том, что подразумевала прекрасная синьора, а Джакомо — клянусь Вакхом! — сказал себе Чино, разбирается в хорошеньких женщинах.

— Уделите мне несколько минут, — попросил он, — всего лишь несколько минут, и я объясню вам, с какой опасностью и проблемой столкнулся синьор Казанова. Он сам просил, чтобы вы меня выслушали.

Анриетта, пройдя мимо него, постучала во входную дверь своих апартаментов и велела открывшему ей слуге провести господина в салон, затем, повернувшись к Чино, сказала, что выйдет к нему через несколько минут. Чино же, которому до сих пор очень нравилась эта авантюра, как раз в этот момент начал сожалеть, что ввязался в нее. В апартаментах Анриетты не было ничего примечательного — уже тогда старые дворцы часто разгораживали на квартиры и сдавали внаем, и Чино, будучи разъезжим брадобреем, нередко бывал в них. Смутила же его и побудила забыть то, что так тщательно толковывал ему Казанова, сама Анриетта, ее искренность и глубина ее натуры. Успев оценить Казанову и почувствовав с ним сродство, Чино ожидал увидеть распутницу, а встретился с женщиной, предназначенной стать женой.

Невзирая на хладнокровие, каким Чино часто хвастался Казанове, мысли его были в таком смятении, что, когда Анриетта поспешно вошла в комнату, он не знал, что говорить. Она сняла шляпу и плащ, а также

бриллианты, но была по-прежнему в вечернем туалете, в каком ездил в оперу.

— Вот теперь, сударь, — сказала она с достоинством, садясь в кресло, — я готова слушать вас.

Описывая впоследствии свои переживания, — а он часто этим занимался, выкладывая все любому клиенту, который сидел намыленный, всецело в его власти, с приставленной к горлу бритвой, — Чино говорил, что на какой-то момент совсем растерялся, так что «лишился и памяти, и дара речи». Судя по всему, и то и другое «разом» вернулось к Чино, как только он очень к месту вспомнил, что будущее счастье этого прелестного создания и «моего высокого друга кавалера Казановы» зависело от того, насколько он, Чино, владеет головой. Ну разве флорентиец и брадобрей может признаться миру, что он смутился и потерял дар речи?

— Мадам, — сказал он, выбросив вперед правую ногу, чтобы сделать поклон, — я буду краток. Синьор Казанова ждал Ваше Превосходительство целый день и был введен в заблуждение посланием...

— От кого? — прервала его Анриетта.

— От... право, не знаю, от кого... я ведь наспех узнал обо всем этом... но... словом, он отправился в оперу и оказался в ложе своего врага!

— Врага? Той дамы, которую я видела? У меня было впечатление, что они в наилучших отношениях.

— Возможно, так оно и было, синьора, но сейчас все обстоит так, как я сказал. Далее: когда синьор Казанова так неожиданно увидел вас, он тотчас, как вы, наверное, видели, поднялся с намерением присоединиться к вам...

— Я действительно видела, что он сделал такое движение, — сказала Анриетта, — но почему же он не пришел?

— Ах! — воскликнул Чино, воодушевляясь. — Все из-за дьявольской изобретательности этой змеи, этой дьяволицы, этой врагини нашего достойного Казановы! В ложе с ней был самый наилучший дуэлянт Тосканы, и синьору Казанове сразу стало ясно, что дама подстроит между ними дуэль, в которой его наверняка убьют. Поэтому ему необходимо было притворяться, и только благодаря одному ловкому трюку удалось избежать расставленной западни!

— Очень странная история, сударь, — сказала Анриетта, глядя в упор на Чино, — и, должна признаться, я ничего не понимаю. Что-то вы тут темните...

— Ах, мадам,— быстро перебил ее Чино,— что было, то прошло, а настоящее и будущее куда важнее и интереснее! Все непонятное может быть объяснено потом моим превосходным другом, который знает все подробности, тогда как я знаю эту историю лишь в общих чертах. Мы вот с вами здесь рассуждаем, а жизнь синьора Казановы находится в опасности и...

— В опасности! — Анриетта снова побледнела.

— Безусловно, и ему требуется ваша помощь — вернее, я сказал бы, он умоляет о ней, чтобы избежать опасности и спасти свою честь.

— Моя?! Но чем же я могу?.. — начала Анриетта.

— Время не терпит,— напирал Чино,— сами понимаете, Казанове надо немедленно переменить адрес, чтобы не получить вызова на дуэль, и в то же время оставаться во Флоренции, чтобы он всегда мог сказать, что не уезжал из нее и не избегал дуэли.

— Но,— возразила Анриетта,— это же противоречит кодексу чести!

— Ах, мадам,— с наивным видом произнес Чино, передернув плечами, что характерно для людей его типа.— Чего же вы хотите? Мы — не герои Ариосто и не выступаем со сверкающими щитами и крылатыми грифонами, чтобы сразить наших врагов. Нам приходится пользоваться умом, которым наделило нас Провидение. По этим и по другим достаточно веским причинам синьор Казанова уже выехал из гостиницы — один мой друг перевезет его багаж — он поселится на виа деи-Барди инкогнито и...

— Но это не очень достойно,— снова возразила Анриетта.

— Зато куда лучше, чем лежать мертвым или бежать из Флоренции и позволить следом ползти мерзкой сплетне. Вы что, хотите, чтобы его убили?

— Нет, но...

— Никаких «но» быть не может, мадам. Ничего другого ему не остается.

— Но чего же он ждет от меня? — в растерянности спросила Анриетта.

— Во-первых,— сказал Чино, загибая палец на руке,— чтобы вы простили легкомыслие, с каким он попал в эту западню.

Анриетта с секунду подумала и торжественно наклонила голову в знак согласия.

— Во-вторых, чтобы вы оставались на месте и ни с кем не общались, кроме синьора Казановы.

Анриетта снова подумала и сказала:

— Это будет немного трудно выполнить, но если придется такое значение...

— Синьор Казанова придает этому величайшее значение. Он считает, что вам грозит — или может грозить — не меньшая опасность, чем ему.

— В таком случае — хорошо. Это все? — и Анриетта поднялась с явным желанием закончить беседу.

— Синьор Казанова еще многое попросил бы меня вам сказать, если бы у него было время все мне сообщить, — сказал Чино, вспомнив, как он не раз разыгрывал роль придворного под рукоплескания подмастерьев в своем квартале, — и еще много-много другого, что один он может выразить Вашему Превосходительству. А посему...

Он сделал драматическую паузу, и Анриетта выпрямилась, ожидая услышать какую-нибудь поистине страшную просьбу или новость.

— Что — посему? — нетерпеливо спросила она.

— А посему, — неуклюже продолжал бедняга Чино, сознавая, что наговорил кучу глупостей, — он просит разрешения... посетить вас завтра после захода солнца, в любой удобный вам час!

6

Сказать, что у Казановы «сердце билось быстрее», когда он ехал в тот вечер к Анриетте, значило бы утверждать нечто противоположное тому, что происходило на самом деле, и выразиться банально. Сердце у Казановы всегда билось быстрее, когда он отправлялся на первое свидание с женщиной, но на сей раз оно билось иначе, чем всегда. И объяснялось это больше романтической любовью, чем чувственным влечением. Казанове хотелось каким-то замечательным поступком увековечить себя — он был слишком взволнован, чтобы уточнить, каким именно, — но так, чтобы Казанова-Цезарь мог склониться перед Анриеттой и сложить свои богатства к ее ногам.

И так усиленно сердце Казановы билось безусловно не из-за графа Джузеппе и его шпаги. Чино доложил Казанове, что никакого секунданта ни в гостиницу, ни куда-либо еще не посылали, что кольцо было найдено и возвращено владелице театральной уборщицей и что

донна Джульетта разъезжает повсюду, как и в предыдущие дни. Услышав это, Казанова начал думать, что дал слишком легко запугать себя этой даме и ее фехтовальщикам. Ведь пошли они к нему секунданта, Казанова имел бы возможность раскрыть подлинную причину ненависти и жажды мщения, владевшими донной Джульеттой, а она меньше всего хотела бы этого. Ее месть, — а Казанова был теперь уверен, что она задумала мстить ему, — будет более изощренной, более тайной и вовсе не такой прямолинейной, как подстроенная дуэль.

Тем не менее, плотно закутав себя и свое сильно бьющееся сердце в широкий плащ, он сел в наемный экипаж и, подпрыгивая на рытвинах и колдобинах, поехал по темным улицам Флоренции. В те дни Понте Веккио летними вечерами закрывали для проезда — люди сидели за столиками под звездным небом, ужинали, пили и слушали музыку. Но сейчас для ужина было еще рано, и Казанова вспомнил об этой традиции, лишь когда кучер повез его к следующему мосту через Арно, — тут Казанова на секунду или две заподозрил, что попал в ловушку и его везут в засаду. Но он тут же отбросил нелепое подозрение и вернулся к своим мыслям. Будучи человеком нахальным, он обычно полагался на чутье и действовал по вдохновению, а сейчас размышлял о том, как себя повести, что сказать и что сделать, когда он встретится с Анриеттой. Он ведь уже предложил ей руку и сердце, и самое лучшее, подумал Казанова, вести себя соответственно — если не как признанный любовник, то как человек, намеревающийся им стать.

Однако тон и атмосферу встречи задала Анриетта. Когда Казанова подъехал к дому и сквозь маленькое зарешеченное окошечко в двери назвал свое имя слуге, его провели в большой салон, обставленный со следами былой, поистине королевской роскоши, и попросили подождать — синьора тотчас выйдет к нему. Прождал он ее до возмущения долго, — собственно, целых десять минут. Как истая женщина, Анриетта в последний момент засомневалась, правильно ли она поступает, принимая у себя мужчину, чьи намерения более чем очевидны, — мужчину, которого она поощряла в его ухаживаниях, что трудно отрицать. Что же до Казановы, то он быстро до предела взвинтил себя, раздумывая, не намерена ли эта неуловимейшая из женщин ускользнуть от него еще раз.

Из этих чрезвычайно неприятных размышлений Казанову вывел — к великому его удовольствию — голос Анриетты, извинявшейся, как принято, за то, что заставила его долго ждать. Казанова вскинул на нее глаза, и у него перехватило дыхание, а сердце заколотилось еще сильнее. Перед ним, в каких-нибудь трех шагах, стояла Анриетта в простом, без фижм платье в цветочек и без всяких драгоценностей, которые дамы носили даже дома. Это польстило ему куда больше, чем если бы она появилась в шуршащей парче и кружевах, разодетая, как для торжественного приема. Однако простота наряда Анриетты и атмосфера неофициальности сбили Казанову с толку. Женщина, с которой он намеревался бесцеремонно обойтись, сжать в объятиях и расцеловать, всегда была в его воображении парадно одета. Почему-то он застеснялся — ведь он впервые общался с Анриеттой, одетой как обычная женщина. И задуманный им поцелуй превратился в почтительный поклон, а страстные слова — просто в любезность.

— Садитесь же, сударь, — сказала Анриетта, выбирая для себя стул с высокой спинкой, — нам надо многое друг другу сказать.

— Да, действительно, — эхом откликнулся Казанова и, тотчас обретя самообладание, добавил: — С чего же начнем? С Большого канала?

— Ну, забираться так далеко в прошлое нет нужды, — с улыбкой ответила Анриетта, — хотя можете не сомневаться, я никогда не забуду вашего...

— Я совершил оплошность, напомнив вам об этом, — признал он, — но тщеславие мужчин, с их точки зрения, никогда не бывает удовлетворено, особенно когда величайшее их желание — хорошо выглядеть в глазах...

— Ах, прошу вас, без комплиментов, — в свою очередь прервала его Анриетта. — Вы, наверное, знаете, мсье Казанова, что последнее время я вела весьма независимую, полную приключений жизнь и повидала мир и его обитателей гораздо больше, чем молодые женщины, которые проводят юность в тюремных стенах монастыря, а остаток жизни — в тюремных стенах брака...

Произнося слово «брака», Анриетта слегка покраснела, но Казанова едва ли это заметил, уже ступив на свою стезю.

— Брак — это тюрьма?! — воскликнул он, выступая в защиту этого института с укором и с пылом, граничив-

шими в его устах с бесстыдством.— Назовите это лучше преддверием рая...

— Чем вам будет угодно,— закончила она за него.— Я не стану спорить. Однако я знаю, что многим женщинам брак обходится куда дороже, чем он того стоит. Это настоящее бедствие, от которого страдают и дети.

— Великий Боже! — воскликнул Казанова, чьи планы рушились от столкновения с неприступной позицией этой девственницы, ибо он не ошибся в своих предположениях, что молодая Диана едва ли согласится на менее прочные узы.— Кого вы имеете в виду?

— Мою матушку,— просто ответила Анриетта.

Казанова чуть не состроил гримасу. Он-то приехал объяснить с молодой женщиной в любви, а говорят они о неудачном супружестве ее матушки. Разговоры о матери неизбежны и при определенных обстоятельствах даже желательны, но не тогда, когда молодой мужчина намеревается подвести беседу к предмету из предметов. Казанове хотелось отвлечь Анриетту от этой темы, и он без особой охоты уже начал расспрашивать ее про венгра, когда Анриетта, которая явно много думала и пыталась разобраться в мешанине мыслей и чувств, заговорила, стремясь высказать то, что лежало у нее на сердце, и даже не заметив, что он что-то сказал.

— Я должна вам рассказать о ней,— произнесла Анриетта, спокойно и одновременно сосредоточенно глядя куда-то за Казанову пристальным взглядом, какой бывает у людей, когда они стараются поточнее что-то вспомнить.— Все, что может вам показаться во мне таинственным,— или почти все... эта странная бродячая жизнь — то я в одном месте, то в другом... затем та последняя нелепая авантюра, когда вы застигли меня в форме офицера,— всего этого не было бы, если бы не брак моей матери. Я кажусь вам авантюристкой...

— Ах, нет! — возразил Казанова.

— Да, и, по всей вероятности, распутницей...

— Я не сидел бы здесь, ловя каждое ваше слово, если бы так думал.

Она повела рукой, как бы отменяя слова, которые он неизбежно должен был произнести и которым она неизбежно не поверила бы, и улыбнулась такой горькой улыбкой, что Казанове стало больно. Он ненавидел страдания.

— Моя матушка была единственным ребенком в старинной и богатой — даже очень богатой — семье, чьи владения разбросаны по всей Священной Римской империи. Мой дед и бабушка по материнской линии были люди очень гордые, истые католики, всецело занятые собой и приходившие в отчаяние при мысли, что их семисотлетний род с замужеством дочери исчезнет. Я, пожалуй, не сообщу вам их имени — оно может прозвучать странно и даже, пожалуй, опасно, доведись вам произнести его не в том месте...

Она умолкла, видя, что Казанова начал ерзать, как бы спрашивая себя, какое это может иметь к нему отношение.

— Проявите немного терпения, — попросила Анриетта, — я должна вам рассказать об этом, чтобы вы поняли мою жизнь. Я не стала бы вам докучать, если бы вы...

Она умолкла, смутившись и преисполнив Казанову надеждой — скорее, чем уверенностью, — что она намерена сказать нечто способное убаготворить его чаяния и себялюбие.

— Я счастлив внимать вам столько, сколько вы соизволите говорить, — попытался он пустить в ход галантность, — но ничто сказанное вами не может изменить мои чувства к вам.

Она жестом отмела это.

— Вы знаете такого рода людей — они есть в Италии, но в Германии и в Испании они зашореннее, преисполнены большей гордыни, и жизнь ничему не учит их. Мои родственники намеревались выдать маму за дальнего кузена, который принял бы их имя вместе с их дитя и деньгами, но матушка...

Глаза Анриетты вдруг наполнились слезами, но она быстро совладала с собой и уже достаточно спокойно продолжала:

— Она влюбилась в моего отца и, зная, что просить согласия родителей бесполезно, поступила, как обычно — или вернее необычно — поступают в таких случаях: сбежала с ним. Возможно, в других обстоятельствах родители простили бы ее, ибо мой отец был человеком благородных кровей, но они не могли простить того, что он был протестантом, а австрийский двор не мог простить ему того, что он был французом. Он был из Прованса и звали его маркиз д'Арси. И хотя меня всегда называют теперь Анриеттой, мое настоящее имя — Анна д'Арси.

— Ну, я, конечно, все владения вашей матушки были конфискованы алчным правительством? — воскликнул Казанова, и Анриетта кивнула. — Что ж, — продолжал он с легким нетерпением, — все это, несомненно, очень неприятно и тяжело было для ваших родителей, но вас-то как это затрагивает? И если ваши родители были счастливы вместе, то соображения, о которых вы говорите, наверное, волновали их еще меньше, чем вас и меня.

— Они были очень счастливы, — медленно произнесла Анриетта, — особенно вначале. Но со временем у отца развилась роковая болезнь...

— Стал бегать за другими женщинами? — неосторожно предположил Казанова.

— Это не единственный мужской недостаток, — возразила Анриетта, пожалуй, немного цинично. — Нет, у него развился другой порок, типичный для французской аристократии: он не вылезал из судебных процессов. Под конец они разорили его и разбили сердце матушки, а ее смерть разбила сердце ему. Словом, я осталась одна всего лишь с несколькими бриллиантами матушки и несколькими десятками акров голой земли под Арлем...

Казанове начала надоедать эта история, столь заурядная и трагическая, что, решил он, видимо, правдивая. «Однако к чему она рассказала мне весь этот вздор? — спрашивал он себя. — Чтобы дать мне понять, что она — высокородная дама? Это и так видно. Или чтобы признаться, что она бедна? Стоимость ее бриллиантов в десять раз дороже моих дукатов, а какие бы голые ни были ее земли во Франции, это настоящее богатство по сравнению с тем, чем я владею в морской державе Венеция. Правда это или нет, но ее история ничего мне не говорит».

— Действительно, пренеприятное дело, — вслух произнес он и в надежде общим замечанием свернуть разговор с безцельных воспоминаний на темы, которые могли бы привести к тому единственному, что интересовало его, — к любви, — добавил: — А вы заметили, насколько строже наказывает нас судьба за неосторожность, чем за низость?

Но Анриетта продолжала говорить о своем.

— Я жила одна со старушкой гувернанткой и несколькими крестьянами до прошлого года, когда пришло послание от одного старинного друга моей матушки. В нем

говорилось...— Анриетта помедлила крошечную долю секунды и продолжала свой рассказ уже в чуть другой манере, но какие-то совсем мелкие подробности дали такому настороженному и подозрительному слушателю, как Казанова, понять, что она несколько видоизменяет истину.— В нем говорилось,— продолжала Анриетта спокойно и без пауз между словами,— что старик император умер, а императрицу, хоть она и фанатичка и дама щепетильная, можно склонить к состраданию и даже к восстановлению справедливости, если найти к ней нужный подход. Двое влиятельных друзей моей матушки, говорилось в письме, помогут мне и, по всей вероятности, вступятся за меня — это посол Австрии в Вене, с которым, мсье Казанова, вы встречались, и его коллега в Риме...

— Ах, вот оно что,— произнес Казанова, снова заинтересовавшись разговором,— вы решили попытаться вернуть земли вашей матушки — или хотя бы часть их — и потому приехали в Италию?

— Затея эта выглядела безнадежно, но я так устала жить одна в этом пустом разваливающемся старом доме, где зимой свистит мистраль, а летом меня доводил чуть не до безумия бесконечный стрекот цикад. По утрам я поднималась на башню, открытую всем ветрам, смотрела поверх слив и виноградников на голые зубчатые холмы и мечтала, чтобы со мной что-то произошло. Такое же желание посещало меня и по вечерам, когда солнце садилось и я видела башни и крыши Арля, черневшие на фоне огненного неба. Но ничего не происходило. Наведывался юре, я ходила к мессе — матушка вырастила меня в своей вере, — заезжали два-три старых друга отца навестить меня — сплошная монотонность, все одно и то же, никаких перемен, никакой надежды. Это письмо было для меня точно маяющий луч маяка.

— Ну да, это я вполне могу понять,— мягко произнес Казанова.— Но что же было дальше? Добились ли вы чего-нибудь, кроме обещаний? И что вы делаете сейчас? Что намерены делать в будущем?

Анриетта рассмеялась.

— Мне что, отвечать на все эти вопросы одним словом? Что ж, если одним словом, то я должна еще *ждать* и не покидать моих заступников, но надежда есть.

Казанова скривил рот.

— Надежда — разменная монета правителей и должников, которых невозможно совратить, — цинично заметил он. — Сколько же прошло времени с тех пор, как вы уехали из Франции?

— Около... Ну, несколько месяцев, — ответила она. Показалось ли Казанове, или в самом деле она слегка помедлила, в чем-то отступила от искренности? — Но я не сразу пустилась в путь. Мелани — моя старушка гувернантка — была в ужасе оттого, что я поеду куда-то одна. Я ведь жила, как в коконе...

— Но вначале вы сказали, что вели независимую жизнь, полную приключений! — не удержался, чтобы не сказать, Казанова.

— Ах, я имела в виду последние недели и месяцы, — невозмутимо ответила Анриетта. — Люди, жившие в коконе, больше всего познают, оказавшись одни и столкнувшись с широким миром. Бедняжка Мелани! Она непременно хотела сопровождать меня, и я была этому рада, считая, что она может помочь мне в моем невежестве. Но она была слишком стара для путешествий, и все, что видела и слышала, вызывало у нее возмущение, напоминало, насколько лучше был мир, когда она была молода. Она слегла в Генуе. Я, как могла, старалась лечить ее, но она умерла. Вот тогда я почувствовала, что я действительно одна.

Одна. Это слово эхом отдалось в тишине, наступившей после того, как Анриетта умолкла. Нельзя сказать, чтобы Казанова не был тронут патетикой услышанного. Он отчетливо представил себе всю ситуацию. Правда, в свое время он слышал от молодых женщин немало поразительно достоверных историй, которые потом оказывались лишь уловкой в погоне за мужчиной, как он цинично говорил себе, слушая их. Этот случай был другой, но Казанова и хотел, чтобы он был другим. Однако ничто не подтверждало правдивости сказанного, и вся история могла быть изобретательной выдумкой с целью как-то объяснить то, что он видел ее с фон Шаумбургом в Венеции, с венгерским капитаном в пути и с австрийским атташе во Флоренции. Последнее обстоятельство могло бы убедить Казанову в правдивости Анриетты, если бы он сомневался, а он отверг сомнения: молодые дипломаты ведь не показываются в публичных местах с женщинами сомнительной репутации. И все же, хотя многое было объяснено, по крайней мере два обстоятельства оставались неясными. Какого черта respectable молодой женщине ехать из Рима в костюме

мужчины и в сопровождении мужчины, и почему по прибытию во Флоренцию она исчезла на десять дней?

Все это промелькнуло в мозгу Казановы со скоростью, на какую способен восприимчивый ум, но, не зная на этот анализ, инстинктивно сделанный человеком, знающим мир, сердце Казановы устремлялось к Анриетте. Желание принимает разные формы у тех, кто жаждет самообождения, и, возможно, эта новая нежность, появившаяся у Казановы, была лишь новым изощренным способом совокупления, более красивой маской для этой извечной потребности, которая живет в мужчине и женщине. Что же до Анриетты... понимал ли он ее? А она сама себя понимала? В восемнадцатом веке в женщине назревал бунт, но это было чувство еще неосознанное — в мире по-прежнему царствовал ущемлявший гордость женщины кодекс. Англичанка, брошенная американским любовником, еще не изложила в печати своей обиды и своих чаяний, а также чаяний многих своих товарок. Какое бремя ненужных уз накладывал на них мужской целибат*!

В молчании, воцарившемся между ними, что-то от этой горечи неосознанно возникло у Анриетты — «инстинкт», сказали бы (и неправильно) мы, предупреждавший ее, что мужчина, которого она импульсивно выбрала, непостоянен и эгоистичен. Это дурное предчувствие она приняла за грусть, навеянную воспоминанием о судьбе родителей, а жалость к себе приняла просто за жалость. Казанова, быстро подмечавший настроение других людей, заметил в ней появление меланхолии и удивился. Однако он тоже признавал, что их жизни подошли к критической точке. После первой решающей встречи, когда возникла любовь с первого взгляда, и после многих странных расставаний — «все по ее вине», мрачно подумал он — они наконец встретились. Но для чего? Будет это дуэлью полов или дуэтом? Он не был до конца уверен, но все же подозревал, что от него зависит, как пойдет дело дальше, что его чувства, слова и поступки определяют их дальнейшую любовь и судьбу. И Казанова, сражавший женщин наповал, был озадачен, он не знал, что говорить или делать, он был поставлен в тупик женщиной, какой до сих пор не встречал, и раздосадован тем, что собственные чувства не подсказывают ему сейчас, когда он больше всего в этом нуждается, ловких авансов и льстивой лжи, которой он обманывал и себя,

* Безбрачие мужчины (лат.).

и своих возлюбленных. Влюбившись, этот мастер любви стал неуклюж и онемел, как школьник.

— И вот я оказалась сейчас тут, — сказала Анриетта, нарушая молчание. — И самое странное, что я тут с вами. Расскажите мне о себе. Я так мало о вас знаю. Слухи, сплетни, «предупреждения» старых людей. О какой опасности говорил мне ваш странный маленький друг? Вам в самом деле грозит опасность? И кто эта женщина, с которой вы были в опере? Она очень красива и, кажется, безумно влюблена в вас. Она ваша возлюбленная?

Такая откровенность сбила с толку Казанову, который больше привык парировать намеки и утихомиривать ревность, а не отвечать на вопрос, заданный человеком, который напрямик просит сказать правду.

— Я должен одним словом ответить на все эти вопросы? — рассмеялся он, копируя ее ответ на его вопросы.

— Меня интересует прежде всего опасность — те венецианцы не могли гнаться и за вами тоже? Но быть такого не может.

— Кстати, — вставил Казанова, — кто они?

— Откуда же мне знать? — Она пожала плечами. — В мире много всяких бандитов...

— Но как могло случиться и почему венецианские грабители действовали на Папской территории, среди бела дня, да еще в гостинице?

— Вы знаете столько же, сколько и я, — отвечала она. — Но меня заверили, что сюда они за нами не последовали. Тем не менее вы приезжаете ко мне тайком, ночью, под вымышленным именем, и вашему появлению предшествует какая-то дикая история, рассказанная вашим другом, с которым мне было чрезвычайно трудно объясняться, поскольку я не говорю по-итальянски.

— Но вы же понимаете этот язык, — сказал Казанова, впервые отметив, что Чино не упоминал ни о каких трудностях в беседе с Анриеттой. — Что же до опасности, грозящей мне, то она реальна и исходит, как сказал вам Чино, от донны Джульетты.

— Это ваша возлюбленная?

— Нет, эта женщина могла бы стать моей возлюбленной и стала бы ею, если бы не вы.

— Если бы не я? — Анриетта явно не склонна была с этим соглашаться. — Но я даже не знаю ее. И никогда ее не видела до вчерашнего дня!

— Правильно, — сказал Казанова, — зато я видел вас. Это все и решило...

На сей раз это была чистая правда, а не мужской комплимент. Впервые за время этого трудного разговора Казанова увидел, что его слова тронули Анриетту, и обрадовался не меньше, чем обладанию другими женщинами.

— Но какая опасность может вам грозить от женщины? — небрежным тоном спросила она, как если бы само собой разумелось, что никакая женщина не опасна.

— Я нанес ей такое оскорбление, какого ни одна женщина не простит, если она еще не поставила на себе крест и не решила пойти в монастырь.

— Но неужели она действительно может причинить вам зло?

— Через других. Она была любовницей... нет, лучше не буду уточнять... человека всесильного. Куда таинственнее то, что к ее услугам несколько блестящих дуэлянтов...

— О! — Анриетта явно встревожилась и чуть побледнела, как и в ту минуту, когда Чино сказал, что ее любимому грозит опасность.

— Понимаете? Если я открыто появлюсь здесь, одному из них нетрудно будет затеять со мной ссору — это происходит в одно мгновение. Даже если я увернусь от одной, тут же последует другая ссора. А много ли пользы мне будет от всеобщего возмущения, когда я буду лежать под кровавым саваном!

Возможно, он слегка — а то даже и излишне — драматизировал ситуацию, но где найдется мужчина, который на сцене жизни не поставил бы себя в центр перед женщиной, с которой хочет эту сцену разделить? И Казанова уж никак не был готов к тому, что она так воспримет его мужскую браваду, проявит такую наивность, такое бесконечное неведение мужского честолюбия, начисто опровергавшее ее утверждения, что она хорошо знает мир. В своем смятении она вскочила с места и подошла к камину, где тлело несколько поленьев, тщетно пытавшихся побороть холод итальянской весенней ночи.

— Дело вовсе не в этом! — воскликнула она. — Возможно, вы ее и оскорбили, но грозящая вам опасность, это преследование — все ведь из-за меня.

— Из-за вас?!

— У меня есть враги.

Казанова несколько растерялся. У всех есть враги, и вывод, к которому пришла Анриетта, был явно нелеп,

тем не менее это встревожило его, ибо служило лишним доказательством того, что ее окружает какая-то дьявольская тайна, которой он не хотел замечать.

— Как вы можете говорить такое?! — досадливо воскликнул он. — Она понятия не имела о вашем существовании, когда приехала сюда. Она же никогда вас не видела, пока вы не появились в своей ложе и я так глупо не выдал себя, узнав вас и показав, как много вы для меня значите!

Лицо ее приняло странное выражение — она словно бы устыдилась, как бывает с людьми, которые по глупости без нужды выдают себя. И снова порозовела. Затем прелестным жестом протянула ему руку.

— Простите меня. Я, как видите, действительно глупа и самонадеянна! Конечно, я не имею ко всему этому ни малейшего отношения...

Наконец-то случай улыбнулся Казанове, и он мгновенно воспользовался им. Вскочив с кресла, он схватил ее руку и прижал к губам.

— Ах, Анриетта... или мне следует называть вас «Анна»? — Она отрицательно покачала головой. — Значит, Анриетта. Вы имеете к этому самое большое отношение, но не такое, как вы думаете...

— Я устала, — сказала она, пытаясь вытянуть из его пальцев руку, — с тех пор как мы расстались, я проделала далекое путешествие, была в опасности, а потом с огорчением увидела, что то, в чем я была уверена, не осуществилось...

— Разрешите мне помочь вам забыть это.

Она отрицательно покачала головой.

— Я слишком глубоко увязла, — с несчастным видом сказала она. — Теперь я уже не могу отступить. Я могу лишь надеяться.

— На что? И от чего вы не можете отступить?

— Я ведь сказала вам: я должна попытаться вернуть себе эти земли, хотя никогда их не видела... я обещала моей матушке на ее смертном одре, что сделаю это, если представится случай.

Казанова чуть не составил по этому поводу философскую эпиграмму республиканского толка о глупости старинных родов, их гордости, их владениях, их мании продолжения рода, но вовремя удержался — это было бы неуместно.

— Зачем же терять надежду? — сказал он, привлекая к себе Анриетту. — Продолжайте надеяться, что вам

удастся выполнить обещание, данное вашей матушке. Возможно, я сумею вам помочь...— Она немного печально покачала головой, но не встретилась с ним взглядом, а ему так хотелось заглянуть ей в глаза и прочесть, что в них таится.— Ну, а кроме надежды,— продолжал он,— я предлагаю вам нечто более верное.

— Верное? В каком смысле?— Она вопросительно посмотрела на него.

— Любовь.

Анриетта вспыхнула и наклонила голову — ниже и ниже, уклоняясь от его взгляда. Она бы убежала, но ему не пришлось применять большой силы, чтобы ее удержать и даже прижать к сердцу, а губы — к ее губам.

— Анриетта!

— Джакомо!

Час, состоявший из минут любви, мгновенно пролетел, и, прежде чем расстаться, влюбленные условились о времени встречи на другой день. Однако, пока они с трудом прощались, Казанова не удержался и задал последний вопрос, хотя и знал, что он бессмыслен и, пожалуй, дерзок.

— Скажите,— произнес он,— почему вы путешествовали переодетая с тем венгром?

Снова легкий намек на колебание, однако ответила Анриетта откровенно:

— Это был женский каприз. Венгру приказано было ехать со мной, а я знала, что он круглый идиот и потому никогда не обнаружит, кто я.

— И это единственная причина?

— Ну, мне немного надоело чрезмерное внимание ваших итальянских соотечественников к женщине, которая путешествует одна... Худшего зануды, чем зануда эротоман, трудно придумать.

Казанова решил поставить на этом точку. Однако, подпрыгивая и покачиваясь в холодной карете по дороге домой, он размышлял. Объяснение было дано ему вполне естественное,— но все ли сказала Анриетта?

7

Когда на другое утро Казанова проснулся, в его памяти не осталось и следа от терзавших его подозрений, ревнивых домыслов и предположений — обо всем

этом он забыл. Любопытство по поводу Анриетты и ее прошлого, пожалуй, еще присутствовало — и не потому, что Казанова сомневался в ней или не был уверен, а потому, что всегда хочется знать как можно больше о той, которая, он не сомневался, будет принадлежать ему. «Будет», а не «уже принадлежит» — так он считал, невзирая на тот поцелуй и многие другие, последовавшие за ним. Остановиться на поцелуе было не в обычае Казановы — любовь для него слишком часто напоминала завоевание в духе Цезаря: «Пришел, увидел, победил». Для человека сугубо чувственного было вновь такое неспешное развитие событий, когда можно наслаждаться чувством, хотя, как он сам пишет, в тот вечер с Анриеттой «любовь дошла до исступления». Это исступление помог удержать в рамках пристойности инстинктивный такт, подсказавший Казанове, что дать волю чувствам было бы губительно, а также девственная чистота Анриетты и что-то от вечной Дианы, проявлявшееся в ней сильнее, чем у большинства женщин ее времени.

Сказать, что Казанова *проснулся*, было бы, пожалуй, не совсем точно, ибо, по правде говоря, он в ту ночь едва ли спал, пребывая где-то между сном и бодрствованием и заново погружаясь в золотой мир дивных чувств и обещания счастья, которого был исполнен минувший вечер. Правда, беседовали они по большей части сидя на расстоянии друг от друга, и Анриетта рассказала ему, по сути дела, свою официальную биографию. Но Казанова тут же признался себе, что она вынуждена была так поступить из-за его собственного ревнивого любопытства, — она была бы слепой, не увидев, что он преисполнен решимости все узнать про нее. Если бы она сама не дала объяснений, разве он не потребовал бы их?

Он лениво перевернулся на другой бок, не понимая, зачем ему так надо было выслушать ее историю, — ведь вся его ревность и подозрения были уже позади. Ему ведь хотелось только знать, есть ли у нее другой мужчина, и либо Анриетта поразительно скрытна, либо такого мужчины у нее нет. Мысли Казановы обратились к будущему.

Подобно большинству людей, которые не умеют жить просто, Казанова был великий мастер составлять планы, невзирая на тот очевидный факт, что самые его хитроумные и дорогие сердцу замыслы, как правило, опрокидывало внезапно возникшее побуждение, которому Казанова с излишней преданностью следовал. Теперь, сказал

он себе весомо и без сожалений, жизнь должна стать упорядоченной. В восемнадцатом веке люди считали добродетельным, если не необходимым, вести упорядоченный образ жизни или убеждать себя, что они такую жизнь ведут, не слишком задумываясь над тем, что же это такое. В ту пору это понятие, похоже, включало в себя классическую манеру поведения, известную осмотрительность, аккуратность и чопорность,—словом, нечто близкое к тому, что мы понимаем ныне под термином «спокойствие духа».

А чтобы жениться на Анриетте и счастливо жить с ней, необходимо вести упорядоченный образ жизни. Этому явно не могла способствовать неудавшаяся, если не сказать сломанная, карьера Казановы в лоне церкви, да и военная карьера, которую предлагали ему венецианские друзья, представлялась совсем неподходящей для человека, задумавшего жить упорядоченной жизнью покорного супруга. И тем не менее человек женатый должен иметь какую-то карьеру, особенно если учесть, что ему ничего не светит. Анриетта, думал Казанова, скорее всего будет против того, чтобы жить за счет карточной игры, к тому же такую жизнь никак нельзя назвать упорядоченной, разве что в том смысле, что Казанове никогда не удавалось надолго удержаться от появления в игорных домах. И он довольно поспешно решил стать «купцом» — понятие это весьма широкое, которое многое включает в себя, похоже, обещает благосостояние и не связано ни с чем определенным,—словом, карьера из сказок 1001-й ночи. Все это, конечно, если у него останется время от управления поместьями Анриетты. Было у него такое чувство, что они могут оказаться обширными и доходными... если удастся их вернуть.

Решив эту весьма серьезную задачу, Казанова собрался перейти к решению следующей, когда раздался стук в дверь и на пороге появилась подобранная фигура Чино, который пришел побрить своего патрона. Отложив в сторону подготовку дальнейших планов, которые, по всей вероятности, будут многочисленны и наверняка подвергнутся изменениям после обсуждения с Анриеттой, Казанова облекся в халат и приготовился к испытанию мыльной пеной и бритвой. По тому, как вел себя Чино, какой он напустил на себя важный вид, как поджимал губы и хмурил брови, как не заканчивал фраз — начинал что-то говорить и умолкал,—ясно было, что он с трудом удерживает в себе какую-то важную, по его мнению, новость.

Будучи благостно расположен и настроен ко всем, кто обитал на одной планете с Анриеттой, Казанова готов был выслушать с должной серьезностью любую глупость, но Чино явно намеревался держать свои новости при себе — настолько долго, насколько прирожденному сплетнику удастся путем нечеловеческих усилий ничего не разболтать. А пока, намыливая лицо клиента, он трещал о важных несущественностях сегодняшнего дня: о здоровье великой герцогини; об омерзительных рос-сказнях, все еще распространяемых про покойного Джованни-Гастоне Медичи, дабы примирить народ с иноземным правителем; о том, что снова будет дождь; о прибытии одного прославленного проповедника; о том, что в винограднике близ Муньоне обнаружена античная статуя без головы; о том, что донна Джульетта устроила накануне пикник в Поджо...

— Вот как,— воскликнул Казанова, прервав наконец поток его болтовни,— и что же тебе еще известно об этой прельстительной и роковой сирене?

— Завтра она уезжает из Флоренции,— сказал Чино.

— Что?! — вскинулся Казанова, опрокинув все планы Чино хорошенько намылить его.— Ты это серьезно? Куда же она направляется?

— Это тайна,— с важным видом заявил Чино,— но люди сведущие предполагают, что она направится в Болонью.

— Люди сведущие? — сторая от нетерпения, воскликнул Казанова.— Кто же это? Очевидно, ты и твой сосед Мартино.

— А почему бы и нет, синьор? — возразил немало обиженный Чино.— Неужели мы такие тупицы, что при нужде не можем прийти на помощь тем, кто считает себя более сведущим, чем мы?

Казанова рассмеялся и снова откинулся на спинку кресла, чтобы Чино мог продолжить свое занятие. То, что сообщил брадобрей, было действительно важно, и Казанова так и эдак поворачивал в мозгу эту новость, пытаясь понять, чем объясняется столь непредвиденный и устраивающий его шаг. А не может ли быть, что донна Джульетта узнала о его посещении Анриетты и оставила надежду? Но надежду на что? Отомстить ему? Или — как Казанова начал весьма рискованно утешать себя — надежду вернуть его в качестве любовника? Наверняка последнее, решил он, и, конечно же, эти ослы не правы насчет Болоньи — донна Джульетта просто пустила та-

кой слух, чтобы скрыть, что она возвращается в Рим. Ну и пусть катится, подумал он, хоть у нее и прекрасная фигура и потрясающие глаза...

— А люди сведущие обнаружили, почему донна Джульетта решила покинуть город Красной лилии *? — не без иронии спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил: — Чино, друг мой, мне необходима твоя помощь, чтобы подобрать самый прекрасный букет во всей Флоренции.

Вторая половина высказывания не исправила ошибки, допущенной в первой половине, ибо ирония неприятна людям, которые боятся ее, потому что не умеют ею пользоваться. Будь Казанова в нормальном состоянии, — но разве среди жертв Венеры найдется человек в нормальном состоянии? — он не совершил бы такой ошибки, а если все же совершил бы, то мгновенно бы ее исправил. Вполне возможно, что Чино — «сведущий» он человек или нет — мог бы что-то ему рассказать, на что-то намекнуть или даже предупредить. Но Казанова и не заметил, что ущемил самолюбие Чино, и не выправил обиды, как не обратил внимания и на то, что Чино никак не реагировал на весьма интересную (как-никак десять процентов комиссионных!) просьбу о помощи в приобретении цветов. И лишь когда Казанова исчерпал запасы красноречия по поводу роз, сопроводив свою витиеватую речь рифмованными цитатами на итальянском из Горация и Авзония **, помрачневший Чино соблаговолил заговорить. Он согласился найти цветы и, покончив с пыткой бритьем, принял с поклоном дукат на цветы и еще один — поистине королевское вознаграждение — за свои труды. Чино не был за это признателен — итальянцы никогда не бывают признательны, — но, будучи философом, порадовался, что деньги перешли из кармана глупца в карман человека мудрого.

Немного смягчившись, он приостановился у двери и сказал: — Синьор Джакомо, донне Джульетте нельзя доверять...

— Вот тут я полностью с тобой согласен, — весело воскликнул Казанова, даже, пожалуй, слишком весело, явно не придав большого значения словам Чино, который и сказал-то это, наверно, чтобы дать Казанове возможность загладить оскорбление, нанесенное сведущему человеку.

Чино пожал плечами и отбыл, предоставив Казанове поздравлять себя с удачей и строить планы на будущее

* Имеется в виду Флоренция.

** *Авзоний Д. Магний* (ок. 310—ок. 395) — древнеримский поэт.

— планы, исполненные самых серьезных намерений, по сравнению с которыми розовые пасторальные мечты о жизни с Мариеттой выглядели унылой реальностью. Фон, на котором строились эти планы, их абстрактность и большая отдаленность во времени перемещали их в края, где бродят безумцы и влюбленные. Ближайшие же планы были более четкими и одновременно более здоровыми — дело в том, что Казанова, невзирая на вчерашний поцелуй и следовавшие за ним непередаваемые слова любви (непередаваемые из-за своей эмоциональности и потому бессмысленности), был в достаточной мере уверен, что Анриетта побеждена и завоевана лишь наполовину. Подобно молодой красавице кобылице, позволяющей с помощью яблок и ласковых слов подманить себя к загородке и смотрящей на льстивого незнакомца широко раскрытыми блестящими глазами, Анриетта дала Казанове заманить себя, чему способствовали ее мечтания, надежды и женские чаяния, и если кобылица при малейшем неосторожном жесте вздрогнет, встанет на дыбы и, отбрасывая копытами черную землю, во весь опор помчится прочь, то так же и Анриетта вздрогнет и помчится прочь — и, по всей вероятности, бесследно исчезнет, если он будет слишком резко ее домогаться, попытается каким-то образом подчинить себе или испугает, превратившись из предмета мечтаний во вполне реального мужчину.

Конечно, она слышала, что он из породы лихих людей, он это знал и числил среди своих достоинств в качестве любовника; Анриетта захочет его исправить или, скажем, заставить лихого кавалера служить ей одной. Так уж неодолимо человеческое самомнение, что Казанова больше рассчитывал на подобный исход, чем на то, что Анриетта может полюбить его таким, каков он есть. Да и как может она его полюбить, если, по существу, ничего о нем не знает, кроме того, что у него сильные руки и острый глаз, ноги, которые следовало бы обтягивать рейтузами, как это делали в былые дни, и безотчетная импульсивность поступков, что производит впечатление безрассудной страсти, которую так высоко ставят женщины? Уверенный в правильности своих убеждений, Казанова взлетел на такие высоты счастья, какие не являлись ему прежде даже на дальнем горизонте.

Однако он сразу же столкнулся с трудностью в самой механике завоевания Анриетты — ресторанов тогда не существовало, так что он не мог пригласить ее на ужин, за которым могло бы расцвести ее благорасположение,

а любовь обрести более прочные крылья. Таверну или кофейню он счел недостойными ее; пригласить повара на его или ее квартиру — это можно, но не сейчас. Решение проблемы опять-таки подсказал Чино.

Вскоре после полудня Казанова, одетый с необычной для него, но не чрезмерной роскошью, подкатил к дому Анриетты в шикарном экипаже с кучером в чьей-то ливрее — все это было взято напрокат стараниями брадобрея. Для роз было, конечно, еще не время — их не было даже в оранжереях великого герцога, — но, войдя в комнату, Казанова по сладкому запаху понял, каким образом Чино решил проблему «самого прекрасного букета во всей Флоренции». Все столы и предметы обстановки, где только можно поставить вазу, пестрели яркими весенними цветами — тут были фрезии и гиацинты, наполнявшие воздух своим душным ароматом, дикие горные нарциссы и полевые анемоны, белые и лиловые фиалки с изгородей и крошечные дикие цикламены. Казанова смотрел на цветы с тем особым удовольствием, какое мы испытываем, даря другому то, чего не можем позволить себе, когда в комнату вошла Анриетта, одетая для выезда, в шляпе и с букетиком белых фиалок, приколотым к плащу.

У Казановы хватило ума поцеловать ей руку, не посягая на губы. Он был вознагражден подставленной для поцелуя гладкой щечкой и, не вызвав возмущения, проделал путь к ее рту, что, безусловно, было бы ему заказано, востребуй он его слишком уверенно. Во всяком случае Цезарь, когда любимый легион принес ему немислимую победу, не испытал большего подъема духа, чем Казанова от своей крошечной победы, — разведи такие сантименты кто угодно другой, он бы от души посмеялся.

— Какие цветы! — воскликнула Анриетта, отрываясь от него и не давая распалиться поцелуем. — Где вы их нашли? И такое множество! И такие красивые! Ваш странный знакомый, который их принес, сказал, что вы сами их выбирали. Он прочел мне стихи. Кто он?

— Брадобрей.

— Бра...? Вы шутите.

— Никоим образом, — сказал Казанова, не считая излишним воспользоваться случаем, чтобы превознести свою страну. — В Венеции гондольеры, во Флоренции брадобреи, в Риме любой прохожий способен процитировать стихи к случаю — кстати, это единственное, что

цивилизированная Европа еще не украла у нас или не уничтожила. Вы же знаете, мы живем за счет того, что показываем людям наши руины, как иные бедняки показывают свои незаживающие раны...

Он невольно вышел за пределы намеченной темы и забыл о том, на какой ноте собирался играть.

— В ваших словах звучит горечь. Неужели Италия в таком плачевном состоянии?

— Не будем говорить об этом, главное, что вы — здесь, — сказал он с преувеличенной галантностью, стремясь перебросить мост через пропасть в чувствах, которую по ошибке сам вырыл. — Нам пора в путь, — добавил он, увлекая Анриетту к двери и понимая, что, повторив ставшую уже многовековой жалобу, лишил себя возможности выслушать до конца похвалу за роскошное подношение.

Поехали они во Фьезоле, а не в Кашине, что было еретическим нарушением традиции. У Чино там был друг — у этого поистине всеведущего человека были всюду полезные друзья, — в чьем саду Казанова и Анриетта нашли вино, и фрукты, и тишину под деревьями, а также великолепный вид на купола Флоренции и долину Арно, за которой гряда за грядой вздымались лиловые горы. В те времена еще не вошло в привычку ценить такие пейзажи; человеческий глаз еще не был достаточно наметан, чтобы видеть, а человеческая душа не была достаточно раскрыта для восприятия природной красоты мира. В противоположность людям нынешним, они ценили лишь то, за что заплачено, но не страдали манией разрушения всего, что не могли понять, на том лишь основании, что оно дает наслаждение вышестоящему. Чино предложил Казанове поехать в сад по той простой причине, что Казанова мог побыть там вдвоем с Анриеттой, не нарушая приличий восемнадцатого века. И хотя Анриетта преступила эти приличия, путешествуя по дорогам одна, без родственника-мужчины, да еще в мужском обличе, Казанова решил держаться с нею так, как если бы она только что вышла из кокона монастырской жизни.

Даже влюбленным девятнадцатого века требовались определенное настроение и условия для эстетического восприятия окружающего, а в такой период, когда страсть всецело владеет человеком, даже они могли предпочесть пейзажу любование друг другом. И Анриетта с Казановой, безусловно, так и поступили. К вину и

фруктам на столе — а это были всего лишь груши, оставшиеся от прошлогоднего урожая, — они так и не притронулись, как и не услышали пения жаворонка на цветущей вишне у себя над головой. Казанова держал руку Анриетты в своей, другая ее рука — все еще в перчатке — лежала на его плече; отвернувшись от него, глядя вдаль, Анриетта слушала божественные глупости влюбленного. А он говорил, что глаза у нее — как звезды, а губы — как лепестки цветка; он говорил, что речь ее ласкает слух, как музыка, а прикосновение ее руки — волшебство. Он говорил, что никогда еще никого не любил и не полюбит. Он говорил, что бежал в Рим и посвятил себя служению Богу от отчаяния — при мысли, что никогда больше не увидит ее. Он говорил, что, будучи философом, не может не видеть руки Провидения, или, выражаясь более философским языком, — неотвратимости судьбы в том, что он выглянул в Риме в окно в тот самый момент, когда она, проезжая мимо, сняла маску, чтобы стряхнуть с волос конфетти.

— Да, да, — согласилась она. — Но что же вы делали в той комнате наверху во время карнавала?

Вопрос был задан вполне простодушно и тем не менее, при всем простодушии, нанес сильный удар Казанове. Всего лишь утром, занимаясь всякими утопическими размышлениями, он дал себе слово никогда не врать Анриетте, а мысль о донне Джульетте с сегодняшнего утра не посещала его и была столь же от него далека, как если бы эта дама вообще никогда не существовала.

— Грехи мои привели меня туда, — более чем уклончиво ответил он. — И я импульсивно подошел к окну, чтобы закрыть ставни...

— Зачем?

— Наверное, затем, чтобы приглушить свет... и тут я увидел вас, любовь моя, и...

— Как же вы могли полюбить меня, когда видели лишь мельком, а потом — в дороге с этим идиотом-венгром, ну и, конечно, еще в постели в таком виде, будто я...

Казанова едва ли слышал, что она говорила, — в этот момент он делал глубокий вдох, наполняя легкие воздухом, напоенным весенними ароматами. Как-никак он сумел выпутаться из весьма сложного положения, не сказав правды, но и не нагромоздив излишней лжи. Он был глубоко благодарен Анриетте

за то, что она не засыпала его вопросами. Что она такое говорит?..

— С венгром? — рассеянно повторил он. — Ах да, это тот идиот, хотя и довольно храбрый. Каким образом вы с ним познакомились?

Теперь уже Анриетте трудно было ответить на простой вопрос, заданный без всякой задней мысли.

— Через друзей в Риме, — ответила она после еле заметного промедления. — Разве я не говорила вам — он возит депеши, и родилась идея сделать его моим сопровождающим без того, чтобы он знал, кто я.

— Но разве вы не сказали, — заметил Казанова, усиленно пытаясь вспомнить, как оно было, — что депеши, которые он вез, куда важнее, чем он думал, и что вы отвечаете за то, чтобы он благополучно добрался до Флоренции?

— Неужели я так сказала? — Глаза у Анриетты были наивные. — Я, видимо, едва ли могу отвечать за то, что сказала тогда или вообще когда-либо во время того безумного путешествия. Сейчас оно представляется мне маловероятным сном, точно все происходило не со мной, а с кем-то другим...

— И мне тоже! — воскликнул Казанова. — Анриетта в военной форме — это же совсем другой человек, чем Анриетта в этом прелестном платье.

Он обнял ее за талию и уговорил прогуляться с ним под фруктовыми и оливковыми деревьями до стены, ограждавшей сад. Они остановились там, на старой террасе, сооруженной давно, быть может, не одно столетие тому назад, для какого-нибудь купца или мудреца из древней Флоренции, бежавшего от зловония и бунтов из большого города сюда, где воздух чист и глазу открывается широкий горизонт. День догорал, нагромождая на краю неба малиновые облака и все глубже погружая в фиолетовые сумерки город и долину, — это был час, описанный многими с бесконечным восторгом. Но для этих детей восемнадцатого века симфония из природных красок и теней едва ли существовала. Если на них как-то и влиял окружающий пейзаж, то лишь умиротворяюще — такое чувство нисходит на людей самых разных поколений с ежедневным угасанием земного света. По молчанию Анриетты и собственному ощущению Казанова понимал, что их жизни достигли кульминации. Как странно, думал он, что им нет надобности говорить что-либо друг другу — вполне достаточно того, что они вместе.

Он склонил к ней голову и увидел прямо перед собой ее лицо, которое она инстинктивно приподняла, — губы их встретились.

Неделя, а то и десять дней, прошла в подобных прогулках, невинных и в то же время уединенных. Любому, знавшему Казанову в дни его побед, этот Казанова показался бы столь же противоестественным, как рыба, поселившаяся и спокойно живущая в ржаном поле. Не хватил ли его солнечный удар, что он довольствуется столь невинным времяпрепровождением в эти весенние дни, когда вся Тоскана в цвету, днем поют птицы, а ночью перекликаются, квакая, лягушки, и не требует ничего большего, кроме добрых взглядов, ласковых слов и поцелуев, по-сестрински нежных и вовсе не страстных? Получая письма от друзей из Венеции, он лишь пробегал их рассеянным взглядом — так человек, случайно заплывший на Острова Счастья, где люди живут вечно, мог бы читать пачку писем, дошедших до него из мира жестоких борений. Письма оставались без ответа. Его звал картежный стол, и Казанова впервые не откликнулся на зов этой сирены. Он считал, что стал другим человеком, и, все глубже погружаясь в атмосферу, когда сердце говорит сердцу, не отдавал себе отчета в том, что, так сказать, заново проходит проторенный путь эротики, получая удовольствие от того, что у него не хватало терпения — при избытке реализма — познать. Если бы кто-то посмеялся над ним — ему это было бы безразлично, что говорит о серьезности его намерений и о том, какое удовольствие он получал от новой для него ситуации.

В том, что Казанова на протяжении этого романа был более чем щедр — а таким он бывал всегда, — нет ничего удивительного, однако на сей раз он превзошел даже самого себя, засыпав Анриетту всевозможными подарками, новыми туалетами и цветами, невзирая на ее протесты, а порой и раздражение.

— Я ничего не могу с собой поделаться, — как бы извиняясь говорил он, и это была чистая правда.

Такова уж Немезида* убежденного материалиста, что он может выражать свои чувства лишь материально. «Однажды Данте готов был взять кисть и написать ангела...» А Казанова? Нет. Однако и он, принимая во внимание его темперамент и оковы возраста, познал

* Здесь — олицетворение судьбы; Немезида — древнегреческая богиня возмездия.

в поцелуе бессмертие и, зная он, что может потерять весь мир, охотно расстался бы с ним ради Анриетты.

И кто же, как не Чино, добродушный Чино, который по суровому велению судьбы был чуть ли не сводником и потому оберегал свою честь даже в малом, — кто же, как не Чино, невольно положил конец самым сладостным дням в жизни Казановы или, вернее, извлек его из мира грез и идеальной любви и снова бросил в реку реальности. Чино, которому было поручено приготовить еще один пристойный и уединенный приют, где парочка могла бы играть до осени в Дафниса и Хлою *, вдруг заартачился. Темперамент итальянца вскипел, голос зазвучал пронзительно и капризно, когда он принялся подсчитывать на пальцах сколько невинных — да таких ли уж невинных? — с издевкой добавил он, — свиданий он, Чино, гражданин Флоренции, устроил им просто по дружбе (он забыл про дукаты), рискуя тем самым своей репутацией у соседей.

— Фьезоле, Галуццо, Ла-Ромола... — перечислял он своему патрону все дальние пригороды, не пропустив ни одного из названий, навеки окруженных теперь для Казановы ореолом. А затем, спустив Казанову с облаков в реальности земной любви, наивно добавил: — Почему бы синьору не найти синьоре красивый дом или апартамент... *где они могли бы жить вместе, как христиане?!*

Под выражением «*come Cristiani*» ** эти вечные идолопоклонники-этруски подразумевали не людей, воспитанных в страхе Божьем и слепо блюдущих таинства и десять раздражающих заповедей, а всего-навсего платоновых бескрылых двуногих — Мужчину и Женщину.

Казанова уставился на Чино, как бывает, когда мы слышим мудрые слова из уст тех, кого неразумно считали менее знающими, чем мы сами. «А почему бы и нет?» — спросил себя Казанова, и вопрос, выскочивший у Чино в минуту раздражения, потому что он ничего больше не мог придумать, зазвучал в ушах Казановы с назойливостью кукования кукушки по весне. Его сопровождала мысль, словно вторая нота в пении дикой птицы: «Она никогда не ляжет с тобой в постель, если

* *Дафнис* — в греческих сказаниях прекрасный юный сицилийский пастух, погибший от безнадежной любви к Хлое.

** "как христиане" (ит.).

ты не вытащишь ее из этого дома». И это было безусловно так, ибо сами стены, где была дверь и по первому зову могла явиться служанка, становились для Анриетты своего рода святилищем, чему она, возможно, не так уж и радовалась. Но пока она живет в своей комнате, она будет считать, что должна — хоть и без особого удовольствия — спать одна. Казанова вдруг понял это, словно на него снизошло озарение. Какой же он был болван! Занимался пустяками — поцелуи, цветы, клятвы в верности, шепотом произнесенные на закате, молчаливые прогулки рука об руку под цветущими деревьями — вместо того, чтобы слиться с ней телом! Вот так, размышлял он, пожалуй, не столь мудро, как ему казалось, мужчины теряют женщину, которой отдали сердце.

С достойным подражания восторгом Казанова приступил к выполнению проекта Чино, а тот, нюхом чувствуя, какой он на этом получит куш, благословлял своего доброго гения за эту мысль и всячески подталкивал своего патрона к большим усилиям и экстравагантным тратам. Три дня ушло у Казановы на создание будущего райского гнездышка, чему деятельно помогали Чино и целая ватага флорентийских рабочих с бычьими шеями, подстегиваемых к непривычным для них усилиям бесчисленным множеством бутылей кьянти и гирляндами сосисок, пахнущих чесноком. Честные души искренне раскаивались в том, что закончили (увы, слишком быстро!) работу для этого ненормального, которого так легко было обирать. Они попрощались с ним за руку и не очень, пожалуй, к месту пожелали, уходя, «приятного аппетита». Вслед за ними ушел и Чино, а Казанова, радостно опустившись в пышное кресло, с удовлетворением принялся обозревать плоды своих трудов и одновременно строить воздушные замки, еще более пышные, чем кресло.

Интересно — а может быть, поучительно и, быть может, страшновато — то, как быстро женщина, получив пусть даже в не освященное законом владение мужчину, столь досконально узнает его, что может сразу распознать, если он что-то утаивает. Тайн прошлого она может не знать, или не догадываться о них, или не хотеть их разгадать — ее практицизм отмечает мертвый груз его жизни до нее, — но новую тайну она инстинктивно почует так же наверняка, как натасканный спаниель чует дичь. Три дня Анриетта не знала покоя, ее

яркую мечту омрачали страхи — "что-то" случилось: она уже надоела ему, он что-то про нее узнал, появилась другая женщина, он никогда по-настоящему ее не любил, она недостаточно для него хороша и так далее — она без конца перебирала четки пугающих возможностей.

Поэтому Анриетта почувствовала облегчение, хоть и приготовилась к малоприятным и, быть может, даже тяжким испытаниям, — а она уже решила бороться за Казанову до последнего патрона в последнем батальоне, — когда он появился у нее и с необычной для него торжественностью и сдержанностью попросил поехать с ним. Куда? Он покажет куда. Зачем? Это скоро выяснится. Он недоволен ею? Он улыбнулся и с таинственным видом покачал головой, но не стал, как она надеялась и даже рассчитывала, пылко это отрицать.

«Вот и конец — и так скоро!» — горестно раздумывала она, жалея бедняжку Анриетту и всех несчастных женщин, которые раз и навсегда отдали свое сердце мужчине со стройными ногами и огнем в глазах. А она-то надеялась... Каких только надежд не питала! И после всего этого умереть девственницей! Однако в экипаже, который раскачивался, поскрипывая под цокот копыт, и то соединял их, то разъединял, как бы воспроизводя этой тривиальной символикой капризы Венеры, царили лишь ее опасения и страхи и его гнетущее молчание — вот только в глазах его появился новый блеск, предупреждавший, что все это неспроста. Они пересекли мост, за которым начиналась дорога к Римским воротам, и Анриетта решила, что худшие сомнения ее подтвердились, когда экипаж резко свернул со ставшей уже знакомой дороги, проехал по нескольким узким переулкам, обогнул несколько углов под хриплые «э-гой» кучера и внезапно резко остановился — как останавливаются, когда хотят что-то показать, — перед вполне современным и по тем понятиям модным зданием.

Анриетта посмотрела на Казанову, Казанова посмотрел на Анриетту. И просто сказал:

— Может быть, выйдем?

В глазах его, когда он произнес это, вспыхнул огонь, отчего Анриетте в ее волнении он показался похожим на сатира. Однако — но следует ли в том признаваться? — открытие, что в мужчине сидит зверь, скорее успокоило, чем испугало ее. «Обольститель превращается в насильника», — несколько драматизируя ситуацию, подумала она, и сердце ее усиленно забилося, как у новобранца,

который, впервые услышав торжественный грохот орудий, знает, что пришел его черед.

— Мы приехали сюда в гости? — благосклонно спросила она.

— Если вы окажете мне честь, — ответил он чересчур, как ей показалось, официально, что так и было, ибо, волнуясь, человек всегда переживает.

Он вышел через низкую дверцу кареты, которую открыл грум, и подал ей руку, помогая выйти через ту же дверцу так, чтобы на ее затейливые одежды не попало грязи, с чем она удачно справилась.

— Это ваши друзья живут здесь?

Вопрос был вполне естественный, но Казанова не ответил. Он быстро провел ее по наружной лестнице, сам открыл дверь — что ее поразило, — поднялся с ней по внутренней лестнице, отпер еще одну дверь, с поклоном пропустил ее вперед, и она очутилась в гостиной, которая ей понравилась, а затем в будуаре, о каком могла лишь мечтать. С самым серьезным видом Анриетта повернулась к Казанове за разъяснениями и увидела, что лицо его сияет улыбкой — так улыбается человек, который хочет или в крайнем случае надеется доставить удовольствие другому и одновременно самому себе. Никаких разъяснений, право же, не требовалось. Мрачный туман страхов, вызванных подозрением, что у него есть тайна, и в общем не таким уж и пугающим подозрением затеваемой им атаки на ее невинность, — мигом рассеялся.

— Вы приобрели это для нас, — сказала она, быстро повернувшись к нему; глаза ее сияли от удовольствия.

Никакое красноречие, никакая высокопарная поэтическая риторика не могли бы порадовать Казанову больше, чем эти простые слова, учитывая тон, каким они были произнесены, жесты, сияющие глаза и лицо. Вообще ведь язык влюбленных редко бывает красив или хоть в какой-то мере разумен, кроме как в литературе. Поэтический слой любви столь же тонок, как налет цивилизации у человечества.

Других слов Казанове и не хотелось слышать, а вот звук прелестнейшего в Италии голоса доставлял ему наслаждение. Ее слова сказали ему, что постылое терпеливое ожидание в приемных покоях Любви для него окончено. У Казановы не хватило ума пожалеть об этом или хотя бы отметить, что обычно колеблющееся пламя его желания обладать женщиной на сей раз горело не угасая. Ее слова сказали ему также, что она соглашается

с задуманным, даже не дав себе насладиться уговорами поступить так, как ей самой хотелось. Возможно, боязнь, что «у него есть тайна, которую он скрывает от меня», подсказала ей, что даже самые уверенные в себе женщины-охотницы могут переиграть и упустить добычу. А кроме того, в ее жилах текла южная кровь.

Тем не менее для выражения чувств нужны — как бы они ни были бесполезны — слова.

— Вам здесь нравится? — спросил он, нетерпеливо ожидая ее похвалы.

— Так вот какая у вас была тайна, — сказала она, не отвечая на его вопрос, а выражая вслух свои мысли.

— Тайна? — несколько озадаченный, спросил он.

— Последние дни я была уверена, что вы что-то скрываете от меня.

Он весело рассмеялся, польщенный ее интересом к нему и не обратив внимания на то, что столь пронизательное проникновение в его мысли может оказаться не слишком удобным в будущей жене, хотя, возможно, и неизбежным. Он сжал ее в объятиях, и какое-то время они снова обменивались лишь словами любви.

— Становится поздно, — наконец произнесла она хоть что-то разумное, мягко высвобождаясь из его объятий. — Мне пора возвращаться...

— Вам никуда не надо больше возвращаться, — перебил он ее.

— Нет? — произнесла она. — Но мои платья? И Ринальда?

Ринальду она наняла себе в услужение во Флоренции.

— Она сюда скоро явится, — сказал Казанова, взглянув на свои массивные швейцарские часы. — Чино привезет ее, как только она все упакует.

— Вы обо всем подумали, — сказала она и добавила: — Наберитесь со мной терпения. Я никогда раньше не жила с мужчиной.

— Как и я с женщиной! — заверил он ее.

— Что?! — Даже она, при всей своей любви к нему, не могла проглотить столь нелепое утверждение.

— Это правда, — возразил он. — Я спал с женщинами. Я находил места, где мог встречаться с женщинами и любить их. Но мне ни разу еще не хотелось делить с женщиной кров.

— Надеюсь, вам это не опостылит, — сказала она несколько патетически, так что он внутренне съезжился.

И он поцелуями задушил эту мысль и опасения Анриетты.

Подобно народам, которые, не имея истории, заранее считаются счастливыми, у отношений этой счастливой пары тоже не было истории — пока. Их жизнь могла бы показаться тем, кто никогда не знал любви или забыл это состояние монотонии, либо бесцельной, либо монотонной — в зависимости от того, что человек выше ценит — деньги или пустяковые развлечения, именуемые удовольствиями. Казанова и Анриетта рано ложились и поздно вставали; они совершали прогулки и покупали забавные мелочи; они поведали друг другу все, что могли припомнить из своего детства и юности, а затем в своем желании раскрыть душу и развлечь собеседника припоминали, пожалуй, больше того, что с ними было; они задумывали самые разные торжества всякий раз в другом месте и, предпочитая общество друг друга любой компании, будь то людей знакомых или придуманных, считали отсутствие собеседников благословением, а не пробелом.

Они были идеально счастливы, и у их отношений не было истории.

Иной раз случайно оброненное слово напоминало Анриетте о невыполненном плане возвращения с помощью влиятельных старых друзей, принадлежавших ей по праву владений, — во всяком случае, так Казанова понимал ситуацию. Правда, он не мог понять, почему при упоминании об этом она сразу мрачнела и настораживалась. У него тоже была своя забота, забота более осязаемая и земная, — из тех, что рано или поздно нарушают мир и радость общения у девяти из десяти пар. У Казановы кончались деньги.

Эти два обстоятельства и положили начало истории их отношений, а история всегда полна ошибок и страданий, если не горя и преступлений.

Для человека шалого, следующего зову импульса с такой легкостью, от которой встали бы дыбом те несколько волосинок, что окружают лысину г-на Осмотрительного Денежного Мешка, Казанова обладал удивительным даром предвидения — или мы назовем это умением обходить провалы, почти неизбежно подстерегающие людей его типа? Он заключил сам с собою пакт: когда дело дойдет до последней сотни золотых, он выложит их на карточный стол и выиграет.

Так он и поступил и — проиграл.

Положение — по самым мягким оценкам — создавалось нелепое и могло оказаться роковым для идиллии. Однако Казанова взял себя в руки — у окружающих сложилось впечатление, что он вышел из игры из-за невезения, — пошутил, сунул в нос понюшку табаку и не спеша направился к выходу, рассмеявшись и бросив через плечо, что скоро вернется.

Ночной холод недобро встретил Казанову, когда он вышел на улицу из перегретых комнат, к тому же он не без содрогания понял, что его подстерегает еще одна беда. Шел дождь, а у него не было денег, чтобы нанять скромный экипаж. Он подумал об Анриетте — наверное, спит в их постели, но скорее всего не спит, а читает, дожидаясь его, или же не спит и просто думает о нем. Перед его мысленным взором возникло ее лицо и густые гроздья локонов на подушке, и он на мгновение остановился, думая о ней со смесью боли и такого острого счастья, что нипочем ему был даже холодный дождь, хлеставший в лицо.

Что же делать? Тут не было Брагадина, не было Марко, у которых можно было бы попросить денег или взять займы. Да и писать сенатору с просьбой о новом одолжении он едва ли мог, не отдав того, что занял ранее, и не ответив на многочисленные вопросы, адресованные оракулу «Ключа Соломона». Если не считать Чино, Казанова не знал во Флоренции ни единого человека, который одолжил бы ему хоть дукат, а у Чино он не хотел занимать — больше из самолюбия, чем по более высоким мотивам. Можно, конечно, дойти до дома, признаться во всем Анриетте, заложить один из ее бриллиантов и снова попытаться счастья в игре...

Вот она, нужная идея! Обвязав шляпу носовым платком, он прошлепал под дождем к ростовщику, получил пять золотых флоринов за свои часы и поспешил назад, к игорному столу.

— Дождь идет, — заметил он в ответ на два-три удивленных и любопытных взгляда, — подожду, пока весь не выльется.

И стал ждать, внимательно, пристально следя за игрой; затем, словно наскучив самому себе и не выдержав уныния медленно тянущегося времени, бросил на стол золотой как бы наудачу, а на самом деле насторожившись и тщательно все просчитав. Выиграв десять золотых, он прекратил игру, написал Анриетте записку,

что встретил друзей и дома будет поздно, — пусть не ждет его и спит. Записку он отдал слуге, присовокупив к ней немного денег и приказание доставить немедленно. Затем он вернулся к карточному столу и, сосредоточив все внимание на игре, забыл об остальном...

Серая заря вставала над древним городом, когда Казанова снова вышел на улицу из игорного дома. Дождь кончился, и бледные звезды в светлеющем небе обещали ясный солнечный день. Ничего этого Казанова не замечал. Вид у него был измученный, ноги от долгого сидения затекли и одеревенели, бока ломило. Хорошо бы сейчас развалиться в фельце гондолы и бесшумно плыть по тихой воде, перебирая в кармане свой выигрыш — двести с лишним флоринов! Но трястись в наемном экипаже, воняющем конюшной, по холодным улицам — нет, лучше пойти пешком.

Когда он подошел к площади, на которой они с Анриеттой жили, небо на востоке уже алело, а утренние птицы перекликались и ссорились. Открыв дверь, Казанова бесшумно вошел в спальню, намереваясь поцеловать спящую Анриетту, а затем подремать в кресле, пока она не проснется. Если он напугал ее неожиданным появлением, точно призрак, то и сам был не менее удивлен и смущен, увидев, что она сидит в ночной рубашке и пеньюаре возле догорающей свечи, бледная, с черными от бессонницы кругами под глазами. Но лишь только она поняла, что это он, — горестное выражение исчезло с ее лица, в нем снова заиграли краски жизни, и она бросилась в его объятия, сотрясаемая рыданиями.

— Мое сокровище! Душа моя! Моя обожаемая! — Казанова черпал и черпал из легко доступного кладезя итальянских ласковых слов, стремясь ее успокоить, но он в самом деле был бесконечно тронут ее ненаигранной, пусть даже и несколько обременительной, любовью. — Почему же ты не спала? Ты получила мою записку? Почему ты сидела и ждала меня? Ты мне не доверяешь? Или ты плохо себя чувствуешь?

Она покачала головой, не в силах с собою справиться, потом откинула голову и посмотрела на него сквозь слезы. В этом взгляде было что-то такое, от чего Казанове стало не по себе — не столько из-за угрызений совести, какие посещают гуляку-мужа, сколько от непонятного страха, вдруг словно бы передавшегося ему от нее. Стремясь успокоить и ее, и себя,

он снова осыпал ее без труда приходящими на ум ласковыми словами, снова попытался оправдаться, ссылаясь на свою записку.

— Записку мне принесли, и хорошо, что ты ее послал,— сказала она, наконец придя в себя,— но, понимаешь, я ей не поверила.

Казанова с несчастным видом уставился на нее, потрясенный такой пронизательностью.

— Значит, ты ей не поверила.

— Нет. Я подумала... Ох, глупости все это,— прервала она сама себя.— Позволь, я приготовлю тебе кофе. Ты в нем наверняка нуждаешься после...

— Нет,— решительно заявил он, снова привлекая ее к себе,— сначала скажи мне, что ты подумала. Что я с другой женщиной?

Теперь Анриетта с несчастным видом посмотрела на него, но у нее это объяснялось совсем другим.

— С женщиной? — медленно произнесла она с милой надменностью.— Мне и в голову не пришло, что тебе захочется провести время с другой женщиной. А это было так?

— Нет,— повторил он убежденно, но на этот раз весело, швыряя на стол два тяжелых кошелька.— Вот мой ночной заработок! Я сел за карточный стол... все проиграл... заложил часы, которые, кстати, надо выкупить... и вышел из игры победителем. Я не собирался тебе об этом говорить. Я знаю...

Он намеревался сказать: «Я знаю, ты презираешь игроков» таким тоном, каким люди, оправдывая свои поступки, как бы говорят: «Я, конечно, считаю твои возражения нелепыми». Но промолчал, наблюдая за ней, а она подошла к столу — такая тоненькая! — и, остановившись, нерешительно дотронулась до золота.

— Не в этом дело,— сказала она и словно через силу добавила: — Я подумала, что тебя заставили написать записку и что ты в опасности.

— В опасности?! — Он чуть ли не фыркнул от удивления.— Какой опасности? С чьей стороны?

— Со стороны... людей вроде тех, что были на границе. Я все время боюсь, как бы они не последовали за нами сюда и...

— Что за глупости! — весело воскликнул Казанова.— Провела в одиночестве долгую ночь — и в голову уже полезли мысли о всяких злых духах. Приготовь-ка нам кофе — это живо их прогонит.

Она молча повиновалась, но в ее поникшей голове, в вялых движениях — совсем не свойственных ей, такой живой и веселой, — он увидел — или ему показалось, что увидел, — нечто зловещее, грозное. Теперь уже он почувствовал — скорее, чем понял, — что от него скрывают какую-то тайну. Он понаблюдал за Анриеттой из спальни, затем подошел к окну и раздвинул портьеры. Раннее солнце залило комнату, казалось, мгновенно развеяв все ночные беды и недоразумения. И Казанова, передернув широкими плечами, отбросил в небытие смутные страхи, еще минуту назад угнетавшие его.

Что это — первая крошечная размолвка в их романе? Если каждый из них в душе и задал себе такой вопрос, вслух ни один не высказал его и не намекнул. Так или иначе, их, казалось, нескончаемый медовый месяц продолжался, не взрывааемый бурями, которые делают первый год супружества самым сложным. Однако в самом пыле, с каким они наслаждались друг другом, в том, как охотно один уступал другому, таилось какое-то предчувствие, болезненное ощущение, что «крылатая колесница Времени» уносит прочь сладостные ночи и дни.

Довольно скоро Казанова вынужден был вернуться к игре. Он чувствовал, да и говорил, что ему нужны деньги, — ведь после той бессонной ночи он швырял деньгами направо и налево, — а, возможно, ему надоело жить без волнений. К тому же появилась и новая возможность приложить свои силы в более удобной для манипуляций и наверняка более богатой компании, чем та, что собиралась в прежнем месте. Уже давно ходили слухи, что к ним едет из Падуи труппа знаменитых характерных актеров, наследников традиций старомодной комедии дель арте, которая продолжала отчаянно и довольно успешно сопротивляться реформам, привнесенным в театр Гольдони. А через какое-то время появились объявления в газетах и афиши на стенах театра, уже со всею несомненностью оповещавшие о прибытии труппы. Казанова с нетерпением ожидал их выступлений — что было, пожалуй, еще одним намеком на то, что этому искателю приключений начали приедаться сады Армиды*, — и сожалел лишь о том, что диалект, на котором они играют, будет непонятен Анриетте.

* В поэме итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим» Армида завлекла прекрасного рыцаря-крестоносца Ринальда в свои сады. В современном языке — синоним волшебного царства.

За два дня до начала представлений Казанова встретил в игорном доме одного из актеров, столь же закоренелого, хоть и менее умелого игрока, как он сам. Этому актеру по прозвищу Муха — или Моска — казалось, очень понравился Казанова, и, когда они вместе вышли из комнаты, где шла игра, он предложил Казанове зайти в заднее помещение какой-нибудь винной лавки и побеседовать наедине. Казанова, естественно, повел его к их общему с Чино знакомому, неподалеку от главной площади, и Моска (у которого, кстати, был весьма красный, но совсем не от театрального грима нос) очень скоро перешел к делу: не согласится ли Казанова держать с ним банк, чтобы актеры и их друзья могли играть во время их пребывания во Флоренции?

— Дело доходное, — убеждал Казанову Моска, — я по себе знаю — важно только, чтобы тот, кто держит банк, знал, чего он хочет. Мне достаточно было понаблюдать десять минут за вашим столом, чтобы понять, что вы тот, кто мне нужен. Так вот: если вы поставите пять сотен, то я поставлю тысячу, а выигрыши будем делить пополам.

— Да, но, — вполне резонно возразил Казанова, — ваши коллеги — достаточно ли они зарабатывают и достаточно ли часто играют, чтобы это стоило свеч...

— С них навар невелик, — презрительно заметил Моска, — ровно столько, чтобы удержать банк на плаву. Некоторые просто не в силах устоять при виде зеленого стола и колоды карт. Но вы не учитываете главного. Среди наших актрис есть ведь прехорошенькие, в том числе одна новенькая, чудо до чего хороша — не как актриса: понимаете, она совсем деревенская, удрала от мужа. Но — рег Вассо! — хороша! Я сам не возражал бы провести с ней ночь. Так вот, друг мой, вокруг наших красоток будут виться стаи богатых молодчиков в надежде зацепить какую-нибудь, и молодчики эти будут с деньгами, которые без труда можно перекачать из их карманов в наши. Уж я уговорю девчонок засадить их за карточный стол, и, если вы будете держать банк, мы удвоим наш капитал — или я не человек, а выпотрошенная рыба.

Казанова медлил, уклонялся от окончательного ответа, делая вид, будто ему нужно время, чтобы принять решение. Он прекрасно знал, что Анриетта, хотя и мирится молча с его игрой в карты, не потерпит подобного сговора, от которого не очень хорошо пахло. С другой стороны, игроки в игорном доме уже заprimeтили Казанову, и многие стали его сторониться, так что

его выигрыши угрожающе снизились. А тут ему предоставлялся шанс, которого он все время ждал, не смея надеяться,— ведь совсем будет не трудно, не слишком отступая от правил игры, чтобы избежать обвинения в жульничестве, немало заработать на молодых людях, разгоряченных вином и оспаривающих друг у друга благорасположение актрис.

Конечно, он принял предложение.

Оставалось лишь решить проблему, как уладить дело с Анриеттой. И он решил ее так: повез Анриетту на первое представление и сказал, что должен потом пойти на ужин с некоторыми из актеров — чисто мужское дело.

И Анриетта, обрадовавшись, что после их уединенной жизни у него наконец появится компания, всячески это приветствовала.

— На сей раз я не буду сидеть всю ночь и волноваться за тебя, — сказала она с чуть печальной улыбкой.

Он принялся объяснять — немного слишком велеречиво и то и дело повторяясь, — почему не может взять ее с собой. Она это заметила, но и виду не подала. Казанова посадил ее в карету, поцеловал ей руку и, как только она отъехала, отправился за сцену к Моске. Казанова нашел его все еще в костюме — Моска разгримировывался и был в чрезвычайно приподнятом настроении как от успеха труппы, так и от надежды на крупные барыши, которые они с Казановой сумеют выудить у молодых синьоров, уже добившихся приглашения на поздний ужин за сценой.

— Кстати,— как бы между прочим спросил Моска, переодеваясь,— что за красotka была с вами сегодня?

Казанове не понравился ни сам вопрос, ни понимание женской красоты, проявленное его компаньоном.

— Одна замужня дама,— небрежно ответил он,— мне пришлось сопроводить ее сегодня.

— Что-то намечается? — спросил актер с оскорбившим Казанову подмигиваньем.

— Боюсь, что ничего,— холодно ответил Казанова, поднимаясь со стула.— Не пора ли нам присоединиться к остальным? Вы же знаете, вам надо меня еще представить.

— Никакой спешки, никакой спешки,— сказал Моска, тем не менее быстро натягивая штаны и чулки,— мы их продержим за столом допоздна, вот увидите. У нас завтра нет репетиций.

В последний раз пригладив волосы и стряхнув рукою пыль с весьма поношенной одежды, Моска повел Казанову по узким улочкам за театром в комнату, которую сняли актеры, чтобы было где провести вместе время и поесть. Это было нечто вроде большого сарая — сходству с сараем способствовали балки на потолке и театральные декорации, составленные в одном из углов. Посредине стоял длинный стол, накрытый безукоризненно чистой скатертью и приготовленный для ужина; на столе, через равные промежутки, расставлены очень высокие, оплетенные соломой бутылки с вином, а искусно уложенные ветки плюща повторяли рисунок, который до сих пор можно увидеть на античных пилястрах. С потолка свисали две-три большие керосиновые лампы, копии древнеримских, и горели свечи, озарявшие мягким светом прозрачное стекло и яркую тосканскую посуду. Обстановка была богемная, почти крестьянская по убранству, и Казанове, больше привыкшему к такого рода компаниям, мгновенно пришлось по душе эти беспечные бродяги, которые по одному или по двое, по трое входили сейчас в комнату и маленькими группками рассаживались за столом. Двое официантов и широкозадая, полногрудая крестьянская девчонка зашныряли туда-сюда с тарелками, ложками и мисками с минестрой*.

Моска окликнул двух девиц из труппы и представил им Казанову, как «моего друга барона Казанову», тотчас шепнув ему, чтобы он не отказывался от титула, и доведя до его сведения, что обе девицы известны своим благорасположением к синьорам, которые достаточно с ними щедры. Казанова сразу понял намек и, принявшись разыгрывать из себя аристократа, прибывшего в город, совершенно очаровал «нимф» (как упорно именовал их Моска) своей веселостью и остроумием, которое фонтаном било из него, тем более что этот самый светский из бездельников уже не одну неделю жил *tête-à-tête*** с Анриеттой. Страсть его теперь немного пошла на убыль, а возможность попить в веселой компании весьма привлекала.

Это был праздничный вечер для труппы, и за первым блюдом последовали жареный козленок и жареные цыплята — перед актерами и их гостями поставили горы еды под восторженные взвизги «нимф». Получая удовольствие от этой простой компании, считавшей роскошью

* Министра — суп (*ит.*).

** Вдвоем, наедине... (*фр.*).

подобную еду, Казанова усиленно угощал девиц, передавал им овощи и хлеб и то и дело наполнял бокалы крепким красным вином. Вскоре голоса, ведшие любезную беседу, зазвучали громче и пронзительнее, лица покраснелись, и зазвенел смех, соседи начали наступать соседкам на ножки, пожимать ручки, исподволь заглядывать в глубокий вырез платья. В самый разгар веселья Казанова почувствовал, как Моска толкнул его локтем в бок, и услышал:

— Наконец-то явилась наша Мариетта! Ну, не красавица?

«Нимфы», не желая слушать дифирамбы другой женщине, принялись оспаривать это суждение и обратились за поддержкой к любезному барону. Но он утратил всякую способность слышать их или отвечать им. Моска заметил, как отчаянно покраснел Казанова и глаза у него полезли из орбит при виде молодой, хорошо одетой женщины, которая грациозной походкой вошла в комнату и села на ближайший стул из полудюжины предложенных ей загудевшими поклонниками. А дело в том, что эта, красивая и изящная — чего даже Казанова не мог отрицать — молодая актриса была не кем иным, как Мариеттой, на которой он собирался жениться в Чоггиа и которую считал — если вообще о ней думал — давно вернувшейся на праведную стезю и вышедшей замуж за какого-нибудь крепкого парня-фермера из числа издольщиков сенатора Брагадина.

Вот так незадача!

Мужчина, бесстрашно вступающий в новую любовную авантюру, часто бывает самым большим трусом, столкнувшись с былой любовью. К чести — или не к чести Казановы, уж как вам будет угодно, — он был часто рад возобновить старый роман через достаточно большой промежуток времени, от чего он становился чуть ли не новым, но сейчас Казанова готов был послать Мариетту ко всем чертям, несмотря на перемену к лучшему в ее манерах, судьбе и даже внешности, а также несмотря на то весьма лестное обстоятельство, что он первым, как выражаются критики, «открыл ее талант». Он с ужасом представил себе, что она может встретиться с Анриеттой, они разоткровенничаются, и чрезмерно эмоциональная и слишком романтичная Анриетта может снова сбежать от него. Не нуждайся Казанова в деньгах, которые обещал ему Моска, он бы за полминуты придумал какое-нибудь внезапное недомогание и испарился бы...

Но было уже слишком поздно: Мариетта увидела его и — силы небесные! — поднялась со стула и направилась к нему; вот она уже рядом!

— Да ведь это же, — объявила она компании голосом более теплым и сочным, чем прежде, хотя в нем еще и чувствовались следы деревенских интонаций, — это старый знакомый! — И к нему: — Вы что же, забыли Мариетту, Джакомо? — И прежде чем он успел ответить, звонко, как родного, расцеловала в обе щеки и вернулась на свое место.

Теперь Казанова не мог незаметно улизнуть. Мариетта выставила его в дурацком свете, а он вынужден сидеть и терпеть. Моска и «нимфы» тут же обратились к нему с расспросами, и он сказал, что «немного знал» Мариетту (что было явным преуменьшением) в Чоггиа до ее замужества. А насчет подробностей адресовал их к самой даме, она же, смеясь, лишь парировала вопросы, долетавшие до нее сквозь гам, царивший за столом, где было уже серьезно воздано флягам с кьянти. «Нимфы» продолжали приставать к Казанове с расспросами и домыслами насчет его отношений с Мариеттой — иные были столь близки к истине, что он даже задавался зряшным вопросом, не хвасталась ли она перед ними. Время от времени он поглядывал на Мариетту через стол, где она сидела, а она ела, смеялась, болтала и принимала ухаживания четырех или пяти молодых флорентинцев с таким видом, будто привыкла всю жизнь быть предметом подобного внимания, тогда как всего два года тому назад пасла гусей в деревне.

Моску куда меньше, чем «нимф», интересовали отношения Мариетты с Казановой, — собственно, ему не было никакого дела до их отношений. Его больше заботило то, чтобы поскорее очистили стол и можно было начать игру. Но веселье стояло такое, что о серьезной игре не могло быть и речи. Моска решил проблему, велев принести другой стол, для которого он отыскал полотнище старой фланели. Следующая трудность заключалась в том, что молодые люди с деньгами не желали садиться за стол без Мариетты, «нимф» и еще двух-трех молодых женщин, а ни одна из них не желала сдвинуться с места, пока не сдвинется Мариетта.

Моска объявил об этом своему союзнику с на редкость мрачным выражением лица, над чем Казанова в другое время от души посмеялся бы, но в данный момент он разделял огорчение Моски.

— Я так считаю, она не хочет нам подыграть из-за вас,— мрачно, осуждающим тоном произнес Моска.

— Из-за меня?! — Казанова попытался убедить себя, равно как и Моску, что это мысль совершенно бредовая.

— Да, из-за вас. Вы не проявили к ней достаточного внимания или что-то еще не так сделали, когда она узнала вас,— раздраженно заметил Моска.— Даже если она всего лишь случайная знакомая — какая разница? Вам следовало быть с ней поприветливее — она ведь, по сути дела, всем заправляет в труппе. К тому же, черт подери, не такая она и дурнушка.

— Я и не говорил, что она дурнушка,— возразил Казанова.

— Ну, а ведете вы себя так, будто она и есть дурнушка. Мы сможем начать, только если вы будете с ней поприветливей и уговорите ее перейти за наш стол.

— Я? — Казанове эта ситуация казалась положительно нереальной.

— Конечно вы! — в ярости изрек Моска.— Вам ведь уже приходилось заводить беседу с женщиной или нет?

Казанова кивнул в знак согласия и принялся изучать ситуацию без особой надежды на успех. Головка Мариетты находилась в центре мужских голов, склоненных к ней, и все ее поклонники старались сказать ей что-то приятное, или удивительное, или оригинальное. Казанова невольно подумал, неужели он молол такие же глупости, беседуя с молодыми женщинами, которых хотел обольстить...

Как у него это получилось, Казанова и сам не мог бы объяснить, но частично нахальством, частично с помощью чисто физической силы, а частично — следует признать — благодаря Мариетте он умудрился занять место в ее окружении, а добившись этой цели, вскоре уже господствовал в беседе. К его изумлению, Мариетта, казалось, не питала к нему зла за то, что он обманом добился ее милостивого согласия на несколько ночей, а потом с молниеносной быстротой бросил. Наоборот: она вроде бы даже рада была новой встрече с ним, и, когда он наконец сумел высказать свою просьбу, она тотчас поднялась и перешла за другой стол, а за ней покорно последовали ее кавалеры, словно стадо овец с золотым руном, которое все они готовы были сбросить.

С точки зрения выигрышей, вечер был успешный, и тем более успешный, что это было только начало, ибо не один из «воздыхателей Пенелопы» (так Моска шепотом окрестил их) был явно укушен ядовитым жалом картежной осы. Но Казанове в течение вечера не раз приходилось напоминать себе, что надо сосредоточиваться на игре — настолько не давали ему покоя две личные проблемы. Лишь увидев Мариетту, он понял, что с присущим ему легкомыслием не подготовил Анриетту к тому, что в предстоящие три недели будет отсутствовать каждую ночь до зари.

Но куда сложнее была проблема, как быть с Мариеттой. Донна Джульетта ведь уже преподала ему урок, что под улыбчивым лицом и приятными манерами брошенная любовница может скрывать планы мести. А тут еще к его природной подозрительности добавилось суеверие. Всего лишь утром он получил от старика Брагадина письмо, в котором сенатор иносказательно, но достаточно ясно давал понять, что о его связи с Анриеттой известно в Венеции. Сенатору трижды снилось (так он писал), что Казанову и его новую любовь подстерегает роковая опасность от какой-то неизвестной женщины, олицетворяющей собой Венецию. Мариетта, конечно, не могла считаться олицетворением Венеции, да и сенатору она была неизвестна, но то, что Казанова встретил ее вскоре после получения письма, встревожило его. К тому же страхи его объяснялись не только суеверием. Он знал, что Брагадин мог подобрать крохи тайной информации на венецианском Совете, членом которого он был, а потом решить, что ему это явилось во сне или было подсказано «Ключом Соломона».

На другое утро, сидя за очень поздним завтраком, Казанова после двух неудачных попыток все-таки сказал Анриетте как можно более небрежным тоном:

— Сегодня вечером я опять приду поздно и... и так будет еще несколько ночей подряд.

Она быстро подняла на него взгляд, явно удивленная этим заявлением, но без осуждения собственницы, как он опасался.

— Я буду скучать без тебя, — сказала она с оттенком грусти в голосе.

То, что она так это приняла, порадовало себялюбца Казанову, ибо как бы избавляло его от необходимости терзаться тем, что он пренебрегает ею. И в ответ он поспешил излиться в псевдооткровениях.

— Я буду все там же — я имею в виду, в театре. Видишь ли, эти актеры — они из-под Венеции, почти мои соотечественники: я хочу сказать, они подчиняются венецианским правителям, хотя и не чистокровные венецианцы. В общем, я пообещал Моске — ты его помнишь, такой занятный человек, который играл Арлекина? — он просил меня помочь ему занять актеров вечером после спектаклей.

— Занять? — Анриетта, казалось, собиралась еще что-то добавить, но передумала. И молча встала из-за стола.

— Ты не огорчена? — неуклюже спросил Казанова. — Ведь это будет всего какую-нибудь неделю-другую, и я, право, не мог отказать...

— Конечно нет, — мягко прервала она его, — а я еду сейчас на цветочный рынок. Карета уже ждет.

— Ты не приглашаешь меня с собой?! Я не могу с тобой поехать?

Она улыбнулась и протянула ему руку, которую он схватил и пылко поцеловал. Какое счастье, сказал он себе, что между ними нет ни тайн, ни натянутых отношений, ни подозрений. Почувствовав облегчение, Казанова не заметил, что не упомянул Анриетте о картежной игре и даже не намекнул на существование Мариетты.

А сия молодая женщина, вынужден он был откровенно признаться себе во время очередных двух или трех картежных сеансов, самым непредвиденным и крайне нелепым образом, безусловно, осложнила ситуацию. После первого вечера все как бы молча согласилось с тем, что Казанова сидит рядом с Мариеттой во время веселых ужинов, начинавшихся сразу после того, как в последний раз опускался занавес, а Мариетта сидит рядом с Казановой, когда он потом держит банк за картежным столом. Таким образом, у Казановы была полная возможность наблюдать за ней. Как случилось уже не раз за время его долгой и разнообразной карьеры, Казанова безо всякой иронии стал задумываться над тем, как он мог бросить такой сладкий и лакомый кусочек.

«Я, наверное, просто рехнулся, — думал он и в приступе раскаяния добавлял: — Но судьба уберегла меня для женщины еще более прелестной!»

Можно лишь пожалеть женщину, полюбившую Казанову, ибо женщина, которой он обладал, — неизбеж-

но и, видимо, для него самого неподвластно — никогда не могла сравниться с женщинами, которые не принадлежали ему.

Тем не менее с Мариеттой он по-прежнему держался настороже: урок, преподанный донной Джульеттой, не был им забыт, и не проходило дня, чтобы Казанова не задумывался над тем, не замышляет ли в эту самую минуту сия раздраженная сирена каким-то образом отомстить ему. По мере того как шли дни и Мариетта оставалась такой же милой и открытой и не задавала ему никаких вопросов про Анриетту, Казанова преисполнился к ней доверия и чувства признательности за ее великодушие и за то, что она ни словом не укоряет его. Дело дошло до того, что однажды вечером, просмотрев спектакль до конца из-за кулис, он последовал за Мариеттой в уборную, чтобы поблагодарить ее, прежде чем она станет переодеваться.

Он постучался и на ее вопрос: «Кто там?» ответил в обычной итальянской манере:

— Все тот же я — sono yo — Казанова!

Последовала пауза, настолько долгая, что Казанова уже собирался повторить свой ответ, когда услышал ее голос, приглашавший войти. Он несколько растерялся, увидев, что она уже сбросила театральный костюм и теперь снимала грим. То, что она не сразу откликнулась, видимо, объяснялось необходимостью накинуть просторный пеньюар, в котором она сейчас была. А пеньюар был настолько просторный и настолько тонкий, что Казанове живо представились все изгибы ее тела, которое он когда-то достаточно хорошо знал.

— Там есть стул, если хочешь присесть, — сказала она, продолжая без малейшего смущения заниматься своим делом, что вполне естественно для странствующих актеров, привыкших к беспорядочной жизни. — Чем могу тебе помочь? Ты хотел меня о чем-то просить?

Ее ненаигранная уверенность в том, что он мог прийти к ней только потому, что ему что-то от нее нужно, больно задела Казанову — куда больнее сейчас, когда благодаря Анриетте он стал мягче и чувствительнее. Он почувствовал себя изрядным негодяем.

— Да, мне надо кое-что тебе сказать, — хриплым голосом и весьма смиренно произнес он, — но я ни о чем не собираюсь просить.

Она подняла голову от умывальника.

— Это звучит таинственно.

— Никакой тайны тут нет. Я хотел поблагодарить тебя за... словом, за все, что ты сделала, чтобы... я хочу сказать, ты проявила ко мне удивительную доброту и...

Речь получилась такой сбивчивой и глупой, что Казанова решил не продолжать и не увязать еще глубже. Мариетта не произнесла ни слова, пока не покончила с умыванием и не села, чтобы сменить чулки.

— И все? — лукаво спросила она, глядя на него и застегивая резинки.

Казанова сразу осмелел и запыхал — ни один мужчина не в силах противостоять вызову, бросаемому этим маленьким, но необходимым предметом женского туалета восемнадцатого века, а уж Казанова тем более.

— Нет! Я надеялся, что ты примешь от меня небольшой подарок...

Он достал из кармана коробочку, открыл ее и вручил Мариетте — в коробочке лежали золотые часы с прелестной гравировкой, очень похожие на те, которыми она любовалась накануне вечером, но у молодого аристократа, которому они принадлежали, не хватило ума и такта подарить их ей. Казанова прочесал весь город, чтобы найти такие же, — дамы носили их тогда в маленьком кармашке у талии... Как же мужчина способен обманываться, да и женщина тоже! С одной точки зрения, что может быть естественнее подобного подарка существу, которое так помогло двум игрокам? Казанова без особого труда убедил Моску, что они должны как-то отблагодарить Мариетту за союзничество, и с хитростью настоящего дельца убедил его, что подарок должен быть оплачен ими совместно, однако преподнесен им одним. Все это выглядело достаточно разумно, однако, как часто бывало, не подсказал ли Казанове такой ход двукрылый Дьявол с золотыми стрелами? Признать, что молодая женщина помогла им в игре, — да; за это можно было дать ей кошелек с золотом или даже процент от выигрыша, но зачем надо было выбирать прелестный подарок, которого ей не сделал незадачливый или тупой воздыхатель, и зачем преподносить его одному, зная, что она в это время переодевается?

Мариетта не обладала достаточной тонкостью, чтобы отвернуться от такого подношения. При всей своей красоте и популярности она еще не привыкла к изысканным подаркам, за которые должна была бы работать

не одну неделю. Она вынула часики из их атласного гнезда, полюбовалась ими, развернула цепочку и прикрепила ее к кармашку. Затем воскликнула:

— Ох, до чего же ты щедр и так быстро узнал, что человеку хочется!..— Она вспомнила о влюбленном юнце, который, однако, не сделал ей прошлым вечером такого подарка.— Надо тебя за это расцеловать!

Произнесено это было естественно и просто, как естествен и прост был поцелуй — так целует обрадованный ребенок, без умысла и задней мысли, но у Казановы прикосновение женских губ всегда зажигало пожар в крови. Мариетта сняла руки с его шеи и уже хотела было отодвинуться, но он удержал ее и сказал:

— Есть еще кое-что...

— Что же? — Следует признать, что Мариетта не делала особых усилий высвободиться.

— Ты, должно быть, догадываешься. Это нелегко произнести, и вообще слова мало чего стоят, но я прошу у тебя прощения за то, что было.

Он произнес это с трудом — человеку бесстыжему всегда трудно признать себя в чем-то виновным — и уже приготовился к тому, что она вспылит от возмущения при напоминании о том, как скверно он с ней обошелся. Ничего подобного не произошло.

— Мне казалось, что это я должна перед тобой извиниться,— сказала она, опустив глаза и покраснев.

Казанова не мог поверить собственным ушам.

— Что ты хочешь сказать?

— Ты поступил лишь так, как поступил бы любой молодой человек с влюбившейся в него девушкой, при том что моему мерзкому старому дядюшке вздумалось наслать на тебя сбиров и попытаться упрятать тебя в тюрьму, а меня потом выдать замуж за старика крестьянина... брр! Как же он был мне ненавистен после тебя.

Казанова перевел дух, и пальцы его, державшие Мариетту за локти, нежно скользнули вдоль ее прохладных рук и взяли за запястье. То, что на все случившееся можно было посмотреть с такой точки зрения, никогда не приходило ему в голову, но звучало это в наивных устах его предполагаемой жертвы вполне разумно. В любом случае, ну с какой стати ему возражать ей? Забавно все-таки: в Венеции подняли такой шум, что ему пришлось залечь в укрытие, а потом даже и уехать из собственного города, в то время как якобы

обманутая им особа вовсе не жаловалась, более того: считала, что ее сторона во всем виновата! Он рассмеялся, и Мариетта с улыбкой вопросительно взглянула на него.

— Я просто подумал, — сказал он, — что если бы нам дозволено было делать то, что мы хотим, никаких неприятностей вообще не было бы.

Оба рассмеялись, думая о том, что каждый из них проделал в жизни, и хотя любовь — чувство серьезное, хорошо известно, что Венера — улыбчивая богиня.

— В таком случае, — сказал он, привлекая к себе Мариетту, — раз мы с тобой никогда не были врагами, нет нужды говорить: «поцелуемся и станем друзьями». Давай поцелуемся и останемся друзьями.

Она подставила ему губы, но то был не дружеский поцелуй — и не короткий, и не единственный. Довольно долго они стояли так, слившись губами, и первым оторвался от губ Мариетты и остановился Казанова. И, ловко задув свечи, увлек отнюдь не сопротивлявшуюся Мариетту на диван.

8

Три дня Казанова жил в лихорадке возбуждения, не делая паузы ни для отдыха, ни для того, чтобы подумать, а подумать следовало. Но он не смел думать, ибо это заставило бы его увидеть себя в истинном свете, а он не хотел себя видеть таким. Мужчину всегда следует жалеть, тем более когда он переживает трагедию наслаждения и убаюкивает себя жалкой иллюзией, что это — счастье. Сколько от него потребовалось сил и искусства лицемерия, чтобы Мариетта, как он надеялся, не узнала о существовании Анриетты, а Анриетта не обнаружила Мариетту! Преследуя эту безумную цель, он с еще более безумным пылом пытался удвоить внимание обеим женщинам, чтобы те двенадцать часов, которые он дарил, казались каждой двадцатью четырьмя часами. И усилия его были жалкими, поскольку в них не было необходимости и они никого не обманывали: Мариетта узнала об Анриетте из сплетен, ходивших по городу, задолго до истории с часиками и с поцелуем и того, что за этим последовало, а Анриетта, при ее умении мгновенно угадывать самые сокровенные чувства Казановы, почуяла существование Мариетты еще до поцелуя и была глубоко опечалена, уверившись в существовании связи потом. И ни

одна из них не была убоготорена, невзира на все внимание, каким осыпал каждую Казанова,— обеим было не по себе, хотя и по разным причинам. Пожалуй, Мариетта, не требовавшая многого, получала больше радости.

В своем неистовстве Казанова, по сути дела, почти не спал — лишь время от времени ему удавалось вздремнуть на несколько минут, и в результате на третий день к вечеру он уснул на диване у Анриетты, когда пытался уговорить ее снова предаться любви. Она какое-то время понаблюдала за ним и, видя, что даже его необычайная жизнеспособность сдала и теперь он проспит не один час, тихонько оделась, велела запряхь коляску и отправилась в театр.

Было это за час до начала представления, но любители театра уже стояли в очереди за дешевыми местами, а другие группкой собрались у актерского входа. Мрачный старик с на редкость кислой физиономией стоял на страже и упорно никого не впускал — даже не разрешал подходить слишком близко.

Анриетта приостановилась, оценивая ситуацию. Дождавшись момента, когда группка зевак откатилась от старика, она быстро шагнула к нему и молча сунула ему в руку золотой. Кислое выражение мгновенно сменилось довольно мрачной, но все же улыбкой — он взял монету и внимательнее взгляделся в лицо, которое даже его иссохшей душе и чреслам показалось красивым.

— Это вы мне за что? — спросил он.

— Ш-ш! — Анриетта приложила палец к губам и многозначительно взглянула на бездельников, которые при виде хорошенькой женщины уже снова приблизились с намерением узнать, что она тут делает. Анриетта прошептала: — Я с поручением от синьора Казановы. Пропустите же.

Старик, ворча, пропустил ее, предварительно гаркнув на группку любопытных и заставив их отступить.

— С каким таким поручением? Кто вам нужен-то? — недоверчиво спросил он.

— Казанова заболел и не сможет сегодня вечером прийти, — поспешно солгала Анриетта. — Он хочет, чтобы я сказала об этом даме...

— Какой даме? — Старик снова стал мрачен, явно не желая ничего выдавать.

Анриетта вместо ответа вытащила еще один золотой.

— Отведите меня в ее уборную, и эта монета — ваша.

— Она еще не пришла, — буркнул он, глядя на монету.

— Неважно. Отведите меня туда, я ее подожду.

И Анриетта стала ждать в не слишком удобной уборной с низким потолком; спускались сумерки, и на церквах и в монастырях зазвонили колокола, призывая к мессе. Затем наступила грустная тишина, лишь подчеркивавшая естественную печаль этого часа. Анриетте стало не по себе. Она приехала в театр и с помощью хитрости пробралась к любовнице Джакомо, повинувшись порыву, не подумав о том, что она скажет или сделает, когда встретится с этой женщиной, да и вообще что это за женщина. А вдруг — Анриетту передернуло от отвращения — она окажется наглой, злобной особой с пронзительным голосом? Анриетта поднялась со стула и заходила по комнате, затем остановилась у медленно темневшего окна и с минуту-другую понаблюдала за тем, как летучие мыши чередой вылетают из щелей старой башни, камнем падают вниз и не разбиваются, казалось, чудом успев раскрыть крылья. Вот бы ее ум сработал так же ловко, как тело летучей мыши. Она только было решила сбежать, как в тишине раздалось постукивание высоких каблучков по деревянному полу не застланного ковром коридора и чье-то веселое и беззаботное пение. Дверь распахнулась, и две женщины оказались лицом к лицу друг с другом.

— О, Господи! — воскликнула Мариетта, уже с чисто актерской интонацией. — Как вы меня напугали, моя дорогая! Вы, видно, попали не в ту комнату?

Хорошенькая, подумала Анриетта, даже чересчур хорошенькая, и голос у нее был бы вполне приятным, если бы не наигранная манера говорить.

— Нет, — сказала она, — я хотела видеть именно вас.

— Меня? — Мариетта была озадачена. — Но я никогда прежде с вами не встречалась.

— У меня есть пароль, который сразу вам меня представит, — сказала Анриетта, прибегая к маленькой хитрости, которой пользовался Чино.

— Пароль? Не понимаю!

— Сейчас скажу: Джакомо, — произнесла Анриетта, пристально наблюдая за молодой актрисой, и в награду за свою наблюдательность увидела, как побелела и изменилась в лице молодая женщина.

— Джакомо? — поспешно переспросила Мариетта. — Он что, заболел? Что-то случилось? О, Господи, неужели его все-таки заставили драться на дуэли?

На все эти вопросы Анриетта лишь отрицательно качала головой, так что Мариетта наконец нетерпеливо спросила:

— Так что же с ним в таком случае?

— Когда я уходила, он крепко спал,— сухо сказала Анриетта.

Мариетта с секунду смотрела на нее, осмысливая это сообщение. Затем рассмеялась.

— А-а, так мы с вами, значит, одного поля ягоды,— сказала она. — Собственно, вы, должно быть, Анриетта! Не присядете ли?

— Я не собираюсь вас задерживать,— сказала Анриетта, тем не менее садясь,— я знаю, что вы заняты, но мне кажется, нам следует кое-что прояснить...

— Мне жаль только, что на этот раз все так быстро окончилось,— задумчиво произнесла Мариетта.

Настала очередь Анриетты удивленно уставиться на нее.

— Я ведь та девушка, которая влюбилась в него в Чоггиа, а потом мой старый глупый дядюшка вызвал полицию,— пояснила Мариетта. — Вы, наверное, обо всем этом слышали — мне говорили, что об этом даже песню сочинили, которую распевают по всей Северной Италии. А Джакомо — вы же знаете,— он сбежал от меня. О, теперь-то я его не виню, хоть и пролила по нему немало слез и выслушала столько ругани, меня даже несколько раз били. Не его это, понимаете, вина. Не может он быть верен одной женщине, как лев не может жить на молоке... Что с вами?

При последних ее словах Анриетта покачнулась и побледнела, но почти тотчас взяла себя в руки.

— Продолжайте,— сказала она слегка охрипшим голосом.— Я вас слушаю.

— Да, собственно, и говорить-то больше нечего,— сказала Мариетта и, подойдя к зеркалу, принялась причесываться к вечернему представлению. — Когда я встретила его тут, я с радостью снова стала принадлежать ему. Я знала, что он опять от меня уйдет, когда я надоем, но раз я ему настолько нравлюсь, что он ко мне вернулся,— кто знает? — может, вернется и опять.

— Вы его очень любите? — сумела выдавить из себя Анриетта.

— Ах, это! — Мариетта передернула очень красивыми плечами и, отвернувшись от зеркала, стала зажигать свечи.— Это умерло в Чоггиа. Захоти я выйти за кого-нибудь замуж, мне и надо было выходить. А меня, на мое несчастье, выдали за богатого дурака-крестьянина... Но не следовало мне все это вам говорить. Вы ведь его любите, верно?

Анриетта ничего не ответила. Она пригнулась к Мариетте и взволнованно произнесла:

— Он такой глупый — да ему не провести ни одной из нас! Я сразу все поняла. Но он такой... он, по всей вероятности, думает, что может нас обеих сделать счастливыми и выбивается ради этого из сил.

— И поделом ему, — не без иронии сказала Мариетта. — Почему мы должны всегда страдать?

Анриетта молчала, всем своим видом показывая, что не разделяет этой мысли.

— Я уезжаю завтра из Флоренции, — спокойно произнесла она. — Но мне хотелось сначала увидеть вас. Извините меня за это. Мой поступок объясняется не пустым любопытством. Дело в том, что...

И, к собственному огорчению и изумлению, а также к испугу Мариетты, она разразилась рыданиями и уткнулась лицом в ладони. Мариетта с минуту смотрела на нее, затем положила щетку, заколола растрепанные волосы двумя-тремя шпильками и, опустившись на колени рядом с Анриеттой, обняла ее и стала утешать. Когда рыдания поутихли, Мариетта сказала:

— Вы хотите дать мне понять, что он свободен и будет теперь мой?

Анриетта кивнула, но, пытаясь сладить с рыданиями, произнести ни слова не могла.

— А теперь послушайте вы меня, — сказала Мариетта, не выпуская ее из объятий и поглаживая по плечу, — не думайте, что я с вами неискренна или что разыгрываю комедию, потому что это не так. И не делайте никаких глупостей: не думайте, что он не любит вас. Он любит вас так, как способен любить женщину, и, пожалуй, больше, чем люблю другую. Ведь он же боролся с собой, когда его потянуло ко мне, а такого с ним — держу пари — ни разу в жизни не бывало. Неужели вы не знаете, что он любит вас?

— Это не та любовь, о какой я мечтала, — нашла в себе силы произнести Анриетта.

— Мечтала?! — В голосе Мариетты зазвучала обида. — У меня тоже были мечты, и, судя по тем сказкам, которые рассказывал мне мессир Казанова, у него тоже. Став любовницей Казановы, женщина должна забыть о мечтах и принимать реальность такой, какая есть. Он никогда не будет вам верен. Не может он. Это не в его натуре. Он не в состоянии противиться хорошенькой женщине, которой вздумалось его заполучить. Но он

всегда будет возвращаться к вам. Он даст вам лучшее, что в нем есть, а со временем...

— Со временем...— произнесла Анриетта, вставая и беря Мариетту за руку.— Ах, я постарею задолго до того, как он перестанет мечтать о других губках и грудках. А теперь мне пора. Но вы явно желаете мне добра, вы хорошая. Я хочу поблагодарить вас и сказать, что я... я не питаю к вам ненависти, хотя, казалось, должна бы питать. И вы очень хорошенькая. Неудивительно...

— Ах,— вздохнула Мариетта с ноткой несвойственного ей ранее цинизма и поцеловала свою соперницу.— Но вы же знаете: люди всегда говорили, что Казанова понимает толк в женщинах.

А господин, о котором шел разговор, продолжал спать на диване, когда Анриетта вернулась и принялась как можно тише укладывать свои вещи, готовясь к отъезду из Флоренции. Она старалась как можно дольше не тревожить его, но поскольку многие вещи находились в той комнате, где он спал, ей пришлось заняться укладкой и там. Она затеплила лишь одну свечу под колпачком и передвигалась почти так же бесшумно, как хорошая сиделка при больном. А Казанова продолжал спать, и Анриетта уже начала думать, что ей удастся упаковать все вещи, прежде чем он проснется. Она уже складывала последнюю одежду, когда что-то побудило ее поднять глаза и она увидела, что Казанова проснулся и смотрит на нее. Сначала он не понял, чем она занята, и Анриетта подошла к нему, чтобы он не увидел саквояжа, в который она укладывала вещи.

— Который час? — спросил он, зевая, и потянул за цепочку лежавшие в кармашке часы.— Что?! Больше часа ночи! Почему, черт возьми, ты не разбудила меня? — Анриетта молчала, лишь с улыбкой глядела на него. Он расхохотался.— Москва будет на меня в ярости. Неважно, я помирюсь с этим мерзавцем завтра.— Он окинул Анриетту быстрым взглядом и заметил раскрытый саквояж.— А почему ты не легла? — спросил он.

— Мне надо было кое-что сделать,— спокойно ответила она.

— Что именно?

— О, кое-что прибрать и...

— Ты выходила,— сказал он, прерывая ее, так как заметил, что на ней уличные туфли, а на них следы

глины с грязной театральной улицы.— И ты укладываешься? Что все это значит?

— Ты наверняка еще не отдохнул, Джакомо,— умиротворяюще произнесла она.— Не лучше ли тебе лечь в постель, а потом утром...

Он ревниво подметил, что она сказала: «лечь в постель», а не «лечь со мной».

— Я не могу лечь, пока не узнаю, почему ты упаковываешь вещи.— Он подошел к двери и заглянул в соседнюю комнату.— Ты уже упаковала все свои вещи! Что это значит?

Анриетта с нарочитым спокойствием села.

— Присядь, Джакомо, и не распаяйся,— сказала она все тем же умиротворяющим тоном, который вместо того, чтобы успокоить, выводил его из себя и рождал подозрения.— Ничего особенного не случилось. Простое совпадение. Пока ты спал, я получила срочное послание по поводу моих дел. Меня предупреждают, что период ожидания, по всей вероятности, подходит к концу. Так или иначе, я должна отсюда уехать, чтобы встретиться... с ну, в общем, с одним другом нашей семьи и...

— Ты намереваешься ехать без меня? — спросил Казанова, глядя на нее в упор.

— В общем, да.— В голосе ее слышалась легкая дрожь.— Извещение пришло так неожиданно, а у тебя... эта твоя работа в театре. Ты, наверно, сможешь последовать за мной, когда все здесь закончишь, или мы, наверно, могли бы встретиться где-нибудь...

— Наверно, наверно,— нетерпеливо повторил он следом за ней, продолжая смотреть на нее в упор. Зачем ты выходила?

— Мне надо было попросить Чино добыть мне почтовую карету на завтра...

— Чтобы повторить твой знаменитый трюк с исчезновением? — возмущенно спросил Казанова.— Не слишком ли часто ты разбиваешь мне сердце своими внезапными исчезновениями? Я полагаю, мне следует благодарить судьбу за то, что я вовремя проснулся и ты не успела исчезнуть, даже не попрощавшись и не оставив адреса. Неужели ты еще недостаточно заставила меня страдать?..

— Но я же не уехала, Джакомо,— мягко произнесла она со слезами на глазах.

— Почему ты вообще должна уезжать?

— Должна.

— В таком случае я поеду с тобой...

Она печально покачала головой.

— Ты все время будешь жалеть о том, что ты здесь оставил.

Казанову внезапно осенило, и он увидел то, чего до сих пор не мог разглядеть.

— Понял! — воскликнул он, вскочил на ноги и принялся мерить шагами комнату. — Возможно, ты и ходила к Чино, но ты была также в театре!

Она этого не отрицала, но и не подтверждала, тем не менее он был уверен, что находится на верном пути.

— У тебя зародились подозрения относительно меня, — продолжал он, — и ты отправилась посмотреть, не найдется ли подтверждений твоим подозрениям. Разве это справедливо, разве это называется доверием ко мне — а ведь ты говорила, что питаешь ко мне доверие, — разве...

— Я с самого первого дня инстинктивно знала о твоей связи с Мариеттой, — спокойно перебила она его.

Казанова повернулся и, как подстреленный, упал в кресло. Вся его линия обороны рухнула от одного слова «Мариетта». Он-то собирался блефовать, считая, что Анриетта просто страдает мнительностью, — он никогда и не представлял себе, что она могла добыть такие точные сведения за столь короткий срок. Он, конечно, мог бы по-прежнему все отрицать и попытаться красноречием подменить правду, но он был слишком смекалист и слишком умен, чтобы не понять, что не сумеет переубедить Анриетту простым отрицанием, а, наоборот, лишь навредит себе.

— Почему ты назвала именно это имя — Мариетта? — наконец спросил он. — Кто тебе его подсказал?

— Она сама.

— Она? Она!

— Да, у нас с ней был разговор о тебе.

Казанова был ошеломлен — так мог бы быть ошеломлен человек, тративший деньги без оглядки и вдруг обнаруживший, что он не просто перебрал в банке, а он — банкрот. Правда, в Казанове было столько от игрока — даже в его сердечных делах, — что этот пример не совсем точен. Он свято уповал на свое счастье в этой игре с двумя женщинами и в запале рискнул расположением единственной женщины, которая действительно глубоко затронула его душу; даже в самые мрачные минуты ему и в голову не приходило, что две женщины могут встретиться, причем не как враги, а — начал он опасаться — как союзницы, объединившиеся против него. Он чувствовал

себя не меньшим дураком, чем болван, попавший в западню, расставленную в шутку для другого...

— И что же вы обо мне говорили? — наконец выдавил он из себя. Вопрос был не очень разумный и не такой, какой мог бы задать человек обороняющийся, но ничего другого Казанове в голову не пришло. Он бы много дал, чтобы знать в точности, что говорили эти две женщины о нем.

— Это едва ли будет тебе интересно, — возразила Анриетта, пожалуй, с большим сарказмом, чем намеревалась. И, поднявшись, добавила: — Мне надо закончить укладку, а потом я должна хоть немного отдохнуть. Да и ты, наверно, все еще чувствуешь себя усталым...

— Ты думаешь, я позволю тебе уехать вот так — одной и...

— Прошу тебя, Джакомо! — Она приложила руку ко лбу. — Мне и так тяжело. Не делай, чтоб мне было еще тяжелее.

Мозг его бешено работал, но в пустоте и тщете — он не мог уловить ни единой спасительной соломинки. Лишь снова и снова крутилась мысль: «Ты потерял их обоих, ты потерял их обоих, ты потерял их обоих».

— Тяжелее?! — воскликнул он, вскакивая на ноги в порыве самобичевания. — Да, да, тебе тяжело. Но тяжелее всего мне.

— Тебе?! — В голосе Анриетты звучал укор и даже то, что может нанести хрупкой Любви самый роковой удар, — тень презрения. Но прежде всего в нем звучало изумление.

— Я знаю, это выглядит глупо, самоуверенно, плоско, — воскликнул он, — как будто я не видел, что, вызывая у тебя недоверие, разрушаю твою веру в жизнь! Но теперь, когда я вижу, что я натворил, я презираю себя. Я уподобился человеку, продавшему королевское наследие за ночь наслаждения...

Анриетта взмахнула рукой, отрицая это, — Казанова по-своему понял ее жест.

— Я вовсе не пытаюсь принизить Мариетту, — поспешил заявить он. — Небу известно, что она по своим человеческим качествам куда лучше меня. Горюю же я, что потерял то, что имел в тебе, то, что ты могла мне дать и давала, — несопоставимое даже в сравнении с ней. Да, она миленькая и молоденькая, и щедрая, и прелестная, но таких женщин много — они могут все это дать, но не больше. Меня же сводит с ума мысль о том, какое

несчетное сокровище я имел в тебе... Но лучше об этом не думать.

Тронули ли Анриетту эти бессвязные слова, которые были произнесены, однако, не без страсти? Увы, если уж возникает подозрение в искренности любимого, самые честные, казалось бы, слова звучат фальшиво, как клятвы игрока в кости. Любовь, познавшая предательство, не может спокойно существовать где-то между избытком доверия и безмерным презрением. Однако пока любящее сердце не устанет от любви и не начнет искать перемен, оно будет с надеждой прислушиваться, не появилось ли малейшего намека на улучшение, хоть какой-то надежды на то, что нанесенная ему кровоточащая рана может зарубцеваться.

— Какое значение имеют сейчас слова? — сказала Анриетта. — Ты пытаешься вернуть меня на нъедестал, с которого сам меня сбросил. К чему мучить себя мыслями о том, что могло бы быть, когда уже слишком поздно?

— А разве то, что ты говоришь, не указывает на сожаление, не менее горькое, чем у Данте? — воскликнул он. — Вспоминаешь о счастье в годину бедствий — горше этого ничего быть не может, особенно если виноват ты сам. Но я не бог, и я же не женщина — я мужчина, и притом глупый мужчина, а потому я чувствую сожаление. Чувство это бесполезное, если тебе угодно, но тем не менее сильное.

Вот теперь он растрогал ее, унизился, не став жалким, а это ведь одна из жертв, каких требует оскорбленное любящее сердце.

— Нет нужды сожалеть, — сказала она уже мягче, — я по-прежнему считаю, что тебе следует отдохнуть...

— Чтобы ты могла сбежать и улететь, как стая жаворонков осенью!

Казанова сражался изо всех сил — сперва не столько за то, чтобы удержать ее, сколько за то, чтобы она позволила ему попытаться ее удержать. За него было то, что у него не хватило ума не пытаться ее обманывать, — его покаяние, во всяком случае, звучало искренне. А против — то, что он устал и ему трудно было выстраивать свои мысли. Одной мысли, однако, он отчаянно держался: если он сейчас даст Анриетте уехать, она уйдет от него навсегда. Но ему следовало затаять эту мысль, и он произнес ее вслух лишь в самый последний момент.

Анриетта ничего на это не сказала — лишь спокойно поднялась, чтобы закончить укладку. А он наблюдал за ней, застыв в отчаянии, раздумывая, что же еще сказать, чтобы смягчить ее. Последний предмет туалета был уложен, и Анриетта принялась застегивать саквояж. Казанова пришел ей на помощь, как пришел бы на помощь любой другой женщине.

— Позволь мне.

То, что было непосильно ее хрупким пальчикам, мгновенно поддалось его крепким, стальным пальцам. Неплохо, пожалуй, что ему представился случай показать свое физическое превосходство над ней — пожалуй, единственное, сохранившееся за ним в ее представлении, мрачно подумал он. Затем, когда она безразличным тоном поблагодарила его, он импульсивно взял ее руку.

— Ты же не порвешь со мной так безжалостно? — взмолился он. — Наказывая меня, ты наказываешь себя. Слишком большое ты придаешь всему этому значение. Позволь мне поехать с тобой.

— Но, — с легкой горечью, однако безо всякой мстительности сказала она, — в таком случае я отберу тебя у твоей другой любви. А я намерена вернуть тебя Мариетте.

Ему хотелось нетерпеливо взмахнуть рукой, но он сдержался.

— Если бы там была идиллия, — сказал он и попытался улыбнуться, — я не стоял бы здесь и не умолял бы тебя взять назад то, чего ты никогда не теряла. Я просил бы у Мариетты извинения за то, что уезжаю...

— В таком случае иди к ней! — пылко воскликнула Анриетта.

— Нет! — Наконец-то он увидел слабый лучик надежды: ее терпимость к Мариетте все-таки дала трещину и переродилась в ревность. — В этом нет нужды, но я напишу ей, если...

— Если — что?

— Если ты обещаешь мне, что я могу поехать с тобой.

— И что же ты ей скажешь?

Он пожал плечами.

— Ты увидишь письмо, когда оно будет написано, но зачем его писать, пока я не уверен в том, что мы не расстанемся?

— А какой смысл в том, чтобы оставаться вместе, если любое легкое увлечение, встречающееся на твоём пути, может отбросить нас друг от друга?

Казанова не стал пытаться доказывать обратное. Ему казалось, что он уже достаточно привел доказательств — да и она тоже — и что настало время испытать что-то более веское.

Он быстро привлек её к себе и прильнул губами к её губам. Она с мгновением сопротивлялась, потом беспомощно уступила его поцелуям. Он же не отпускал её, пока не уверился, что одержал победу — не окончательную, но, по крайней мере, у него появился шанс вернуть Анриетту.

— Так я могу поехать с тобой? — прошептал он.

Она наклонила голову — не слишком охотно, подумал он, но все же наклонила.

— Ты обещаешь? — не отступался он.

— Если ты, в свою очередь, обещаешь отдохнуть, пока не настанет время ехать.

— А ты все устроила? И для меня будет место в карете?

— Да. А теперь отдыхай.

Ни слова не говоря, Казанова повернулся, подошел к дивану и лег. Анриетта взяла его теплый плащ для путешествий, накрыла им Казанову и, как ребенку, подоткнула концы.

— Спасибо, — с улыбкой сказал он.

Она нагнулась и коснулась губами его лба.

— Спасибо, — повторил он с еще большей благодарностью, и, когда она уже повернулась, чтобы уйти, добавил: — Кстати, а куда мы едем?

— В Венецию, — сказала она уже с порога.

— В... — Он даже приподнялся на локте от удивления. Казалось, он хотел что-то добавить, что-то возразить, подумала она, но он ничего не сказал и, снова опустившись на диван, закрыл глаза, а она повернулась и вышла.

Оба совсем забыли про письмо Мариетте.

9

Путешествие через Апеннины в Болонью, а оттуда через Феррару, Ровиго и Падую — в Венецию особенно приятно весной, когда едешь в карете с милым сердцу спутником. По дороге не было никаких неприятных

происшествий, и, когда Флоренция и связанные с нею горькие воспоминания остались позади, Казанова и Анриетта снова вступили в медовый месяц, только на этот раз в меду был привкус червоточинки, как бы предупреждение. Казанова понимал, что он, так сказать, проходит испытательный срок, но, по мере того, как они ехали дальше — не спеша, только при солнце, — он преисполнялся все большей уверенности в себе, а когда они вновь вступили в его родной город, где мрамор и вода, и он обратился на венецианском диалекте к гондольеру, помогая Анриетте сесть в лодку, Казанова снова почувствовал себя самим собой.

В пути было лишь одно небольшое происшествие, в котором не было, по сути дела, ничего неприятного, если не считать возможных последствий. Когда они выходили из гостиницы в Болонье, Анриетта вдруг взяла Казанову за локоть и шепотом спросила:

— Кто этот человек? Смотри, вон тот, смуглый, с бородой и без шляпы?

— Какой человек? — По такому туманному описанию Казанова не мог определить, кого она имеет в виду. — Он что-то сделал?.. Кто?..

— Я видела его дважды во Флоренции, а это все равно как если бы я видела его сотни раз, — сказала она. — Похоже, он за мной шпионит. Вон тот! Он уходит! Он заметил, что мы говорим о нем.

— А-а! — Казанова наконец приметил мужчину.

— Ты его не знаешь? — с тревогой спросила она. — Кто он? И что ему может быть нужно?

— Уверен, что не знаю, — небрежно ответил Казанова. — Наверное, побирушка, у которого не хватает смелости просить подаяние. Пошли же...

— Но по тому, как ты говоришь, у меня создается впечатление, что ты его узнал!

— В самом деле? Он мне смутно знаком? Возможно, я видел его во Флоренции.

— Но ты не знаешь, кто он?

— Откуда же, черт побери, я могу это знать? Право, дорогая, нам пора в путь. Почтальон нервничает, а это редко с ними случается — разве что когда они боятся не получить на чай.

Видите, что значит иметь нечистую совесть! В противном случае Казанова мгновенно сказал бы, что знает этого человека, — это домоправитель, или управляющий, доверенный человек донны Джульетты, и Казанова не

раз замечал, как этот человек ходил за ним по пятам во Флоренции. Но сейчас, еле войдя в милость к Анриетте, после того как она уличила его в неверности, он не посмел назвать имя донны Джульетты. Это могло повести к расспросам, подозрениям, всякого рода осложнениям — и так уже скверно, что они едут в Венецию, где живет Розаура, и даже сам Казанова едва ли помнил, сколько других, начиная с Марты и Анджели, которые могут вызвать не меньший разлад, произнеси он всего десяток излишне правдивых слов... Казанове показалось безопаснее сделать вид, будто он не знает этого человека, хотя ему и было не по себе от сознания, что наблюдатель донны Джульетты переместился из Флоренции в Болонью, а потом может продолжить свой надзор и в Венеции.

Казанова и ожидал, и опасался увидеть в Венеции этого весьма неумелого шпиона, но человек этот, если и последовал за ними, оставался невидимым, и Казанова, с радостью и удовольствием занявшийся подысканием казино для Анриетты, знакомя ее с разными увеселениями и красотами своего города, а также встречаясь со старыми друзьями, забыл о нем. Венеция значила для Казанова куда больше, чем он в этом признавался другим или даже себе. Он был безусловно космополитом, но Венеция была все-таки самым приятным местом в Европе, не исключая и Парижа...

Когда Казанова вошел без доклада в салон замка Брагадина, ему показалось, что многих месяцев отсутствия словно и не было: присутствующие играли во все тот же трик-трак, вот только среди них не было Марко. Ну и, конечно, раздались радостные крики по поводу его возвращения, начались объятия, похлопывания по спине, открылись табакерки, чтобы понюшка табаку могла извинить появление носовых платков, зашелестели старческие голоса. Однако в воздухе чувствовалась какая-то напряженность, чего Казанова — несмотря на все удовольствие от встречи со старыми друзьями — не мог не заметить. Что-то они не договаривали, то и дело смотрели на что-то за его спиной, и Казанова даже почувствовал отсутствие восторга, когда он упомянул, что намерен навсегда поселиться в Венеции. Они были явно смущены, и он отнес все это за счет присутствия в Венеции Анриетты, даже не потрудившись задаться вопросом, откуда они узнали, что Анриетта приехала с ним, когда понятия не имели, что он сам в Венеции. Уязвленный их, казалось, критическим отношением к себе, Казанова решил не упоминать про Анриетту.

— А где Марко? — спросил он.

— Ты рассчитывал найти его здесь, юноша? — вопросом на вопрос ответил старик Брагадин. — Вот чума! Станет он тратить время на таких стариков, как мы. Ты прекрасно знаешь, что он бывал здесь только ради тебя. Мы его уже много недель не видели.

— Он у отца?

— Ах, он тебе нужен для какой-нибудь очередной эскапады? — не без цинизма заметил Барбаро. — Предупреждаю тебя, Джакомо: твоя последняя любовная авантюра еще не забыта и...

— Я сам могу позаботиться о себе, Ваше Превосходительство, — холодно осадил его Казанова, — и благодарю вас за предупреждение.

— Не относись к этому так легкомысленно, — сказал Брагадин с серьезностью, появлявшейся у него, лишь когда он имел дело с «Ключом Соломона» или другими оккультными предметами. — Послушайся нашего совета: уезжай из Венеции столь же быстро и скрытно, как ты сюда приехал.

— Ах, ну зачем же так меня встречать, — сказал Казанова полушутя, полудосадливо, — даже если вы и не рады снова видеть у себя в доме блудного сына.

— Ты говоришь так, чтобы испытать нас и заставить забыть об осторожности, — сухо заметил Брагадин. — Тебе бы следовало получше нас знать. Ну, садись же и давай зададим несколько вопросов священному «Ключу».

— Не сейчас, синьор, вы уж меня извините, — небрежным тоном заметил Казанова. — У меня много дел, и я пришел к вам первому, чтобы выразить свою любовь и благодарность. Я снова приду завтра, и мы устроим долгий разговор с «Ключом» — будем его спрашивать столько, сколько вы пожелаете.

— Но завтра же Вознесение! — чуть ли не хором воскликнули трое стариков.

В этот день начинался большой праздник Венецианской республики — ежегодное «Обручение с морем», когда дож торжественно бросает кольцо в Адриатическое море, открывая тем самым неделю веселья.

— Я совсем забыл, — беспечно бросил Казанова, а сам тотчас подумал, что этот праздник будет для Анриетты приятным приобщением к Венеции. — Ну, в таком случае я зайду вечером... — А подумав, что вечер, пожалуй, можно провести более приятно, добавил: — Или на

следующее утро. А пока — au revoir *. Если увидите Марко, не забудьте сказать ему, что я здесь.

— Всенепременно! — любезно сказал старик Брагадин, пожимая Казанове руку. — Занимайся своими делами, юноша, и будь осторожен. И... еще одно предупреждение: держись подальше от секретов в политике, особенно если речь идет о враждебно настроенных друг к другу странах.

— Секретов в политике? — Казанова громко расхохотался. — Да мне глубоко безразлична политика, будь то национальная или международная! Вы же знаете мои вкусы.

— Но у твоих друзей вкусы могут быть иные...

— Я что же, должен быть в ответе за грехи моих друзей? — спросил Казанова, передернув плечами. — Ну, мне пора. Пока — до свиданья.

И он ушел. Трое стариков переглянулись.

— Он совсем не изменился, — сказал Дзиани.

— Стал старше, — сказал Барбаро.

— Но не умнее, — добавил со вздохом Брагадин. — Однако я уверен, что он безвредный молодой человек. Все равно, хотелось бы мне убедить его держаться подальше от Венеции, пока... Ах, все это в руках людей более могущественных, чем мы!

Тем временем Казанова, не придав никакого значения намекам, показавшимся ему нелепыми, и не услышав доводов Полония **, методично обошел все места, где обычно бывал Марко, пока не получил нужных сведений и не настиг молодого человека в весьма необычном логове — винном погребке в Дзаттере, где тот сидел под колышавшейся листвой одного из редких в Венеции платанов и уныло размышлял над непочатой флягой вина. При виде Казановы в его настроении произошла поистине разительная перемена. Он вскочил, расцеловал своего друга, похлопал его по спине, проплясал вокруг стола, смеясь и восклицая, и наконец громовым голосом велел официанту подать вина.

— А это что — не годится? — спросил Казанова, укаывая на стол.

— О, Господи, я совсем забыл о нем. Вот... — Он налил Казанове бокал дрожавшей от волнения рукой. —

* До свидания (фр.).

** Полоний — герой трагедии У. Шекспира «Гамлет», старик придворный, изрекающий сентенции, поучающий свою дочь Офелию и сына Лаэрта.

Не стану спрашивать, какой счастливый ветер занес тебя домой, в Венецию. С тех пор как ты уехал, я стал похож на соленую треску во время поста. Ну, какие новости?

— Только самые наилучшие, — сказал Казанова, опустившись на стул и глотнув вина, чтобы потешить Марко. — Ты не занят? Можешь пойти со мной?

— Занят?! Да чем человек может быть занят в Венеции? — буркнул Марко. — Здесь никогда не было войны или хотя бы надежды на революцию, ничего, кроме унылого обеспеченного существования да торговли, да...

— И никаких удовольствий?

— Удовольствий?! Да, удовольствия есть, но нужно, чтобы было немножко опасно, чтобы пролилась кровь, чтобы мы стряхнули с себя апатию.

— Черт подери! — Брови у Казановы полезли вверх. — А ты изменился с тех пор, как мы виделись. Кто же она? А ну выкладывай. О, если ты не хочешь... Тогда какие новости в мире?

— Никаких, кроме тех, о которых ты читал в наших нудных газетах... до сих пор написанных от руки! Типично для нас, верно? Это в восемнадцатом-то веке газеты пишут от руки!

— Я полагаю, это один из способов выслеживать лжецов и пасквилянтов, — безразличным тоном заметил Казанова.

— Есть и одна секретная новость, — сказал Марко, понизив голос и оглядевшись, — отец слышал ее вчера в Совете, но он считает, что это пустой слух... Поступило сообщение, что готовится заговор с целью передать наши далматские крепости в руки австрийцев.

Казанова с недоверием воззрелся на него.

— Как же это, черт подери, можно осуществить?

— Ну откуда, черт подери, я могу это знать? — в тон ему ответил Марко. — Я передаю тебе слухи.

— Если ничего лучшего ты рассказать не можешь, тогда послушай мои новости, — высокомерно произнес Казанова. Ему все труднее было держать в себе свою новость, и теперь, пригнувшись к Марко и понизив голос до конфиденциального шепота, он произнес: — Я наконец завладел ею!

— Ею? — недоуменно переспросил Марко. — Это кем же? Мариеттой?

— Мариеттой?! Пф! — фыркнул Казанова. — Нет, мой мальчик, ею, ею, единственной и несравненной,

нимфой наводнения и автором лаконичных записок, подписанных «А»...

— А-а! — Марко наконец заинтересовался всерьез. — Ты все-таки ее нашел? Где же она? И кто она? Почему?..

— Хватит, — прервал его Казанова: — Она — француженка, ее зовут Анриетта, она любит меня и... — Он помолчал — для большего эффекта. — Она в Венеции.

— Черт подери! — в изумлении воскликнул Марко.

— Хочешь познакомиться с ней?

— Ты это серьезно?

Вместо ответа Казанова поднялся со стула, швырнул на столик несколько монет за вино, которое они едва пригубили, взял Марко под руку и повел к ожидавшей их гондоле. Казанова что-то сказал гондольеру, чего Марко не расслышал, затем сел с ним в фельце и принялся беседовать — о чем угодно, кроме Анриетты, разжигая его любопытство и не отвечая ни на один из вопросов.

Они высадились на фундамента, и Казанова под руку с Марко направился к высоким, тесно стоящим домам, как вдруг дверь одного из них отворилась и из нее вышел мужчина. Он почти тотчас заметил Казанову, в мгновение ока опустил шляпу на глаза и, перебросив через плечо полу плаща, которая закрыла низ его лица, нырнул за угол, где его ждала гондола, которая сразу и отчалила. Казанова стоял, застыв на протяжении всего этого маленького эпизода, который занял не более тридцати секунд, в волнении он изо всей силы стиснул локоть Марко.

— Ой! — воскликнул Марко, стряхивая с себя его руку. — Ты своими дьявольскими пальцами, Джакомо, ломаешь мне локоть.

Казанова даже не извинился.

— Ты видел, кто это был? — спросил он, побелев от гнева. Марко кивнул, и губы его беззвучно произнесли:

— Фон Шаумбург.

— Какого черта он тут делал? — вспылил Казанова и зашагал к двери, таща за собой Марко.

Такова уж странная, но слишком часто встречающаяся у мужчин черта, что человек, которого всего неделю назад униженно молил забыть о его неверности, сгорает от ярости, подозрений и ревности при одной мысли, что женщина может ответить ему тем же. Казанова готов был испепелить фон Шаумбурга и до бесконечности корить Анриетту. К счастью для обоих, тут был Марко, и

Казанова вынужден был держать крышку котла закрытой, предоставив гневу еще немного покипеть. Марко же был не только очарован грацией и красотой молодой женщины, но и крайне огорчен следами слез на ее лице — обстоятельство, которого Казанова в своем возмущении не заметил.

Присутствие третьего лица хотя и предотвратило взрыв, но не рассеяло чувства скованности, возникшего, с одной стороны, из-за ревности Казановы, а с другой — из-за ощущения Анриетты, что что-то не так. Марко, стремясь положить конец неловкости, которую он тоже испытывал, хотя и не мог себе ее объяснить, решил выступить с предложением.

— Завтра у нас ежегодная церемония «Обручения с морем», синьора, — любезно сказал он Анриетте. — Вы должны непременно быть.

— Боюсь, что не смогу. Видите ли, мы ведь только что приехали...

— Но вам это не будет стоить никаких усилий — только сойти с фундамента в гондолу моего отца, — любезно продолжал Марко, — сам он будет завтра с дожем на «Бучинторо», а гондолу оставляет мне. Вы с Джакомо должны поехать со мной...

— Это очень любезно с вашей стороны, — поспешила перебить его Анриетта, все более и более смущаясь, — но я, право же, не смогу, это совершенно исключено...

— Что ты такое говоришь! — взорвался Казанова. — Конечно, мы поедем с тобой, Марко, и устроим пикник на воде, пока дож и его свита будут на Святой Елене.

— Но, Джакомо, я не хочу ехать...

— Ты сама не знаешь, чего ты лишаешься, — не отступался он и, обращаясь к Марко, добавил: — Конечно, мы поедем. Она устала после пути и сама не знает, что говорит.

Это было сказано так грубо, что глаза Анриетты наполнились слезами. Марко, конечно, все понял и мгновенно распрощался, предварительно условившись о часе, когда он за ними заедет.

Когда Казанова, мрачный и злой, как бывает со всеми мужчинами после того, как они были несправедливы к любимому существу, вернулся, проводив Марко до двери, Анриетта мягко сказала ему:

— Почему ты так настаивал на этой завтрашней поездке, Джакомо? Тебе придется за меня извиниться — я не поеду.

— Не поедешь?! — вскипел от раздражения Казанова. — А почему, собственно, хотел бы я знать? Твой отказ оскорбителен. Ты понятия не имеешь, кто такой Вальери: Марко — отпрыск одного из старейших венецианских родов. Он потом возьмет нас с собой посмотреть на большой банкет в Палаццо дожей...

— Но, Джакомо, представь на минуту, что я... по собственным соображениям... не хочу, чтобы меня видели в Венеции, я хочу быть только с тобой...

Лицо Казановы потемнело.

— По соображениям, связанным с фон Шаумбургом? — ехидно спросил он.

Анриетта не отвечала — лишь смотрела на него и все больше и больше бледнела, так что ему вдруг показалось — она сейчас лишится чувств. Испугавшись впечатления, какое произвели его слова, Казанова даже забыл о своей глупой ревности, но укрепился в своих подозрениях; протянув руки, он шагнул к Анриетте, чтобы ее поддержать. Но она жестом его отстранила.

— Что побудило тебя назвать это имя? — спросила она хриплым шепотом.

— Я видел, как он выходил из нашего дома, как раз когда мы подъехали. Что он тут делал наедине с тобой?

К щекам Анриетты вернулись краски, она поднялась с кресла, все еще слегка дрожа, и, подойдя к Казанове, положила руки ему на плечи.

— Ах, Джакомо, зачем ты пугаешь нас обоих домыслами! Да, посол был тут. Ты же знаешь, я рассказала тебе, почему я с ним знакома: моя матушка и... Он заходил лишь затем, чтобы сказать, что будет стараться мне помочь, но что я не должна больше с ним видаться. Ты сам знаешь, как ревниво относятся венецианские правители ко всем послам...

— Но ты же не венецианка, — поспешил вставить Казанова. — Я что-то не понимаю. Впрочем... — И лицо его осветилось чарующей улыбкой, — если ты обещаешь мне, что больше не будешь с ним видаться, все будет хорошо.

— Я и не хочу больше с ним видаться, — подчеркнуто произнесла она, — но как же глупо с твоей стороны забивать себе голову мыслями о человеке, который старше моей матушки.

Казанова и не заметил, что Анриетта не дала ему обещания, — он был уже вполне удовлетворен тем, что

она явно не проявляла интереса к австрийцу, к тому же, если он способен помочь ей вернуть ее владения, Казанова не станет возражать.

— Не будем больше об этом, — сказал он, целуя ее, — завтра проведем весь день на воде с Марко. Ты об этом не пожалеешь...

— Прошу тебя, Джакомо!

— Это одно из величайших зрелищ на земле.

— Но я же прошу тебя, Джакомо: меня, право, не должны видеть здесь.

— Почему, черт подери? — насутился Джакомо, преисполненный решимости теперь уж не сдаваться. — Ты самая красивая женщина в Венеции. Так почему же нельзя на тебя смотреть? Из твоих слов можно заключить, будто ты совершила какое-то тайное преступление!

— Ну хорошо, я поеду, но при одном условии... ты обещаешь мне, что мы покинем Венецию через два дня.

— *Что?!* Но тебе же хотелось побыть тут, ты говорила, что готова жить тут не один месяц...

— Но я получила... известие, которое побуждает меня уехать.

Они все еще препирались — Казанова настаивал, Анриетта уговаривала его согласиться, — когда часы в начале калье деи-Фаббри прозвонили полночь.

Тем не менее Казанова одержал верх и, невзирая на сопротивление Анриетты, препроводил ее на другое утро в красивую раззолоченную гондолу Вальери, когда она подошла к его дому. Уступая настоятельным просьбам Анриетты, он разрешил ей сесть в глубине фельце и смотреть на большое водное празднество из-под навеса. Зрелище, представшее ей, когда они достигли открытой лагуны напротив Палаццо дожей, было и в самом деле необыкновенным. Воды были усеяны раззолоченными галерами, баржами и гондолами, на которых развевались яркие разноцветные флаги и флажки. В этот момент дож, Франческо Лоренцо, потомок одного из древнейших венецианских родов, как раз садился на огромную парадную галеру «Бучинторо» вместе с патриархом Венецианским и прочими прелатами, правителями и всеми послами. Галера эта по любопытной иронии судьбы была последняя в ряду многих других, служивших до нее на этой стародавней церемонии, — она была намного больше и пышнее всех предыдущих, и огромный, красный с золотом, флаг Святого Марка развевался на ней.

Вся процессия медленно поплыла по гладким водам лагуны под кобальтово-синим венецианским небом к острову Святой Елены — «Бучинторо» шла во главе, а за нею следовало бесчисленное множество более мелких суденышек. На большой парадной галере находились трое адмиралов, а на веслах сидели сто шестьдесят наилучших гребцов из огромного арсенала Венеции. Когда «Бучинторо» пришвартовался к острову, дож сошел на берег и был встречен епископом замка, за чем последовала весьма причудливая церемония: дожу предложено было отведать каштанов, выпить красного вина и наградить присутствующих розовыми лепестками из большой серебряной чаши.

Все это Казанова и Марко описали Анриетте, катаясь вдоль острова, и Марко еще показал ей галеры и гондолы аристократов. Пока дож находился на берегу, они, как и все остальные, наскоро закусили, а затем последовали за «Бучинторо» в открытое море под громкие звуки музыки. В определенный момент патриарх благословил золотое кольцо, и дож бросил его в Адриатику с торжественными словами:

— Море, сим обручаю тебя в знак истинного и вечного правления тобой.

И тотчас с галеры грянула победная музыка.

Анриетта так увлеклась, наблюдая это своеобразное и блистательное зрелище, что совсем забыла о предосторожности и высунулась из фельце, чтобы ничего не упустить. В эту минуту обычная нераззолоченная гондола проплыла мимо, и Казанова с замиранием сердца узнал среди трех пассажиров донну Джульетту, с превеликим любопытством разглядывавшую гондолу Вальери и ее пассажиров. У Казановы вырвалось восклицание — Анриетта вздрогнула и откинулась назад в фельце; правда, она не видела гондолы, как не видел ее и Марко, всецело поглощенный созерцанием церемонии. Донна Джульетта ничем не показала, что узнала их, и гондола, выделявшаяся своей простотой среди регаты празднично разубранных судов, развернулась и быстро помчалась в направлении Лидо, а оттуда — в Венецию.

Казанова ничего не сказал об этом своим спутникам и не стал возражать, когда Марко предложил поехать в Лидо, вместо того чтобы сразу вернуться в Венецию. Он знает одного рыбака, сказал Марко, чья жена прекрасно готовит свежую рыбу, которую приносит ее муж —

в особенности барабульку,— а Марко завез к ним хорошего вина, чтобы было что пить, когда он туда наезжает. Марко знал, что Казанова обожает такого рода неожиданные пиршества с простыми людьми, а Казанова был только рад принять предложение: ему хотелось выиграть немного времени, чтобы все обдумать.

Почему донна Джульетта вдруг оказалась в Венеции? Казанова невольно вспомнил, как ее слуга ходил за ними по пятам во Флоренции, а потом в Болонье. Неужели она сумела так быстро приехать следом за ними? А если да, то с какой целью? Если она задумала какую-то пакость, то вполне могла натравить на него своих головорезов во Флоренции или по дороге. Подобно многим людям, Казанова чувствовал себя в большей безопасности в своих краях, чем в чужих, хоть и любил странствовать. В конце концов, сказал он себе, донна Джульетта в Венеции — человек чужой, а он как-никак гражданин этой республики. Хотя донна Джульетта и аристократка, но она поехала на церемонию «Бучинторо» в обычной гондоле, а он — в парадной гондоле патриция...

Словом, решил Казанова, никакая конкретная опасность не грозит, но он все же решил — предосторожности ради — тотчас оповестить свою «тайную полицию», как он именовал гондольеров, официантов из кафе, своего брадобреля и двух-трех смекалистых мальчишек, чтобы они наблюдали за всеми передвижениями донны Джульетты. Всем вместе им, возможно, удастся выяснить, что она делает в Венеции, кто ей протезирует, кто ее любовник — если таковой имеется — и продолжает ли она злиться на него, великого Казанову.

И вот, когда гондола вернулась ко входу в Большой канал и день проведенный на воде, казалось, развлек и успокоил Анриетту, Казанова вдруг попросил, чтобы его высадили у столбов Пьяцетты.

— Мне надо кое-кого повидать,— небрежно бросил он,— а потом я должен заглянуть на полчаса к сенатору. Знаешь,— продолжал он, обращаясь к Анриетте,— я считаю Брагадина самым верным мне другом, а поскольку он сенатор, то обычно может вытащить меня из мелких неприятностей с властями. Так что надо мне уважать старика и уделять ему немного времени. Пусть Марко отвезет тебя в казино, Анриетта, а я через два-три часа присоединюсь к тебе. Спасибо за прекрасный день, Марко,— бросил он уже через плечо и ступил на берег, а гондола отчалила.

Несколько минут он последил за ней взглядом, затем повернулся и хотел было направиться по своим делам, когда его остановил вежливый оклик:

— Джакомо Казанова?

— Он самый.

— Потрудитесь, пожалуйста, следовать за мной.

— И куда же это, будьте любезны? — высокомерно спросил Казанова, выпрямляясь во весь рост.

— В тюрьму. Вы арестованы,— сказал мужчина уже тоном резкой команды и подал знак двум другим, которые тотчас подошли к арестованному.

Сердце у Казановы на секунду остановилось и кровь застыла в жилах. Однако, призвав на помощь все свое мужество, он спросил с внешним надменным видом:

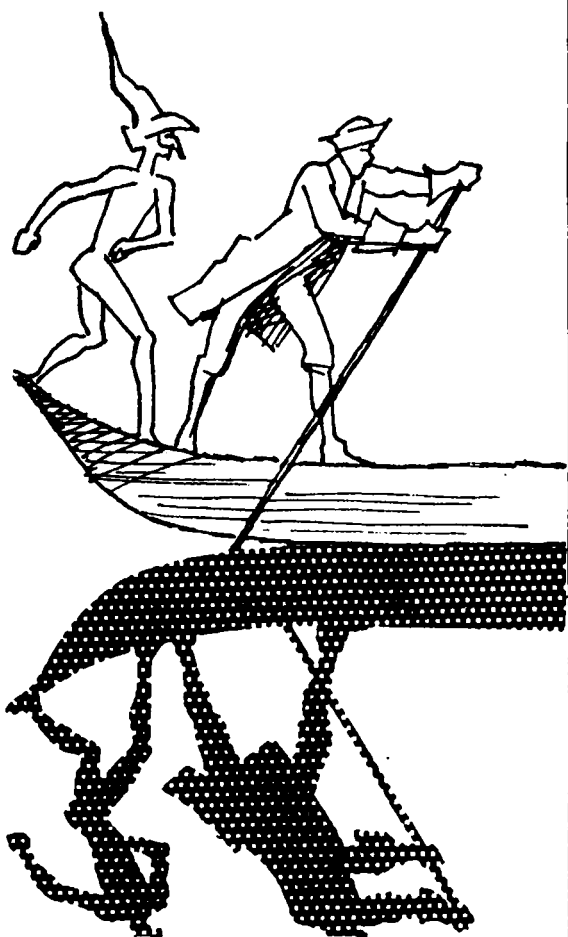
— По чьему же это приказу?

— По моему,— раздался голос рядом.

Казанова посмотрел в направлении голоса и чуть не лишился чувств, увидев перед собой мессера гранде, главного их трех инквизиторов Венецианской республики.



Часть III





«Bona sera ai vivi,
E riposo ai poveri pnorti,
Bon viaggio ai noveganti
E bon note ai tuti quanti».

«Доброго вечера всем живущим,
Мира и покоя всем умершим,
Доброго плавания морякам,
Всем доброй ночи и сладкого сна».

Старинная молитва венецианских детей.

1

Человек, который в мгновение ока переходит из счастливого состояния в бедственное, от свободы к плену,— причем оказывается в руках самого тайного, безжалостного и скорого на решение трибунала, какой когда-либо существовал на земле,— такой человек легко впадает в отчаяние и неосторожностью слов и горячностью поведения может превратить тяжелую ситуацию в безнадежную. Весь ужас положения, в какое попал Казанова, ледяными иглами пронзил его, но он огромным усилием воли вернул себе самообладание и не стал оказывать сопротивление. А секунду спустя увидел, сколь тщетна была бы любая вспышка гнева, ибо мессера гранде сопровождали, по крайней мере, сорок сбиров. Собственно, Казанова попал прямо в гущу волчьей стаи, ибо инквизитор как раз собирался разослать своих людей группами на розыски Казановы, и три полицейские гондолы были пришвартованы поблизости. Да одна из них уже и двинулась за гондолой Вальери, но, судя по тому, как сразу снизила скорость, а затем свернула в боковой канал, Казанова понял, что сидевшие в ней видели, как его арестовали. В любом случае, уныло подумал он, если Триумвират вздумал арестовать и его друзей, много времени на это не потребуется.

Казанова о многом догадался, а многое увидел поверх голов своих тюремщиков, пока его вели в тюрьму. Арест был произведен так тихо и спокойно, что люди, проходившие мимо всего в нескольких ярдах от них, понятия не имели, что происходит нечто необычное. Вообще-то

инквизиторы производили аресты почти всегда ночью, а сейчас это произошло среди бела дня, потому что человек, за которым они охотились, сам пришел в расставленные сети — обстоятельство, естественно, говорившее скорее в его пользу, чем против него.

Венецианские государственные тюрьмы (прославленные или бесславные Пьямби — иначе: Свинцовая тюрьма и Поцци, или Колодцы) примыкали ко Дворцу дожей, находившемуся прямо перед ними, но частично из-за своеобразной трудности входа в дома в городе, где каналы заменяют улицы, а частично из-за установившейся с незапамятных времен традиции Казанову посадили в гондолу и торжественно провезли несколько десятков ярдов до набережной у тюрьмы. Поднявшись по нескольким ступеням, он пересек узенький рио ди-Палатцо по высокому крытому мосту, известному поколениям путешественников под названием моста Вздохов. Казанову провели по галерее, затем через одну залу — в другую, где сидел венецианский патриций. Это был Доминик Кавалли, секретарь инквизиции, который произнес лишь:

— Заприте его понадежнее.

И, по мнению Казановы, усугубил свой оскорбительный приказ, произнеся его на тосканском диалекте, а не на венецианском.

Казанову не сразу поместили в камеру; после недолгого ожидания его повели по лестницам вниз в подземный зал, соседствующий с комнатой пыток, где он предстал перед страшным Триумвиратом — трибуналом, заседавшим без адвокатов и принимавшим решения без права апелляции — его члены были одновременно и прокурорами и судьями. В центре сидел человек, назначаемый самим дожем и одетый во все красное; двое других представляли Совет десяти и были в черном. Для большего впечатления стражники, приведшие Казанову, тотчас потушили свои факелы, как только судьи опознали его, и теперь единственным освещением служили две жалкие свечи на столе у секретаря да зловещее красное зарево, приливавшее сквозь полуоткрытую дверь из комнаты пыток. Там явно находилось что-то вроде кузницы с мехами, ибо время от времени пламя раздували, и оно начинало реветь, а потом постепенно угасало, так что суд шел при этом изменчивом красном свете.

Человека, который, заметив такие несомненные признаки готовящихся пыток, не побелел бы, едва ли можно

назвать человеком. Казанова чувствовал себя не лучше любого другого неудачника, который оказался бы в подобном положении; единственным его утешением была хрупкая и ненадежная защита слабого — то, что он невиновен. Он ведь не имел ни малейшего представления, какое обвинение ему могут предъявить, и лишь когда мессер гранде начал официальный допрос, попросив его назваться, в мозгу Казановы возникла мысль, что, по всей вероятности — нет, не по вероятности, а безусловно так, — донесла на него донна Джульетта. Но у него не было времени размышлять об этой мерзейшей форме мести, какую может замыслить женщина, ибо надо было со всем вниманием слушать обращенные к нему вопросы и отвечать на них.

Казанова сказал себе, что единственно возможная для него защита, единственный шанс избежать пыток и смерти или длительного заключения — это отвечать как можно более откровенно и правдиво. Он пытался внушить себе, что Венецианская республика славится своими превосходными законами и непорочностью своих судей, — собственно, сам Казанова частенько говорил так иностранцам, — но сейчас он понял, что это звучит куда убедительнее вне стен инквизиции, чем внутри них. Первый ряд вопросов о родителях, воспитании, привычках и отсутствии — скорее, чем наличии, — постоянных занятий, о друзьях и тому подобном был сравнительно безобиден и не представлял трудности для ответа. Казанова никак не мог понять, что Триумvirат пытается установить.

Однако вскоре он это обнаружил, когда вопросы приняли иной характер и у него стали пытаться выудить признание, что он недоволен порядками, что у него нет ни почтенной профессии, ни специальности, что он просто авантюрист. Это была чистая правда или почти правда, на что Казанова ничего не мог возразить, но он начал проклинать себя за чрезмерную свободу речи, когда ему стали приводить одно за другим его высказывания, из которых получалось, что он куда более отчаянный, бессовестный и строгий критик общества, чем на самом деле. Фразы, сказанные в шутку в кафе, замечания, произнесенные за бутылкой, которую можно было бы уже и не пить (а чрезмерные возлияния портят не одну вечеринку), даже то, что он говорил женщинам, — все это явно собиралось и докладывалось полицейскими шпиками не один год и, по-видимому, уже давно было известно

трибуналу, ибо такой материал за день или два не соберешь. Но ожидало Казанову и нечто похуже.

Теперь стали приводить его высказывания, которые, казалось, показывали, что Казанова был не только сомнительным, безответственным и вздорным членом общества, но и человеком политически неблагонадежным, готовым совершить любой нелояльный и непатриотичный поступок либо за деньги, либо, чтобы нанести ущерб государству, ради собственной выгоды. Это, как несомненно сразу понял Казанова, было одним из самых опасных обвинений, какие могли быть выдвинуты против венецианца, и он проклял себя за неосторожность, с какой острил и принижал Венецию в разговорах с донной Джульеттой, — все его высказывания были приведены *verbatim* * в письменном виде. Так вот чем занималась донья Джульетта с тех пор, как уехала из Флоренции «в Болонью», — надо было ему все-таки прислушаться к тому, что собирался рассказать Чино, а не высмеивать его и его приятеля, назвавшихся «сведущими людьми»! Сейчас, однако, было уже слишком поздно.

Инквизиторы бесстрастно слушали Казанову, пылко все отрицавшего и пытавшегося объяснить, оправдать, извинить то, что отрицать было невозможно. Как раз в этот момент мерзавец или мерзавцы, приставленные к мехам в комнате пыток, раздули огонь, и он осветил помещение грозным красным пламенем, — Казанова увидел, как его клеймят, обрекая до конца жизни грести на галерах... Но что это говорит мессер гранде?

— Вы покинули Венецию несколько месяцев тому назад, Казанова?

— Да.

— Втайне и весьма поспешно?

— Да.

— Почему?

Вопрос был безусловно самый обычный, и задан он был спокойным тоном, но Казанова на миг растерялся. Затем, вновь обретя самообладание и заранее извинившись, что будет многоречив, рассказал им историю с Мариеттой, второй или третьей. В пересказе это звучало глупо, в немалой мере подло и мерзко, но в тот момент Казанова предпочитал выглядеть мерзавцем, но только не политическим интриганом. Инквизиторы пошептались и затем спросили его про Розауру. Казанова внутренне

* Дословно (лат.).

ругнулся — его грехи вечно всплывали на поверхность в самую неподходящую минуту, — но утешился, подумав, что в конце концов никакого политического умысла нет в том, чтобы любить женщин. Его рассказ, которому он постарался придать как можно более идиллическую окраску, прервал холодный вопрос:

— А откуда вы брали на все это деньги?

Он сказал, и его попросили продолжать рассказ. От следующего вопроса он весь похолодел. Его спросили:

— Как давно вы знаете барона фон Шаумбурга?

Инквизиторов, казалось, крайне интересовал этот достойный дипломат, хотя они и были хорошо осведомлены о всех его передвижениях. Они, конечно, знали историю с перевернувшейся возле дворца Брагадина гондолой — это дело они уже рассматривали — и знали о встрече Казановы с Шаумбургом. Рассказ про то, как фон Шаумбург заманил к себе Казанову с помощью негритенка, они восприняли с холодным недоверием. Но помимо этих, действительно имевших место встреч, у них, казалось, было подробное описание третьей, наиболее компрометирующей встречи с бароном, которая состоялась в полнейшей тайне всего за два вечера до того, как Казанова выехал в Рим.

Отрицание Казановы было встречено все с тем же бесстрастным спокойствием, которое стало казаться ему куда более пугающим, чем прямая враждебность, а затем Казанову попросили дать объяснение по поводу этого якобы состоявшегося разговора с бароном, изложенным с такими подробностями и с таким вероломством, что Казанова сразу узнал руку и злокозненность донны Джульетты... Призвав на помощь все свое мужество, он попросил трибунал о снисхождении и, хотя имя донны Джульетты дотоле ни разу не упоминалось, дал точный отчет об их взаимоотношениях. У него хватило ума не говорить против нее и не намекать, что это она, по его мнению, выдала его, — он лишь показал, что это его враг, и рассказал о ее связи с австрийским послом в Риме, о чем она ему говорила.

Его спросили, как имя женщины, ради которой он бросил донну Джульетту, но он попросил разрешения не раскрывать эту любовную тайну. Инквизиторы не стали настаивать, однако мессер гранде сказал секретарю:

— Запиши, что он отказывается назвать имя женщины.

— Ее зовут Анна д'Арси, она француженка, — тотчас сказал Казанова.

Это было записано, а затем начались долгие расспросы, цели которых Казанова, уже и так измученный допросами, длившимися добрых три часа, к своему изумлению и отчаянию, никак не мог понять. Они были связаны с городами и крепостями, которые имела Венеция в Далмации и Албании. Бывал ли он в них? Кого он там знает? С кем он говорил о них? И так далее и так далее — без конца. В этой части допроса Казанова проявил поистине поразительное невежество и незнание этих важных аванпостов Венецианского государства, и его явная растерянность и непонимание, какое он имеет отношение ко всему этому, были вполне очевидны Триумвирату. Инквизиторы задали ему несколько вопросов об Анриетте, но весьма поверхностных, и он легко их парировал, а затем спросили, почему он вернулся в Венецию. Наконец, после более чем четырехчасового допроса дознание было окончено без применения пыток, или «вопросов», как это именовалось. И Казанова был бесконечно благодарен за это.

Теперь его повели назад, на верхний этаж, и официально передали тюремщику, который отвел его на злополучный чердак под тюремной свинцовой крышей и запер в камере размером в двенадцать квадратных футов и менее шести футов высотой, с нишей для постели и без всякой обстановки, если не считать ведра, а также без окна — лишь над дверью была зарешеченная отдушина. Произнеся по глупости несколько саркастических слов по поводу тюремщика и отказавшись от еды, Казанова услышал, как за ним захлопнулась дверь, и он остался в одиночестве до зари следующего утра. Тогда ему разрешили заказать суп, вареную говядину, жаркое, хлеб, вино и воду (за все это он заплатил) и послать за своей одеждой, а также получить постель, стол, стул и прочие предметы. Ему запрещено было иметь книги, бумагу, перья, зеркало и бритву — разрешили лишь два увесистых тома благочестивого характера. Затем до его сведения довели, что власти выделяют ему пятьдесят венецианских сольди в день на пропитание, чего было более чем достаточно.

Странно как-то, что Казанова не сразу понял, сколь мудро и необходимо завязать дружбу со своим тюремщиком Лоренцо. Но он был повергнут в такое уныние столь внезапным и неприятным прекращением своей привольной жизни, что плохо соображал. Он жестоко страдал от солнца, накалявшего камеру, и был так расстроен свалившейся на него бедой и сражен своей участью, что две

недели у него не было стула и он заболел — поднялась температура, он лежал в постели и, грустно размышляя над своей судьбой и судьбой, возможно, постигшей Марко и Анриетту, жаждал смерти.

А тюремщик Лоренцо был не таким уж скверным малым, как показалось Казанове, ибо все да и всё, связанное с его заключением, естественно, представлялись Казанове в самых мрачных и неприятных тонах. Так или иначе, как только Лоренцо заметил, что Казанова не притрагивается к еде, он осведомился, здоров ли узник, и, хотя Казанова ироническим тоном утверждал, что находится в превосходном состоянии, Лоренцо привел врача, который дал больному лекарство, а также снабдил менее нудной книгой.

Злосчастные дни тянулись бесконечно долго, усугубляемые неуверенностью, ибо приговор Казанове вынесен не был и он находился в государстве, которое никогда не слыхало о *Nabeas corpus* *. Таким образом, его могли держать в тюрьме столько, сколько заблагорассудится инквизиторам, и могли казнить публично или втайне, и никто при этом не имел ни права, ни власти потребовать расследования. Казанова делал свое положение еще невыносимее, живя надеждой и ожиданием, что его вот-вот выпустят. «Завтра я буду свободен», — каждый вечер говорил он себе, и каждый новый день приносил ему разочарование. Одиночество, тревога за Анриетту и Марко и постоянное разочарование, ибо его все не выпускали, начали сказываться на состоянии духа Казановы. Единственным облегчением в ближайшие месяцы было то, что он в известной мере сдружился с Лоренцо, которому каждый месяц отдавал деньги, остававшиеся от суммы, выделенной ему на еду, а также то, что какое-то время камеру с ним делили двое других узников. Хоть это и были негодяи, но все же люди, и он мог с ними поговорить.

Первый лучик надежды появился в день Нового года. Лоренцо подарил ему меховую накидку, ибо зимой в Пьемби было так же холодно, как жарко летом. Но больше всего растрогал Казанову рассказ Лоренцо о том, что старик Брагадин ходил к инквизиторам и на коленях, со слезами умолял разрешить ему

* Название закона о свободе личности, принятого английским парламентом в 1679 г. (по первым словам текста). По этому закону никто без решения суда не мог подвергнуть кого-либо задержанию или аресту.

помочь «дорогому Джакомо» и что эти трое неумолимых позволили Брагадину посылать Казанове шесть золотых цехинов в месяц, а также все книги и газеты, какие он пожелает.

Послабление режима временно пробудило у Казановы надежды — ему даже разрешили прогулки по более просторной темнице, и там он обнаружил железный прут и точильный камень. С присущим узникам невообразимым оптимизмом он тотчас решил устроить побег и со свойственным им невероятным и жалким упорством начал обтачивать прут. У Казановы ушла целая неделя на то, чтобы его заострить — к концу этого времени правая рука у него еле сгибалась, а волдыри на ладони образовали большой струп. Он задумал пробить дыру в полу своей камеры и выбраться в нижнее помещение, а оттуда бежать через залы, открытые для публики. Это был безумно смелый план, но по крайней мере у Казановы появилось о чем думать и на что надеяться. Ему пришлось пустить в ход всю свою изобретательность, чтобы разжиться таким пустяком, как масляная лампа с фитилем, а также кремнем и трутом, чтобы высекать огонь. Лампу он решил соорудить из миски; затем уговорил Лоренцо купить ему лучшего оливкового масла из Лукки для салата; фитиль он сделал из ваты, которую выдернул из щелей отдушины, затем ухитрился выпросить у тюремщика три-четыре маленьких кремня, а из наплечников своего камзола добыл трут. Затем сделал вид, что заболел, и улегся в постель, чтобы все эти предметы не были у него обнаружены.

Проведя эти приготовления, Казанова уже собирался приступить к пробивке верхних половиц, когда к нему в камеру привели другого узника, и тот пробыл с ним несколько недель. Казанова был в отчаянии, но в минуту черной меланхолии появился новый лучик надежды, хоть и несколько омраченный жалостью.

Однажды в камеру вошел Лоренцо и, ворча на то, как им помыкают, протянул Казанове книгу.

— Что это? — безразличным тоном спросил Казанова.

— Разве не видите?

— Ну, вижу! Религиозная книга, а ты знаешь, что мне такие неинтересны.

— Меня это не касается, — с безразличным видом произнес Лоренцо. — Ее вам шлет другой узник, он просит вас внимательно ее прочесть, ибо там есть елей для блага вашей души.

Ругнувшись себе под нос и даже не раскрыв книги, Казанова отшвырнул ее, а ночи через две или три, когда он лежал без сна, терзаемый доброй полусотней демонов нетерпения, обиды и страстных желаний, вспомнил про книгу. Мысленно проигрывая ту сцену, когда Лоренцо принес ее, он подумал, что Лоренцо был тогда грубова-то-добродушен, а так всегда бывало, когда он получал награду за свои услуги. Более того, прокручивая в памяти его слова, Казанова склонен был счесть, что в книге, пожалуй, содержится некое послание. Он с трудом дождался рассвета и, как только затеплилась заря, стал листать книгу, не обращая внимания на попытки своего соседа по камере завязать разговор и надеясь найти записку, приклеенную к одной из страниц, или хоть что-то, написанное карандашом. Но если в книге и было такое, записка была либо оторвана, либо карандаш стерт, ибо он ничего не нашел.

Крайне разочарованный, Казанова снова отбросил книгу, кляня ее и собственную глупость. На другой же день Лоренцо как бы между прочим сказал:

— Тот, другой узник надеется, вам послужила на пользу книга, и хотел бы получить ее назад, чтобы самому найти в ней утешение, если она вам больше не нужна.

Казанова от разочарования готов был запустить книгой тюремщику в голову, но какой-то подтекст в словах Лоренцо снова удержал его.

— Скажи, что я еще не все до конца понял, но я верну ее, как только уразумею священную истину, которую она содержит.

Решив так или иначе выяснить эту загадку, Казанова взял с собой книгу, когда отправился ходить по темнице, где ему было дозволено размяться. На дворе стоял ослепительный солнечный день и сквозь окошко в потолке проникал яркий свет, образуя квадратное желтое пятно на голом грязном полу. Казанове пришлось в голову, что, возможно, что-то написано на пустых страницах книги и он увидит надпись, если поднесет листки к свету, но, как внимательно он их не обследовал, ни на одной странице не обнаружил ничего. Он уже собирался захлопнуть книгу и отослать ее назад, когда, перевернув две-три страницы, заметил несколько крошечных дырочек на одной из них. Вглядевшись повнимательнее, он обнаружил булавочные дырочки под некоторыми буквами и из этих букв сложил слова.

Безумное волнение и любопытство охватило Казанову, но прочесть послание он не успел, ибо в помещение вошел Лоренцо, чтобы вести его назад в камеру; тюремщик снова попросил вернуть книгу, но Казанова попросил дать ему еще немного времени.

— Скажи, что я наконец увидел свет и прошу еще один день отсрочки, чтобы уяснить себе эти чудесные истины.

Лоренцо недоуменно уставился на Казанову — с чего это вдруг узник обратился к религии, тем не менее кивнул в знак согласия и ушел, заперев узников в камере. Поднеся книгу к зарешеченному отверстию в двери, Казанова мог теперь разобрать, под какими буквами стояли дырочки, и занялся методичным обследованием книги. Он обнаружил, что использована лишь предпоследняя глава и что послание гласило:

«А. бежала я арестован 2 дня после тебя что мы сделали? Используй эту книгу для общения Марко».

Радость, которую доставило Казанове это послание, была омрачена лишь сожалением, что его друг тоже в тюрьме, — сожалением, которое сглаживалось чувством облегчения от того, что его соседа по камере должны были вот-вот выпустить. Но прежде чем он отбыл, Казанова сумел кое-что из него вытрясти. Он добыл с помощью Лоренцо колоду карт, уговорил своего соседа поиграть под вполне разумным предлогом — надо же скоротать время, выиграл у него почти пятьсот дукатов и под честное слово согласился простить долг в обмен на бриллиантовую булавку, которую тюремщики забыли у того отобрать. Сосед был в восторге, что так легко избавился от большого долга, и, уходя, тепло попрощался со своим благодетелем, как он упорно называл Казанову.

Теперь, когда Казанова остался один, жизнь его стала до предела загруженной. Ночью он, по крайней мере, шесть часов трудился при свете лампы, разламывая с помощью железного прута доски под своей кроватью. А как только светало, он начинал работать выигранной в карты булавкой и наколот следующее послание:

«Задумал бегство где твоя камера сообщи местоположение спасибо за известие Дж.»

К этому времени Казанова находился в тюрьме уже больше года, и если бы его любовницы и друзья могли видеть, как он сидит в слабоосвещенной камере, лихора-

дочно накалявая свое послание, то и дело замирая и в испуге прислушиваясь, точно дикий зверь, они, зная его, были бы потрясены. Борода и волосы у него отросли и были нечесаны; глаза стали плохо видеть из-за постоянного пребывания в полутьме; болезнь, от которой он страдал, как и та, которую он разыгрывал, чтобы скрыть свою медленную и упорную работу над полом, привели к тому, что он стал ужасно тощим и бледным, в выражении же лица, ранее освещенного веселой улыбкой; появились мстительность и подозрительность. И в самом деле, он с радостью придушил бы не только своего тюремщика, но и Триумвират, но и Совет десяти, но и дожа, и весь Большой совет Венеции, за исключением Брагадина, отца Марко и некоторых других.

Люди живут надеждами в большей мере, чем реальностью, в большей мере в воображаемом будущем, чем в реальном настоящем! Это дает цивилизованному человеку энергию, но лишает чувства удовлетворения. В то же время это позволяет ему переносить сегодняшние беды в надежде, обычно нереальной, на то, что через некое определенное или неопределенное время он достигнет земного рая и все его желания будут исполнены. Так было и с Казановой, когда он начал готовить свой побег в надежде освободить также и Марко. Усердно вгрызаясь ночь за ночью в толстые двойные перекрытия пола, он уже видел себя на свободе, за пределами этой тиранической республики.

Первое разочарование наступило, когда Марко — после нескольких тщетных попыток — сумел наколоть план тюрьмы и отметил местонахождение своей камеры. Казанова сразу увидел, что Марко поместили в дальнем конце крыла, на верхнем этаже, а Казанова-то воображал, что тот находится на чердаке, под крышей. Это было двойным ударом, за которым последовал стремительный обмен книгами между двумя узниками, пытавшимися таким путем разработать способ совместного бегства. Тем временем Казанова, пробившись сквозь два слоя трехдюймовых досок, с отчаянием обнаружил, что под ними находится мозаичный пол, столь часто встречающийся в больших итальянских домах. Но тут на помощь ему снова пришел заточенный прут, и, попотев несколько часов, Казанова все же сумел разбить и вынуть один из кубов мозаики — дальше дело пошло все легче и легче. Каждую ночь, закончив работу, Казанова прятал лампу и точильный камень под постель, которая,

конечно, скрывала и все увеличивавшуюся дыру в полу. Бесценный прут он засовывал под сиденье кресла. А днем, выходя на прогулку в большую темницу, выносил с собой щепки и кусочки разбитой мозаики и сбрасывал их в кучу за старыми мешками и досками.

После долгих недель неустанного труда Казанова был уверен, что через какой-нибудь день-другой сможет пробить наконец пол, спрыгнуть вниз или спуститься на связанных простынях и так или иначе выбраться на крышу тюрьмы. Вопрос о том, как освободить Марко, был еще не решен, хотя Марко и сообщил Казанове, что, будь у него подходящее орудие, он легко мог бы выбраться на конек крыши. Казанова как раз накалывал послание Марко, объясняя разработанный им план действий, когда в самое неурочное время услышал поспешные шаги Лоренцо и только успел спрятать булавку и сделать вид, будто читает, как Лоренцо ворвался в камеру.

— А ну, благодарите меня за добрую весть! — воскликнул он, широко улыбаясь.

Казанова с довольно кислым видом отрицательно помотал головой, но Лоренцо не отступался, и тогда он буркнул:

— Я тебе не верю. Ты просто развлекаешься за мой счет. Так что сначала скажи свою новость.

— Но лучшей новости и ожидать нельзя.

Поистине волчья радость вспыхнула в глазах Казановы при мысли, что наконец-то пришел приказ о его освобождении, которого вначале он с такой уверенностью ожидал, а последнее время уже не рассчитывал получить.

— Меня освобождают! — воскликнул он.

— Не совсем, — усмехнулся Лоренцо. — Но все равно кое-что приятное. Их Превосходительства услышали, что вы давно болеете, и не хотят вас губить, поэтому вас переводят в более просторную комнату, где больше воздуха, и там из окон такой вид — прямо на лагуну до самого Лидо.

Бедный Казанова! Это означало не только крах его попытки бежать, но и вело к тому, что обнаружится все, что он проделал, у него отнимут так старательно изобретенное им орудие, прекратится переписка с Марко... В полном отчаянии он упал в кресло и закрыл лицо руками, чтобы Лоренцо не видел его горя. А этот тупой, хотя и исполненный самых добрых намерений, слуга своего государства, подумал, что Казанова плачет от счастья. Когда же Казанова чуть не истерически принялся умолять Лоренцо оставить его там, где

он есть, — он-де привык к своей камере, не хочет из нее уходить, — Лоренцо, естественно, подумал, что это придуманный на радостях своеобразный розыгрыш. Когда же он обнаружил, что Казанова вполне серьезен, то возмущился.

— Да вы что?! Разве можно проявить неуважение к Их Превосходительствам и так отнестись к проявленной ими доброте? Пошли, человек, я покажу вам вашу новую камеру. А стража перенесет ваши вещи.

И, не придумав никакой новой отговорки, Казанова, насупясь, последовал за ним. Лоренцо сказал правду. Новая камера оказалась уютной комнатой с двумя большими окнами, конечно зарешеченными, но открытыми морскому ветерку и солнцу. При любых других обстоятельствах Казанова, естественно, приветствовал бы такое перемещение, но сейчас, после того как двое стражников принесли его кресло, одежду, книги и прочие мелочи, он опустил в кресло и стал молча слушать нотацию Лоренцо по поводу своей неблагодарности к Их Превосходительствам.

Наконец Лоренцо и стражники ушли, заперев дверь, а Казанова подошел к окну и с несчастным видом уставился на расстилавшийся за крышами и лагуной, залитый солнцем горизонт. Да, это была все та же Венеция, и даже сюда, наверх, в эту уединенную камеру долетали отзвуки жизни «народа, что смеется вечно». Слезы выступили на глазах Казановы при воспоминании о счастливых днях, когда эта песня была его символом и у него не было иных забот, кроме денег, девиц да легких потасовок со сбирями...

Топот бегущих ног, лязганье замков и грохот открываемой двери подсказали ему, что грядет. Позеленев от злости и задыхаясь от гнева, то потрясая кулаками, то рвя на себе волосы, Лоренцо обрушился на него с расспросами — дыра под постелью была, конечно, обнаружена, когда стражники принялись там подметать, чего им не разрешалось делать во время мнимой болезни Казановы. С ненаигранным безразличием Казанова воспринял жалобы, упреки и угрозы Лоренцо, что в общем-то было не очень понятно, ибо бегство узника из этой тюрьмы автоматически влекло за собой казнь тюремщика. Казанову и все его жалкие пожитки снова потащили в другое место, но на сей раз это была камера без окна, лишь с отверстием в двери невероятной толщины. Камера была недавно отделана и выбелена, чтобы ни одна царапина не осталась незамеченной.

— А теперь,— мрачно объявил Лоренцо,— попытайтесь отсюда удрать — если сможете. Но сначала скажите, откуда вы раздобыли все необходимые орудия?..

— У меня нет ничего, кроме того, что ты сам мне дал!

— Что?!

— Ну, ты же дал мне суповую миску, простыни на постель и масло для салата, верно?

— Но откуда вы раздобыли топорик, чтобы пробить пол? Это ведь должен быть острый резак.

— Вот это я скажу Триумвирату, если ты меня отведешь к ним.

Казанова произнес это, не подумав, ибо, появившись у Триумвирата малейшее подозрение, что узнику удалось раздобыть орудие бегства, тюремщика тут же убрали бы и наказали. А потому Лоренцо в ярости выскочил из камеры, три дня продержал Казанову на хлебе и воде и, конечно, отказался передавать книги от одного приятеля другому. На Казанову напала апатия отчаяния, которую лишь слегка облегчала мысль, что, хоть он и лишился своей бесценной лампы и точильного камня, по крайней мере у него остался железный прут. Лоренцо искал его повсюду — даже заставил Казанову раздеться догола и перетряхнул все его вещи, но ему и в голову не пришло обследовать кресло. Так бесславно и, похоже, бесцельно закончился раунд борьбы Казановы с властями Венеции.

2

Ближайшие несколько дней были самыми мрачными и безрадостными за все время пребывания Казановы в тюрьме — они не были похожи ни на первые дни заточения, когда им владела смесь противоречивых чувств — отчаяния, ярости и надежды, ни на дни, предшествовавшие его злосчастному переводу — на такое короткое время! — в лучшее помещение, когда он был неизменно исполнен оптимизма и энергии.

Участь его впервые смягчилась в конце месяца. Лоренцо представил Казанове отчет о расходах, показавший, что денег осталось куда больше обычного, главным образом потому, что Лоренцо из мести держал своего узника на полуголодном пайке. Тут на помощь Казанове пришла его обычная смекалка.

— Отдай это твоей жене,— безразличным тоном сказал он,— а вот это...— и он вынул из кармана один из брагадинских цехинов,— это подели между двумя стражниками.

Стражники тотчас принялись превозносить щедрость Казановы, да и сам Лоренцо немного оттаял.

— Ах, воскликнул он.— Вот если бы вы всегда были таким сговорчивым, синьор Казанова.

— Что же,— сказал Казанова,— могу дать тебе слово, что этот пол я пробивать не буду.

Да это было бы и невозможно, ибо помещение ежедневно дважды тщательно обследовали, выскивая, не начал ли он где-нибудь долбить.

— Раз вы стали вести себя разумнее,— сказал Лоренцо, крайне довольный услышанным,— я принесу вам книгу, которую тот молодой синьор так упрашивает меня вам передать.

И как же тщательно скрыл Казанова свое нетерпение, беря книгу, как терпеливо выслушал дурацкую болтовню Лоренцо и как предусмотрительно выждал, чтобы звуки шагов совсем замерли за запертой дверью, после чего наконец открыл книгу и стал отыскивать послание. Оно было самым длинным из всех, какими они обменивались:

«Не теряй надежды ты находишься под пустой камерой что рядом со мной я пробил дырку на крышу прикрыл картиной мог бы пробить стену и потом твой потолок будь у меня орудие подскажи как проникнуть к тебе».

О, радость! Надежда, принесенная этим посланием, была столь неожиданна, что Казанова упал на колени и зарыдал. Бегство, которое еще минуту назад представлялось невозможным, сейчас стало казаться более близким и могло быть осуществлено с большим успехом, чем в самые розовые минуты предыдущей попытки. Немного придя в себя после этой бури чувств, унесшей с собой большую часть накопившейся горечи и разочарования, Казанова принялся накалывать ответное послание:

«Потребуй поменяться креслами из-за моей болезни орудие спрятано под сиденьем сразу начинай с боковой стены потом сообщу еще мы победим! Дж.».

Все получилось, как и было задумано. Марко, как патрицию, дали, естественно, более роскошное кресло,

и Лоренцо глубоко тронула забота молодого человека о своем старшем друге. Обмен креслами произошел, а Казанова получил от Марко новую книгу, в которой прочел:

«Прекрасно прячу мусор в чулане как пробить твой потолок чтоб было незаметно? Готовлю веревку из простыней чтоб вытащить тебя. М.».

Казанова счел неосторожным отвечать сразу, хотя и мог ответить на заданный вопрос, но ему не хотелось возбуждать подозрения слишком быстрым обменом книгами. В ту ночь он лежал без сна, пытаясь продумать план бегства, после того как они выберутся из темниц и окажутся на покато́й крыше, высоко над площадью Святого Марка, где их кто угодно может увидеть, — значит, спускаться с крыши надо ночью. Лежа в тишине и в темноте, Казанова вдруг словно бы услышал то и дело повторявшийся легкий стук. Он вслушался и затем, внезапно поняв, приложил ухо к стене, которая отделяла темницу Марко от той, что находилась над ним. Ошибиться он не мог — он слышал осторожное, медленное тук-тук-тук: это Марко пробивал дырку в стене. Звук прекратился лишь в три часа ночи, а Казанова еще долго после того, как этот звук, оповещавший о свободе, затих, не мог от радости заснуть.

В ответ на вопрос про потолок в его камере Казанова посоветовал подождать, пока пролом не будет почти готов, а затем, в ночь, назначенную для бегства, хорошенько потрудиться, чтобы за несколько минут пробить дыру. Его надежда на скорое освобождение была несколько поколеблена полученным от Марко сообщением, что кирпичи слишком крепко зацементированы и после шести часов труда удалось вынуть всего один кирпич. Однако здесь дело обстояло почти так же, как с мозаичным полом, ибо уже на другой день Марко с радостью сообщил, что сумел выбрать тридцать шесть кирпичей и скоро займется полом. И в самом деле, всего через две ночи Казанова, лежавший от волнения и ожидания без сна, услышал у себя над головой упорное постукивание Марко по половицам. Неделью спустя Марко прислал сообщение, что теперь сможет пробить остатки потолка за полчаса — какую ночь они назначают для побега?

Шли последние дни октября, а первые три дня ноября инквизиторы вместе с секретарем проводили на конти-

ненте, Лоренцо же в это время устраивал ежегодный загул — напивался и не просыхал. Казанова уже был свидетелем всего этого — ведь они с Марко находились в тюрьме свыше полутора лет. Стало быть, ясно, что наилучшим временем для побега была бы ночь с 31 октября на 1 ноября, когда инквизиторы будут в пути, а Лоренцо уже упьется. Но вольнолюбец Казанова был настолько суеверен, невзирая на свою маску скептика, что не мог назначить время побега, не «погадав на поэтах», что было весьма распространено в эпоху Возрождения. У него не было Вергилия, но был томик Ариосто, поклонники которого считали его не меньшим авторитетом в предсказании будущего. Казанова раскрыл книжку, ткнул в страницу булавкой и, обнаружив, что булавка попала в строку: «Между хвостом октября и головой ноября», решил, что звезды вынесли свой приговор. Итак, эта дата была сообщена Марко с помощью наколотого в книге послания, и, как было между ними договорено, дабы избежать излишнего обмена книгой, в ответ прозвучало три легких стука.

Остававшиеся до бегства два дня показались воспаленному воображению Казановы самыми длинными, какие он провел в тюрьме, — он понял тогда, как бесконечно долго может тянуться для узника день, особенно если за ним следует бессонная, безнадежная ночь. Теперь он мог снова предаться размышлениям — после того, как неделями и месяцами каждый его нерв и каждая клеточка мозга были нацелены на решение единственной задачи — каким образом бежать. Мысль, что, если все пройдет успешно, Лоренцо заплатится за это, мало волновала Казанову, да и то, что, если дело кончится провалом, его собственная жизнь может быть поставлена на карту, тоже едва ли имело для него значение. Лучше в самом деле умереть и лежать в могиле, ничего уже не чувствуя, чем заживо медленно тут гнить. Совесть мучила Казанову куда больше при мысли о том, какой опасности подвергается Марко по милости своего друга, которому он так преданно служит. Затем, глядя в зловонную тьму темницы, он, прежде чем уснуть, подумал об Анриетте. В общем-то, мысль о ней никогда не покидала его. Она была с ним на протяжении всей долгой разлуки, но сейчас Казанова стал думать о ней более конкретно. Марко сообщил, что она «бежала» — подробности он скоро узнает, — ну а дальше что? Куда она поехала? Не схватили ли ее венецианские прави-

тели, хотя ей и удалось бежать? Если нет, то как сложилась ее жизнь и где она? И не забыла ли она Джакомо Казанову?..

В этих размышлениях время медленно тянулось, пока не настал вечер 31 октября. А когда радостное волнение охватило Казанову, ибо при виде Лоренцо, который принес ему ужин и потом запер на ночь, он понял, что тот уже пьян и думает лишь о том, как бы побыстрее вернуться к своей фляге и собутыльникам. В камере у Казановы было темно, как в погребке, и, после того как отгремело эхо последней с грохотом захлопнутой и закрытой на засов двери, во всей тюрьме воцарилась полнейшая тишина. В этой, казалось, безграничной тишине Казанова вдруг услышал шорох, и сердце его забилося: значит, Марко пролез в помещение над ним и принимается за работу. Шорох прекратился, и почти тотчас раздались удары лома, а потом с громким стуком на пол рухнули доски и штукатурка, и слабый серый свет просочился в темницу Казановы, все ширясь и ширясь, пока дыра в потолке не стала достаточной, чтобы в нее мог пролезть человек. Казанова увидел контур головы, склонившейся над дырой, затем услышал шепот:

— Джакомо, ты там?

— Угу! — от волнения голос Казановы звучал хрипло. — Готов и жду. Спускай веревку.

В дыру просунулась веревка, связанная из кусков одеяла; Казанова привязал к ней свою одежду и все свои постельные принадлежности, из которых можно будет сделать веревку, чтобы слезть с крыши. Затем Марко снова спустил свою веревку, заверив Казанову в ее прочности, и Казанова на руках поднялся по ней — там его подхватила дружеская рука и помогла выбраться из дыры, а через секунду он уже стоял на полу верхней камеры, пожимая руку Марко, плача, и смеясь, и обнимая Марко, и хлопая его по спине.

В этой камере, как и в соседней с нею камере Марко, было маленькое, забранное частой решеткой окошко, выходившее на свинцовую крышу тюрьмы, и достаточно было Казанове взглянуть в него, чтобы утратить всю радость.

— Луна! — воскликнул он, указывая на окно. — Великий Боже, я так давно не видел солнца, луны и звезд, что, клянусь, забыл о их существовании! Наша попытка заранее обречена. При этом чертовом лунном свете нас наверняка увидят!

— Тише, тише, — успокоительно произнес Марко и добавил, переиначив слова Галилея: — Она же все-таки движется. Часа через два она зайдет.

Этого оказалось вполне достаточно, чтобы мгновенно вернуть Казанове утраченную было энергию. Они пролезли сквозь дыру в камеру Марко, и тот показал Казанове с немалой гордостью плоды своих трудов. На каждой стене висело по старой картине без рамы, что и было использовано Марко для прикрытия своей операции. Одна из картин скрывала пролом в соседнюю камеру. Под другой картиной, которую он сейчас снял, была такая же, только более глубокая дыра, проломленная под самой крышей, так что за какие-нибудь две-три минуты можно было сдвинуть одну из свинцовых пластин и выбраться на крышу.

Они не стали этим заниматься при свете луны, а вернулись в камеру Марко и там, сидя на кровати, принялись связывать постельные принадлежности как Марко, так и Казановы, в крепкие веревки — каждый узел Казанова опробовал, поскольку был тяжелее Марко.

— Что же произошло с тобой и с Анриеттой после того, как я тогда, много месяцев назад, расстался с вами? — осведомился наконец Казанова, продолжая связывать веревки.

— Гондольер заметил, что тебя арестовали, и сказал нам, а я узнал мессера гранде. Когда я сообщил о случившемся Анриетте, она впала в отчаяние, воскликнула, что это она — причина твоей смерти, и хотела, чтобы мы вернулись — попытались вызволить тебя или погибли вместе с тобой.

Казанове приятно было это слышать.

— А потом? — спросил Казанова, завязывая очередной узел.

— Я сказал Анриетте, что мы сможем лучше тебе помочь, если останемся на свободе, но она заметила — вполне справедливо, — что они арестуют и нас, как только смогут. Однако мы сумели уйти от полицейской гондолы, и я посоветовал Анриетте тотчас покинуть территорию Венеции. После долгих препирательств она согласилась, я дал ей все деньги, какие были при мне, и мы условились, что я напишу ей в Чавенну, что уже за границей республики, в местную гостиницу. Мы высадили ее в укромном уголке близ Местре, рассказали, как найти почтовую станцию, и больше я не видел ее и ничего о ней не слышал.

— Ты думаешь, ей удалось бежать? — спросил Казанова, внимательно выслушав Марко.

— Кто может сказать? — пожал плечами Марко, затем, увидев, в каком волнении Казанова, добавил: — Она намного опередила полицейских, к тому же они, возможно, ничего не знали о ней или знали так мало, что она легко могла ускользнуть... Но... извини мой вопрос: мы-то с тобой здесь почему?

Теперь Казанова пожал плечами.

— Ты знаешь об этом столько же, сколько и я. За четыре часа допроса я так и не понял, чего они добивались, и не сумел выяснить, какой проступок я совершил.

— Кто-то на нас донес, — сказал Марко. — Я так считаю, и так же считает Брагадин.

— Мне кажется, я догадываюсь кто, — медленно произнес Казанова.

— Кто же?

— Женщииа по имени донна Джульетта.

— Одна из твоих приятельниц? — сухо спросил Марко.

— Намного больше, чем приятельница, и намного меньше, — пылко ответил Казанова. — Я имел несчастье слишком ей понравиться и бесконечно ее оскорбить. Будь я менее самоуверен, мне бы следовало больше остерегаться ее... Но ты-то при чем тут, Марко? И почему ты не уехал с Анриеттой или не бежал сам по себе?

— Я патриций, — сказал Марко, — и мой отец — член Большого совета. Если бы я бежал, тем самым я признал бы свою вину, и наша фамилия была бы вычеркнута из Золотой книги. Брагадин умолял меня не уезжать, ибо я, естественно, не стал компрометировать отца и не виделся с ним. Меня, кстати, и арестовали в замке Брагадина. Но из дошедших до меня сведений я знаю, что нахожусь только под подозрением и нашей фамилии ничто не грозит.

— Неоценимое сокровище! — воскликнул Казанова, который редко мог удержаться, чтобы не уязвить аристократию, когда речь шла о ее господствующем положении. — Но оно едва ли нам поможет выбраться отсюда. Да когда же наконец эта возмутительная луна вернется на Олимп? Ох, хоть бы Эндимион* свистнул этой богине, чтобы она поспешила к нему!

* Эндимион — в греческой мифологии прекрасный юноша, в которого влюбилась богиня луны Селена.

Но величественное движение божественных светил нельзя ни ускорить, ни замедлить жалкими пожеланиями маленьких человеческих существ, а потому нашим друзьям не оставалось ничего другого, как вязать веревки, а когда с этим было покончено, сидеть и беседовать, дожидаясь, пока Земля в своем медленном вращении не повернется к Луне другой стороной.

— Кстати,— внезапно прервал сам себя Марко,— а что будем делать дальше, после того как выберемся на крышу?

— Не имею ни малейшего представления.

— У тебя нет никакого плана? — недоверчиво спросил Марко.

— Абсолютно никакого.

— Фьють! — тихо присвистнул Марко.— Вот черт! Да ты понимаешь, Джакомо, что достаточно нам поскользнуться на этой свинцовой крыше, и мы вдребезги разобьемся на камнях внизу или нырнем в канал?

— Мы не должны поскользнуться,— холодно произнес Казанова.

— Жаль, не родился я швейцарцем,— сказал Марко.

— Это почему? — не без удивления спросил Казанова.

— Потому что тогда я не сидел бы в этой государственной тюрьме, а если бы и сидел, то умел бы лазать по невероятной крутизне на головокружительной высоте.

— Можешь держаться сзади меня,— предложил Казанова.

Марко даже не потрудился что-либо на это сказать. Он лишь заметил:

— Через десять минут луна зайдет.

Через десять минут они осторожно сдвинули свинцовую пластину, и Казанова вылез «а mirar le stelle» — вновь увидеть звезды, как сказал Данте, чьи слова, естественно, не могли не прийти на память итальянцу в подобной ситуации. Обязавшись веревками, словно альпинист, и пользуясь своим знаменитым железным прутком вместо альпенштока, Казанова медленно поднялся на гребень крыши. Сев на нее верхом, он сбросил веревку Марко, напрягся и стал его подтягивать, пока тот, слегка задыхаясь, не очутился рядом с ним.

— Ну, а теперь что? — спросил Марко после довольно долгого молчания.

— Не знаю,— сказал Казанова,— надо провести разведку.

И он стал осторожно продвигаться по коньку крыши, выискивая какой-нибудь выступ, вокруг которого можно было бы обвязать веревку и затем, отчаянно рискуя, спуститься по ней на руках две сотни футов на тротуар. Но, сначала не слишком беспокоясь, потом с досадой, потом со страхом и, наконец, с отчаянием Казанова вынужден был признать, что ничего не может найти. Он безуспешно обследовал крышу по всей ее длине, потратив часа два или три на поиски выступа.

Он был настолько обескуражен, что уже собирался вернуться к Марко и сказать, что им ничего не остается, как залезть назад в свои камеры и принять ожидающее их наказание, когда глаз его заметил на крыше легкий выступ, находившийся на две трети между верхом крыши и водостоком. Осторожно спустившись с помощью своего железного прута-альпенштока, он обнаружил небольшое слуховое окно и, потрудившись с риском для жизни полчаса, сумел снять с него решетку и разбить стекло, порезав при этом руку.

Затем он подполз к Марко, терпеливо сидевшему верхом на коньке крыши, и сказал:

— Я нашел способ проникнуть в другую часть здания. Если мы попадем туда, возможно, нам удастся найти там выход. Пошли.

Он осторожно помог Марко спуститься до слухового окошка, затем спустился сам и с помощью все той же веревки опустил Марко внутрь. Почувствовав под ногами пол, Марко, как было велено, отвязал веревку, и Казанова вытянул ее в окно. К своему ужасу, он обнаружил, что в ней около пятидесяти футов длины — на такой с крыши не прыгнешь.

И снова Казанове показалось, что из их бегства ничего не выйдет, да к тому же они теперь были разделены. Тем не менее он не поддался отчаянию. Крикнув Марко, чтобы тот не двигался с места, Казанова заново начал обследовать крышу и наконец напал на лестницу, оставленную, вероятно, кем-то из рабочих. Осторожно подтащив лестницу к окну, он попытался просунуть ее внутрь, но она застряла, а нажимая изо всех сил, чтобы протолкнуть ее, Казанова поскользнулся и чуть не слетел с крыши. В последнее мгновение он все же удержался и, подтянувшись невероятным усилием своих сильных мышц, лег плашмя на пластины крыши; тут у него началась судорога, и ему пришлось лежать, пока боль не прошла.

Наконец, используя свой железный прут в качестве рычага, он все-таки протолкнул вниз лестницу — радостный возглас Марко подтвердил, что ее основание коснулось пола и она стоит. Сбросив вниз веревки и сверток с одеждой, Казанова осторожно спустился по лестнице и был восторженно встречен Марко.

Они принялись обследовать помещение, где стояла крошечная тьма, и в конце его обнаружили железную дверь, за которой находилась другая комната — там стоял стол и стулья, а окна были закрыты ставнями. Раскрыв их, друзья увидели лишь слабо мерцающие звезды да большие купола собора Святого Марка. Казанова настолько устал в сражении со слуховым окном, что вынужден был передохнуть; затем они продолжили обследование, и Казанова обнаружил небольшую нишу с деревянной дверью, которую с помощью своего прута сумел открыть. Они очутились в длинной галерее, где полно было всяких бумаг, и сразу поняли, что это, должно быть, государственный архив.

В темноте ни тот ни другой не видели ничего перед собой дальше одного-двух футов, но, нащупав пыльные бумаги на полках, поняли, что не ошибаются. Сердца их забились сильнее при мысли, что они выбрались из тюрьмы, составлявшей часть огромного здания, и свобода уже близка. Велев Марко побыть на месте, Казанова ощупью пошел вдоль стены в поисках окна, но такового не оказалось. Начиная терять терпение, он вернулся к тому месту, где стоял Марко, и, натываясь на столы и скамьи, пошел вдоль противоположной стены, где почти тотчас обнаружил высокое окно, закрытое ставнями. Он нащупал крючок, приподнял его и, распахнув ставни, при слабом свете звезд стал выискивать пути к свободе. Теперь они находились совсем невысоко и легко могли спуститься на своих веревках, но Казанова с горьким разочарованием отшатнулся от окна: внизу был лишь двор, обнесенный высокой стеной, а за ней — другой, примыкающий к Палаццо дождей, который наверняка охранялся.

— С этой стороны — никакой надежды... — произнес он громким шепотом, как вдруг Марко схватил его за локоть и в тревоге забормотал:

— Шш! Шш!

Оба напряженно прислушались и помимо биения собственного сердца и грохота крови в ушах отчетливо различили звук быстро удалявшихся легких шагов, затем какая-то дверь открылась, закрылась, и щелкнул

ключ. Несмотря на открытое окно, в помещении было слишком темно и ничего не видно, тем не менее Казанове показалось, что при звуке открываемой двери он на мгновение увидел серый квадрат.

— Ты слышал? — раздался взволнованный, испуганный голос Марко.

— Да. Вроде бы шаги,— сказал Казанова, мгновенно придумав объяснение, которому не верил сам.— Наверное, это была мышь или что-то в этом роде.

— Но я слышал, как открылась и закрылась дверь!

— Это, наверное, что-то свалилось! Пошли дальше.

Осторожно, на ощупь они двинулись дальше — в помещении пахло пылью, старыми бумагами и высохшими чернилами,— пока не добрались до двери, которая оказалась запертой.

— Вот видишь! — в волнении воскликнул Марко.— Я был прав. Тут кто-то был. За нами следят!

— Успокойтесь, юноша, успокойтесь,— мягко произнес Казанова.— Она почти наверняка была заперта задолго до того, как мы выбрались из наших камер. Не надо придумывать.

— Но мы здесь взаперти и...

Дальнейшие слова Марко потонули в громком треске, с каким Казанова, используя свой прут в качестве рычага, без труда сорвал замок с хлипкой двери. За нею открылась лестница, потом площадка, потом еще пролет лестницы и наконец большой зал. Голос Марко, задрожавший от волнения, произнес:

— Канцелярия дожа!

— Ты здесь бывал?

— Часто.

— Можем мы отсюда вылезти через окно?

— Да, но это ничего нам не даст: внизу замкнутые дворы.

— Тогда надо пробираться дальше. Что у нас на пути?

— Всего лишь дверь в канцелярию, потом несколько каменных ступеней и главная дверь на улицу.

— Ну, это не такие уж большие трудности после того, что мы преодолели.

Но трудности оказались большие. Дверь канцелярии и ее замок были много прочнее двери в архив, и Казанова тщетно пускал в ход всю свою силу, крепкие ругательства и острие своего прута. Друзья внимательно обследовали дверь, и Казанова заметил, что широкие верхние панели тоньше нижних.

— Придется пробить дверь, — решительно произнес он.

— В этом гулком зале? Да нас непременно услышат!

— Это единственный шанс, — сказал Казанова. — Отойди-ка.

Грах! Он изо всей силы ударил в панель острием прута, пользуясь им, как пикой и копьём, — дерево треснуло, полетели щепки. Друзья по очереди били в дверь, пока с них не потек пот, и за полчаса проломили дыру, достаточно большую, чтобы через нее мог пролезть человек. К несчастью, она была на высоте пяти футов от земли и щетинилась зазубринами, которых без пилы им было не убрать.

— Ну, и? — спросил Марко, с трудом переводя дух и вытирая затекавший в глаза пот. — Что дальше? Как, черт подери, мы в эту дыру пролезем?

— Шш! — На этот раз Казанова услышал что-то; оба прислушались и, казалось, отчетливо различили шаги — кто-то спускался по мраморной лестнице, а немного спустя раздался ляг закрываемой главной наружной двери.

— Здесь что, живут привидения? — спросил Казанова, и волосы у него встали дыбом при мысли о призраках: он их боялся.

— Вполне возможно, — ответил Марко, зубы у него стучали. — Здесь совершенно достаточно преступлений, чтобы могли поселиться призраки!

— Ба-а! — Казанова распрямил плечи. — Просто мы переутомились, и в голову полезла всякая чертовщина... или это какое-то эхо. Будем двигаться дальше — ничего другого нам не остается и к тому же надо спешить. Теперь и до зари недолго.

— Это все прекрасно, но как? — безнадежным тоном спросил Марко, ощупывая зазубрины в двери.

— Скамьи, — сказал Казанова, подтаскивая две скамьи и ставя их одну на другую. — Прикрой зазубрины моим плащом и лезь. Я тебя поддержу.

Стараясь по возможности удержать Марко на весу, пока он пролезал в узкое отверстие, Казанова помог ему спуститься на пол по другую сторону, так что Марко лишь слегка поцарапался и в нескольких местах порвал одежду. А теперь предстояла задача потруднее: надо было ему самому, куда более крупному мужчине, пролезть в это отверстие, притом без всякой помощи. Подтащив третью скамейку, Казанова создал — правда, весьма неустойчивое — сооружение нужной высоты; Марко сначала схватил

его за руки, потом за плечи и, в какой-то мере поддерживая на весу, помог пролезть. Тем не менее дело не обошлось без больших прорех и царапин, причинявших Казанове невероятную боль и сильно кровоточивших. След кровавых капель тянулся по мраморным ступеням за ним, когда они с Марко спускались и теперь стояли перед последним препятствием, отделявшим их от свободы.

После того как Казанова обследовал в темноте, насколько мог, дверь и обнаружил, что она сбита из бревен, а не из фанеры, окована железом, обита гвоздями с большими шляпками и заперта на внушительный замок, мужество и оптимизм, поддерживавшие его до сих пор, мигом исчезли. Он бережно опустил на пол, как бы прощаясь с ним, железный прут, который так хорошо ему послужил, и со спокойствием отчаяния сел на последнюю ступеньку.

— Мои труды окончены, — сказал он. — Остальное предоставим Богу и судьбе.

— Почему?! — воскликнул в тревоге Марко, пригнувшись к нему и пытаясь прочесть в темноте выражение его лица. — Ты что, выдохся и больше не можешь?

— Нет. Но все равно как если бы выдохся. Нужна пушка или петарда, чтобы пробить эту дверь.

— Только это тебя волнует?

— А разве этого недостаточно?

Вместо ответа Марко заставил его встать и подвел к правой притолоке большой двери. Покопавшись там, он нашел ключ шести дюймов длиной и вложил его Казанове в руки.

— Что это?

— Мой единственный настоящий вклад в чудо, каким является наш побег, — скромно сказал Марко. — Все остальное сделал ты. Поэтому тебе и открывать последнюю дверь, ибо благодаря твоей смелости и уму мы преодолели все другие препятствия. Я часто видел этот ключ. Им открывается боковая дверца, которая прямо перед тобой. Давай сюда твою руку — я ее направлю.

Они так дрожали от волнения, вызванного этой последней удачей, что никак не могли вставить ключ в замок, но наконец бородка ключа вошла, ключ повернулся, и тяжелая маленькая дверь, не больше пяти футов высотой, медленно открылась внутрь, а с прохладной площади в лицо им ударил дивный ночной воздух.

— Ах,— шепотом произнес Казанова, шагнув за порог.— Иди же, Марко! Иди сюда и давай вдохнем воздух свободы. Мы свободны, свободны...

— Неужели вы можете так бесцеремонно покинуть нас?! — иронически произнес чей-то тихий голос у самого его уха.

Казанова резко повернулся и оказался лицом к лицу с Красным инквизитором, а тот чуть ли не дружеским жестом уже положил руку на плечо узника. В отчаянии, ярости и ненависти Казанова размахнулся, чтобы расквасить лицо этому человеку, и в ту же минуту услышал стук башмаков и почувствовал, как его схватили за руки и заломили их назад. В его разгоряченном мозгу пронеслась мысль, что все это время за ними следили, посмеиваясь, и заманили в западню,— тело его обмякло, и он рухнул, бесчувственной тяжестью плоти и костей повиснув на руках стражи.

3

Казанова стонал и метался, пытаясь высвободиться из тенет страшного кошмара. Ему казалось, что он умер на этой земле, но дух его выжил или переселился в другую сферу существования, сумев удержать и тело — тело на редкость чувствительное к боли, тогда как дух в состоянии был терзаться такою мукой, какую еще не знали на земле. В этом новом и страшном существовании он сначала был погружен во тьму, грязь и безнадежность Дантова Мальболджа, а потом ценою вековых усилий, бездны энергии и страданий сумел пройти один за другим все круги ада, пока не достиг преддверия, своего рода ничейной земли между адом и тем, что можно считать его противоположностью. Но тут, к несчастью, тело его, подобно безжизненному телу Патрокла *, — только тело Казановы в противоположность ему продолжало чувствовать и остро воспринимать боль — стало предметом отчаянной борьбы между дьяволами и архангелами в их бесконечной схватке. Пульсирующая боль пронизывала его голову и грудь, терзала его измученные мышцы, в то время как черти острыми огненными когтями скребли и рвали его ноги.

* *Патрокл* — в греческой мифологии сын одного из аргонавтов. Погиб у стен Трои. Тело Патрокла было отбито греками, а оружие досталось врагам.

Он громко застонал, и его раскалывающаяся от боли голова слегка повернулась, когда кто-то из дьяволов или ангелов пролил что-то на его лицо и в нос ему ударил мерзкий острый запах.

— Он приходит в себя,— спокойно произнес лекарь,— ты кончил бинтовать ему ноги?

— Да,— ответил более молодой мужчина, продолжая делать свое дело.

— Хорошо. Теперь накрой его и вытри с лица ароматический уксус — я случайно пролил его. Пойди скажи мессеру гранде, что он будет жить, но ему надо дать отдых и хорошее питание, а потом сразу возвращайся. А как молодой Вальери?

— О, тот в порядке — зачинщиком-то ведь был этот,— сказал молодой человек, вставая,— он только волнуется по поводу своего друга.

— Возвращайся как можно скорее: ты мне понадобишься.

Казанова открыл глаза, невидящим взглядом обвел комнату и снова их закрыл. Лекарь склонился над ним, и когда Казанова снова открыл глаза, во взгляде его, уставившемся на лекаря, были удивление и страх. Опаленные жаром губы попытались произнести что-то, и его невысказанное желание было тотчас понято: Казанове приподняли голову, и он жадно выпил прохладной воды с лимоном и жасмином. Удовлетворенно вздохнув, он упал назад на подушку и закрыл глаза. Но вместе с сознанием к нему тотчас вернулась память, пронзив его кинжалами страха, подозрения и неуверенности.

— Кто вы? — спросил он, схватив мужчину за руку и пронзительно глядя на него, словно пытаясь прорвать пелену обмана.

— Лекарь,— последовал спокойный ответ.

— А я где?.. Где?

Казанова оглядел комнату, пытаясь припомнить ее. Но эта комната с высокими сводами, со стрельчатыми окнами в мелком переплете и гобеленами на стенах была ему совершенно незнакома. Словно сквозь туман он подметил, что она богато обставлена старинной мебелью и что он лежит на кровати со столбами и балдахином.

— Разве я сумел бежать? — размышляя вслух, произнес он.— Конечно же нет. Этот зверь... Доктор! Скажите, где я?

— Сначала пообещайте, что вы будете вести себя спокойно и принимать лекарство, которое вам дадут...

— Конечно, обещаю... только скажите же мне, скажите!

— Во Дворце дождей.

Казанова издал страшный звук — нечто между стоном и криком ужаса, какой издает человек, видя, что его покалечило в бою. Он закрыл лицо руками и снова упал на подушку. Но почти тотчас сел и, отчаянно вцепившись в руку лекаря, взмолился:

— Доктор, я этого не вынесу! Говорю вам — не вынесу. Я лишусь рассудка, а это мне тоже невыносимо. Быть жалким узником, здоровым или безумным, без надежды отсюда выбраться... Ох, нет, нет. Доктор, вы же человек, а не бездушное орудие этой подлой безликой власти. Дайте мне что-нибудь, что убило бы меня...

Лекарь отрицательно покачал головой.

— Вы же знаете, все лекари дают клятву...

— Но это же будет во спасение жизни, а не ради ее изъятия! — горячо взмолился Казанова. — Неужели вы не понимаете, ведь насколько лучше умереть и...

Тем временем лекарь достал из своей сумки пузырек и накапал в рюмочку с душистой водой двадцать капель какого-то снадобья, которое, попадая в воду, тут же образовывало молочные ручейки. Кладя конец мольбам Казановы, он поднес рюмку к его губам и сказал только:

— Выпейте.

— Это яд?

— Выпейте.

Наполовину убежденный, что лекарь дает ему яд, Казанова охотно выпил и, уступив его уговорам, лег и закрыл глаза. Круговорот мыслей и чувств, терзавших его, стал постепенно замедляться, танец дервишей в мозгу утратил свой бешеный темп, и блаженное чувство мягко обволакивающего покоя и умиротворения проникло в него, заглушая даже боль в израненных острыми зазубринами досок бедрах и ногах, пока она не стала чем-то далеким, а потом и вовсе исчезла.

Лекарь молча неподвижно сидел, пока Казанова не заснул, а тогда взял свои инструменты и бесшумно направился к двери, успев перехватить на пороге своего возвращавшегося помощника. Они шепотом повели разговор в соседней комнате.

— Его душевное состояние — хуже некуда, — прошептал лекарь. — Я дал ему самое сильное успокоительное, какое только можно. Теперь многое будет зависеть от того, что они с ним сделают. Он считает, что лишится рассудка, если его вернут в тюрьму, и я склонен думать, что он прав. Что сказал мессер гранде в ответ на мое донесение?

— Просто кивнул, — отвечал помощник, — и сказал, что меры будут приняты. Мы должны оставаться при нем, пока он не поправится, и главное — следить, чтобы он не причинил себе вреда...

— Что?! — возмущенно воскликнул лекарь. — Мы же не санитары... и не тюремщики!

Помощник мрачно усмехнулся.

— Похоже, что этот пациент представляет особый интерес для республики, и в данном случае мы должны считать себя задержанными. — Желая подчеркнуть все значение последнего слова, он указал на толстые прутья решетки на изящных готических окнах.

Глаза лекаря засверкали от возмущения.

— Но мои пациенты! А моя свобода?!

— О какой свободе может быть речь? — цинично заметил молодой мужчина. — Свободе не дышать? А что до нас, то мессер гранде подчеркнул, что мы ничего не потеряем.

Лекарь уже взял себя в руки и лишь пожал плечами.

— Кто из нас возьмет на себя первую смену — я или ты? — спросил он.

Задача, возложенная на них, была далеко не легкой, и наибольшим препятствием на пути к выздоровлению пациента был сам пациент. Первые два-три дня он находился в таком отчаянии и так ненавидел жизнь, что пришлось давать ему наркотики. Когда же давать их и дальше стало опасно и к больному вернулась воля, пришлось сражаться с ним, чтобы он не срывал с себя бинты и не пытался тем или иным способом покончить с собой, а кроме того, надо было уговаривать его или заставлять есть и пить. Оба лекаря были совершенно измучены и готовы признаться правителям, что не в состоянии сладить с Казановой, когда физическая сила Казановой наконец возобладала над душевной депрессией. Он вдруг попросил еды и вина, с аппетитом поел, попил и поспал, а проснувшись, снова поел. Молодой лекарь посмотрел на своего учителя и понял, что пациент явно на пути к выздоровлению.

Прошло десять дней со времени сенсационного побега и горькой иронии вторичного ареста. Осознание того, что его тщательно продуманные планы стали известны инквизиторам, что Лоренцо либо обнаружил дыры, пробитые Марко, либо — что скорее похоже на правду — носил инквизиторам наколотые книги, — вот что больше всего доводило до бешенства Казанову и вызывало у него желание покончить с собой. Ему была непереносима мысль, что человек, которого сумели так провести, неизбежно, по его мнению, становится посмешищем. Инквизиторы явно знали обо всем, вплоть до времени, на которое был назначен побег, и шаги, которые он и Марко слышали, были шагами стражников, поставленных, чтобы следить за ними. Это была своеобразная пытка — пытка надеждой, которую, говорят, использовала испанская инквизиция. А после двух таких провалов на что можно надеяться? Казанова вновь впал в поистине животную апатию, не имея достаточной силы воли, чтобы довести себя голодом до смерти, и не настолько опустившись, чтобы смириться с жизнью в темнице и, став мертвецом для всего мира, год за годом прозябать там. Лучшее, что он мог сделать, — это стараться ни о чем не думать: забыть про Марко и Анриетту, про такой знакомый ему мир женщин и игорных домов, поставить крест на жизнь, полную приключений, перемещений и удовольствий. Приняв такое решение, он потребовал себе книг, и еще книг, и еще книг и читал с момента пробуждения до тех пор, пока его усталые глаза не смыкал сон. Ему нетрудно было выполнять указание лекаря лежать в постели, ибо постель у него была не тюремная, а удобная, даже роскошная, и делать ему было, если бы он встал, абсолютно нечего.

Однажды после полудня, когда Казанова был глубоко погружен в историю Рима, дверь в его комнату вдруг распахнулась и вошел какой-то человек. Одет он был со всем тщанием и роскошью венецианского патриция: башмаки на высоком каблуке, шелковые чулки, бархатные панталоны и парчовый камзол с жилетом, завитой и напудренный парик, безупречное кружево, черненная трость, золотая табакерка. Посетитель с небрежной грацией поклонился, и, только когда он стал искать глазами кресло, Казанова с глубочайшим изумлением понял, что этот любезный патриций не кто иной, как Красный инквизитор.

— Надеюсь, вы чувствуете себя лучше, Казанова, и вы извините меня, если я сяду,— любезно произнес инквизитор.

Кровь гневной волной прилила к щекам Казановы, взгляд стал жестким, кулаки сжались.

— Вы смелый человек, мессер, встречаясь один на один с человеком, который так сильно от вас пострадал,— глухим голосом произнес он. — Не настолько я покалечен, чтобы у меня не хватило сил задушить вас голыми руками.

Инквизитор спокойно, не спеша, взял понюшку табаку, смахнул травинки с рукава, легонько промокнул ноздри кружевным платком, спокойно хмыкнул и сказал:

— Поэтому я и пришел к вам как венецианский синьор, а не в одеждах, в каких я исполняю свои обязанности.

— Одежда не имеет для меня значения,— мрачно заметил Казанова.

— Прошу меня извинить, но, хотя я еще не покинул свой пост и не могу этого сделать до срока, на который меня выбрали, я пришел к вам в совсем другой роли.

— Какой же это, прошу вас?

— В роли посла Светлейшей Республики.

Казанова издал хриплый смешок — словно пролаял пес — и раздраженно произнес:

— Если это шутка, то шутка неумная. Если же нет, то я вас не понимаю.

Инквизитор снова хмыкнул.

— Во-первых, я полномочен Советом десяти поздравить вас.

— Советом... поздравить?.. — пробормотал Казанова.

— Безусловно. Синьор Казанова, вы — венецианец. Вы знаете тысячелетнюю историю нашей родины, вы знаете, какой она была и какая она есть. И вы знаете — между нами, конечно,— что наша дорогая родина больше не дает миру людей того калибра, какими она славилась и заставляла себя бояться. У нас еще сохранились такие фамилии, как Дандоло и Морозини, но у людей, носящих их, уже нет былых достоинств...

— Ну, и? — спросил Казанова, поскольку инквизитор умолк.

— Так вот, несколько дней тому назад вы пытались бежать...

Лицо Казановы потемнело от гнева, и он не без ехидства спросил:

— И Совет десяти шлет мне поздравление с успехом? А-а! Если бы не предательство и не подслушивание, вам никогда бы меня не поймать.

— Вполне справедливо.— Инквизитор повел изящной рукой.— Мы читали все ваши послания Вальери, за исключением, пожалуй, первых двух или трех. Но, во-первых, мы многое извлекли из вашей попытки — тюремная система будет перестроена,— а во-вторых, никто из нас не верил, что в человеческих силах сделать то, что вы сделали...

— К чему же вы все-таки клоните? — нетерпеливо спросил Казанова. — Какой мне прок от всех этих разговоров, даже если бы я поверил в их искренность?

— Все это безусловно искренне,— ответил инквизитор,— просто вы не даете мне времени объяснить.

— Между нами стоит куда больше, чем можно объяснить с помощью нескольких ничего не значащих похвал,— весомо сказал Казанова, садясь в постели.— Вам легко великодушно простить себя за те раны, что вы причинили мне, но это не так легко мне. Вы арестовываете меня, не предъявляя обвинений, четыре часа допрашиваете, опять-таки не предъявляя никаких обвинений, потом полтора года держите в тюрьме, по-прежнему не предъявляя обвинений. А потом, когда я почти преуспел и чуть не вырвался из ваших цепей, вы являетесь ко мне и говорите, что я славный малый. Такой высокой оценки я не заслуживаю. Признаю: я игрок и распутник и, случается, бываю резок на язык. Но я не предатель своей родины и не претендую на славу Морозини и Дандоло!

— Отлично сказано,— произнес инквизитор и в подтверждение своего удовлетворения взял понюшку табаку, а Казанова откинулся на подушки, утомленный собственным красноречием.— А теперь дайте *мне* возможность высказаться. Мы арестовали вас той властью, какую наделили нас законы Венеции,— арестовали потому, что на вас был совершен донос, который сделала лично весьма уважаемая особа, обвинив вас в прямом участии в заговоре против Венеции — заговоре, который ни больше ни меньше состоит в том, чтобы завладеть нашими ключевыми форпостами на Адриатике с помощью предательства и соращения комендантов этих крепостей, а затем передать их в руки наших врагов — австрийцев.

— Ах, так вот, значит, как отомстила мне донна Джульетта?! — прервал его, насупясь Казанова. — Что же побудило вас поверить такой глупости?

— Венеция никогда не подтверждает и не отрицает догадок о личности доносчика, — холодно сказал инквизитор. — А что касается последней части вашего замечания, то с нашей стороны было бы безумием не заняться расследованием, тем более что у нас есть доказательства — должен признать, несколько туманные и неудовлетворительные, — что такой заговор существовал. Но вся эта история покрыта тайной. Либо нам дали очень неверные сведения, либо мы имеем дело с на редкость хитрыми и осторожными людьми, на которых работают два, а то и больше агентов, до сих пор остающихся неуловимыми.

— Но я-то какое имею ко всему этому отношение? — с горечью спросил Казанова. — При том, что я ничего не знаю об этом, кроме того, что вы мне сейчас рассказали?

— Как и во всех комиссиях, в нашем Триумvirате есть расхождение во мнениях, — сдержанно сказал инквизитор. — Я с самого начала считал, что вы невиновны, но мои коллеги думали иначе. Затем, поскольку в далмацких и албанских портах ничего не происходило, я счел это говорящим в вашу пользу, а мои коллеги утверждали, что это, возможно, объясняется тем, что мы схватили главного заговорщика, то есть вас.

— Боюсь, я заплатил слишком дорого за высокое мнение Их Превосходительств о моих способностях к интригам, — сказал Казанова. — Тюрьма на редкость хорошо растворяет человеческое тщеславие.

— Так мне говорили, — сказал инквизитор, по обыкновению ныряя пальцем в табакерку. — Я продолжу: так вот, все было тихо в течение более года... даже полтора лет, так? — поправился он, заметив протестующий жест Казановы. — Но сейчас мы получили некие сведения, которые заинтересуют вас, как они заинтересовали и нас...

— Заинтересуют меня?

— Похоже, что вас принесли в жертву, чтобы прикрыть кое-кого другого, настоящего агента, а мы считали, что выловили агента, когда арестовали вас. Главной движущей силой во всем этом является посланник одной иностранной державы, в отношении которого мы открыто ничего не можем предпринять, не вызвав войны, а мы — нечего и говорить — не в состоянии ее затевать.

Похоже, что вы каким-то образом оскорбили или унизили этого посланника и он питает к вам личную неприязнь... Кстати, не было ли с вами в тот день в гондоле Вальери молодой женщины?

— Да, была.

— А куда она делась?

— Марко высадил ее на берег поблизости от Местре, и она по всей вероятности, покинула территорию Венеции.

— Это и он говорит, — заметил инквизитор, кивая с глубокомысленным видом, — либо вы очень умело готовили ответы на все вопросы, либо — как это ни удивительно, пожалуй, говорите правду... Но возвращаюсь к делам более важным: этот агент, ради которого вы были принесены в жертву... м-м... господином, которому вы перебежали дорогу в... Что я хотел сказать?.. Словом, этот агент, насколько нам известно, приезжает для получения инструкций в деревню в швейцарском кантоне Гризон.

— Ну, так почему же вы не пошлете туда кого-нибудь из ваших бандитов, чтобы перерезать ему горло? — нетерпеливо спросил Казанова.

— Мы, конечно, делали такие вещи раньше, — спокойно признал инквизитор, — но с меньшим успехом, чем нам хотелось бы или чем можно предполагать. А в данном случае против этого есть и более серьезные возражения. Гризон в союзе с Австрийской империей. А империя проявляет особый интерес к этой... твари. Нет, мы решили, что лучше будет послать вас туда, чтобы вы завлекли агента на нашу территорию, где мы могли бы совершить арест...

— Меня?! — в изумлении прервал его Казанова. — Но что же я могу сделать? И почему посылать именно меня?

Инквизитор улыбнулся.

— Это мне нетрудно вам объяснить, — сказал он. — Мы поняли, что причина нашего провала объясняется, по всей вероятности, тем, что агентом является женщина, — это нам и в голову не приходило.

— Невероятно!

— Ничуть, — не без издевки заметил инквизитор. — Женщин постоянно используют в подобных тайных политических... м-м... маневрах. Французский двор, Англия и Голландия постоянно так поступают. У нас, поскольку мы имеем дело главным образом с папой и

турками — с двумя государствами, где у власти стоят мужчины, — меньше опыта такого рода. Словом, такое предположение поступило к нам сейчас от наших наблюдателей. Ну, и мне пришло в голову, что лучший способ завлечь женщину и заставить ее пересечь нашу границу без применения силы — это подослать к ней самого изощренного соблазнителя нашего времени...

— Вы мне льстите, — мрачно произнес Казанова.

— Нисколько, нисколько, это чистая правда. То, что так трудно для другого, легко для вас, вам достаточно ослепить ее, заставить стать вашей и привезти туда, куда мы скажем и где сможем спокойно ее арестовать, а вы, конечно, больше никогда ее не увидите.

— Премерзкая антреприза, — сказал Казанова.

— Но все-таки лучше, чем пожизненное заключение в Колодцах, синьор Казанова, ибо, уж будьте уверены, мы вас больше не препоручим заботам легкомысленных надзирателей Свинцовой тюрьмы — даже при нашей новой системе. А жизнь обитателей Колодцев обычно не бывает долгой.

Казанова прикусил губу и какое-то время сидел с мрачным видом. Предложение казалось ему унижительным, но Колодцы — эти страшные подземные темницы без света, наполовину утопленные в мокрой почве Венеции, кишасшие крысами, населенные микробами лихорадки...

— Продолжайте, — угрюмо произнес он.

— А-а, я так и думал, что вы согласитесь, — цинично сказал инквизитор. — Но в таком случае нам не о чем больше говорить, разве что о деталях, которые мы рассмотрим позже...

— Но как я узнаю эту... эту особу? — спросил Казанова, проглатывая неприязнь.

— Вам нетрудно будет заметить чужую женщину или иностранку в маленькой гостинице заброшенной деревушки в Гризоне. Место это находится у подножия перевала Стельвио, хотя и не на главной дороге, — как видите, хитро выбрано. Так или иначе, вы узнаете эту «особу», так как вам она знакома.

— Я узнаю ее?! — Казанова был потрясен. — Да как это может быть?

— Дорогой мой Казанова! — Инквизитор, несколько развеселившись, взял понюшку табаку. — Да неужели вы до сих пор не поняли, что некоторые дамы, благосклонно относясь к определенного рода авансам, чувствуют себя глубоко оскорбленными, если их бросают или с ними

порывают до того, как они того захотят? Вы же сами, кажется, думаете — учтите, я ничего не признаю и ничего не отрицаю, — что донесла на вас женщина...

Представьте себе бесконечно долгую вспышку молнии, которая позволяет отчетливо увидеть каждую особенность плохо различимой ранее местности, — к такого рода явлениям можно отнести и последнюю фразу, сказанную инквизитором Казанове. Подобно всем заключенным, Казанова долго и горестно размышлял, подробнейшим образом разбирая все обстоятельства своего ареста и его причины. Встреча с гондолой донны Джульетты на регате в день Вознесения была, учитывая их отношения, достаточно ясным — а с точки зрения Казановы, и решающим — доказательством того, что донна Джульетта оклеветала его, да и инквизитор своими хитроумно построенными отрицаниями, казалось, признал это. Загадка состояла в том, как она умудрилась так быстро сделать донос. Теперь, имея в руках ключ, полученный от инквизитора, можно было предположить, что у нее были к тому другие основания, а не просто ревность и жажда мщения. Она стремилась обезопасить себя. В Риме у нее была репутация женщины, глубоко замешанной в разного рода политических интригах, но поскольку такого рода вещи не интересовали Казанову, он никогда над этим не задумывался. Если же все это время она была тайным агентом, пытавшимся завладеть далмацкими фортами, — это все объясняло, в том числе ее присутствие во Флоренции и в Венеции. У такого рода особ всегда есть знакомые среди бесчисленного множества мелких шпионов врага, и донна Джульетта наверняка продавала или сообщала им всякие мелочи, выдавая неудобных ей или не имеющих веса особ, чтобы в большей безопасности работать самой. Обнаружив, что у венецианских правителей появились некоторые подозрения — а Казанова вспомнил теперь, что Марко говорил ему о чем-то таком, когда Казанова вернулся в Венецию, — донна Джульетта тотчас отправилась к одному из этих паразитов со своей вроде бы чрезвычайно важной информацией. А теперь ему предоставлялась возможность отомстить ей самым подобающим образом, в свою очередь отдав ее в руки правосудия и на милость инквизиторов Венецианского государства...

— В глазах его появился волчий блеск, и он сказал:

— Я берусь за эту миссию. Когда надо начинать? И какие будут мне инструкции?

— Сначала вы должны выздороветь,— сказал инквизитор, вставая и сбрасывая крошки табака с одежды.— Как только доктор сообщит, что вы полностью поправились,— скажем, дня через два или три,— мы проведем еще одну беседу и дадим вам дополнительные инструкции. Если вам удастся арестовать, или выкрасть, или... назовем это как угодно иначе... героиню (назовем ее так?) без скандала и живьем, вы получите награду в тысячу цехинов и конфиденциальную должность при правительстве... Вы хотели что-то сказать?

У Казановы чуть не сорвалось с языка, что вместо денег он предпочел бы право воспользоваться шпионской сетью республики, чтобы найти Анриетту, ибо в долгие часы бдения в тюрьме ему всегда казалось, что даже свобода не будет иметь для него цены без нее. А потом ему пришла в голову мысль, что, если он получит постоянную должность при правительстве, она сможет махнуть рукой на поиски своего неуловимого наследства и он сам сумеет снова ее найти...

— Нет,— сказал он вслух,— ничего... я только хотел спросить, будет ли эта должность постоянной?

— Конечно.— Инквизитор уже повернулся было, чтобы уйти, и тут же возвратился на прежнее место. Голос, которым он заговорил, звучал ровно и приятно, но в тоне чувствовалось страшноватое сознание своей власти.— Должен добавить: венецианские правители рассчитывают, что вы неукоснительно будете выполнять их приказания. Вы склонны к опрометчивым поступкам, Казанова, а потому я хочу по-дружески напомнить вам, что у правителей длинная и сильная рука... А пока прощайте.

4

«Два или три дня»,— сказал Красный инквизитор, и можно ли удивляться, что для Казановы они тянулись бесконечно долго? Проведя полтора года в тюрьме — и все это время в одиночном заключении, пережив периоды надежды, страха и тяжелого труда, связанного с побегом, а затем впад в безграничное отчаяние от того, что его поймали в тот момент, когда успех был уже близок,— Казанова находился в крайне нервном состоянии и — что естественно — размышлял о том, не является ли посещение инквизитора, перемена отношения

к нему со стороны Триумвирата, предложение об этой странной и трудной миссии и обещание в случае удачи последующих наград,— не является ли все это еще одной дьявольской формой пыток? Он усиленно старался убедить лекаря, продолжавшего ежедневно посещать его, побыстрее удостовериться, что он может тотчас отправиться в путь.

— Дорогой синьор,— сказал ему лекарь, пожав плечами,— я понимаю ваше нетерпение. С ним может сравниться лишь мое собственное желание видеть вас здоровым и выпущенным из этих мест, которые вызывают у меня дрожь — при всем, как вы понимаете, уважении к нашему доблестному дожу! Но я могу повлиять на наших инквизиторов не больше, чем самый жалкий рыбак из Маламокко, а они уже приняли решение о часе вашего освобождения или вернее о часе, когда вас поведут на последний разговор с Красным инквизитором. Назначен он на завтрашний вечер, в девять часов. А до тех пор я советую вам отдыхать, хорошенько кушать и успокоиться. Вы находились ведь на грани воспаления мозга...

— Хотелось бы мне им верить,— еле слышно прошептал Казанова.

— Зряшное дело им не верить,— возразил лекарь.— Да и почему, собственно? Судя по тому, какие мне даны указания, я пришел к выводу, что по каким-то причинам они хотят видеть вас здоровым и возможно более сильным, а хотеть этого они могут лишь в том случае, если вы для чего-то им нужны.

Здравый смысл слов лекаря в известной мере успокоил и убедил Казанову, хотя, когда ему не спалось — а такое было с ним не раз,— он по-прежнему доводил себя до кипения и никому не верил. Но, как и следовало ожидать, мысли его почти целиком были заняты женщинами. О Розауре он едва вспоминал — разве что иногда спрашивал себя, как-то там она, и надеялся, что все у нее хорошо. Мариетта же то и дело возникала в его мыслях. Почему-то особенно живо вспоминались ему часы, проведенные с нею во Флоренции, и он жалел, что так резко и эгоистично порвал с ней — в конце концов, судя по словам Анриетты, Мариетта вела себя очень деликатно и мило. А вот Анриетта...

Что ж, можно сказать, что в первые день и ночь, когда он лихорадочно ждал освобождения, буквально не проходило пяти минут, чтобы он не думал об Анриетте,

порою же думал о ней непрестанно. В противоположность этому в первые месяцы заключения он старался об Анриетте не думать, ибо слишком уж бередили и терзали его воспоминания, а последние месяцы она вообще ушла из его мыслей в часы бдения, поскольку он был всецело занят планами побега. Теперь же он со все возрастающей отчетливостью и тревогой пытался представить себе ее судьбу и снова и снова искал ответа на вопросы, которые так часто не давали ему покоя в первые недели заточения. Как удалось ей бежать? Куда она отправилась? Что делала после их внезапного и трагического расставания? Удалось ли ей добиться того, чего она хотела? Не забыла ли она его? Не появился ли у нее новый любовник? Если он выйдет на свободу, как ему ее искать?..

Наутро второго дня после ухода лекаря Казанову посетил офицер стражи государственной инквизиции и вежливо сообщил, что Красный инквизитор встретится с ним в девять, после чего Казанова сразу уедет. Это сообщение, подтверждавшее слова лекаря, вполне могло быть просто частью замысла, если ему устраивают пытку надеждой, но, по счастью, Казанова предпочел принять информацию на веру и не терять на этот день присутствия духа. Перспектива скорого освобождения и недалекой встречи с донной Джульеттой при весьма любопытных обстоятельствах побуждала его думать больше о ней, чем об Анриетте.

Казанова уже давно пришел к выводу, что самым глупым шагом в его жизни было то, что он бросил донну Джульетту в такой интересный момент по мановению руки Анриетты. Правда, от этого эпизода отзывало романтикой, но Казанова нажил себе таким образом врага, и это затрудняло стоявшую перед ним сейчас задачу, хотя и давало ему серьезное основание для мщения. Однако, будь он менее импульсивен, останься он с донной Джульеттой и стань она его любовницей, — сколь многого можно было бы избежать! Анриетта никогда бы об этом не узнала, он придумал бы для донны Джульетты какой-нибудь предлог, чтобы вовремя уехать из Рима и успеть на свидание с Анриеттой, и ему не пришлось бы драться на тосканской границе или участвовать в этой странной и до сих пор загадочной для него истории, когда он встретил Анриетту в пути в мужском костюме...

И Казанова твердо решил, что, если и совершил подобную ошибку в прошлом, больше такого не повто-

рит. Хотя он и ненавидел эту женщину лютой ненавистью, считая ее причиной своего долгого заточения и страданий, а также своей разлуки — быть может, навеки — с Анриеттой, тем не менее в качестве первого шага отмщения он задумал сделать донну Джульетту своей любовницей, а потом, пользуясь этим, привезти ее туда, где ее арестуют, и тогда уж Венецианская республика с лихвою отомстит ей и за него, и за Анриетту...

Он снова и снова гонял эти мысли по кругу, словно лошадь с завязанными глазами, когда часы на калье деи-Фаббри пробили девять раз, и в тот же миг молодой офицер с пунктуальностью военного вошел к нему в комнату. С офицером был солдат — не для того, чтобы охранять Казанову, а чтобы нести его вещи, — и офицер, любезно болтая с Казановой, повел своего узника по лабиринту переходов, лестниц и анфилад, пока они не подошли к двери, охраняемой двумя вооруженными людьми, которые остановили их и услышали в ответ пароль. Офицер постучал, чей-то голос ответил, и Казанова очутился лицом к лицу с Красным инквизитором, который снова был в своей официальной одежде и что-то писал, сидя за столом. Он тотчас любезно положил перо, пожал руку своей бывшей жертве и предложил Казанове присесть.

— Вы выглядите лучше, — сказал он.

— Надежда прекрасно тонизирует, — сказал Казанова с чуть кривой усмешкой, — хотя у меня было ее, пожалуй, слишком много.

— Вы считаете, что осуществление надежды лучше? Вы совершенно правы. Но хватит об этом. Если вы честно выполните свою миссию, но не преуспеете, вам нечего бояться, — вот только награды вы, естественно, не получите. Если же вы предадите нас, запомните еще раз: у Венецианской республики все еще длинная рука... У вас есть деньги?

— Два-три цехина, оставшихся от тех шести, которые сенатор Брагадин выделял мне на месяц.

— А-а! Он посылал вам деньги? Да, конечно, теперь припоминаю. Добрый ваш друг, но несколько придурковатый, совсем теряет голову, когда речь заходит о вопросах, в которых он понимает столько же, сколько и все остальные, — возможно, все люди таковы. Возьмите этот кошелек.

Казанова почувствовал, что кошелек тяжелый.

— Тут двести цехинов,— сказал инквизитор.— На ваши расходы и на возможный подкуп — запомните: подкуп почти всегда куда действеннее удара и, как правило, дешевле обходится. Вы уже продумали какой-то план подхода к... будущей узнице?

— Я придумал несколько вариантов,— с уверенностью произнес Казанова,— но не хочу связывать себя заранее ни с одним из них: взвешу возможности, когда увижу ситуацию, и соответственно стану действовать.

— Хорошо. Вот это нам нравится. Разумный человек тот, у которого есть голова на плечах и который умеет ею пользоваться и держать язык за зубами. Запомните это, Казанова. Что же до вашей добычи, то я не могу вам дать ее описание, кроме того, что мы узнали из перехваченного зашифрованного письма, которое мы переписали и, конечно, отправили по назначению, — по нашему разумению, это должна быть женщина. Название деревни и гостиницы тут написано, вам также дается карта и программа пребывания этой женщины.— Инквизитор протянул ему несколько сложенных листков.— Можете изучить их завтра, а потом уничтожьте. Вы меня поняли?

— Да.

— Вот ваш паспорт. Вы поедете под именем Джакомо Личинио, как торговец винами, направляющийся в Вальтеллин для закупки нескольких бочек вина особого урожая для венецианских знатоков. Физические данные в паспорте в точности соответствуют вашим. Все ясно?

— Безусловно.

— Имя я поставил ваше. Мы считаем, это помогает лучше скрыть подлинную личность. Полуправда всегда намного обманчивее полноценной лжи. Тот же принцип будет применен и в отношении вашего выхода отсюда. Слухи о вашем побеге уже, конечно, не один день ходят по Венеции, приукрашенные и искаженные настолько, насколько может хватить воображения у ослов, которые такому верят. Различные небылицы на этот счет были напечатаны по всей Европе. Утверждать, что ничего не произошло, невозможно из-за того, как вы повредили дверь канцелярии, этого не скроешь. Сначала мы не говорили ничего, а потом, как только решили выпустить вас, сразу заявили, что вы бежали. Это тотчас бросило тень на рассказы о вашем побеге: никто ведь не верит, что правители в таких делах могут сказать правду. Прошло несколько дней, и за это время стало ясно, что все семьдесят три

человека, именовавшие себя Джакомо Казанова, оказались самозванцами, а потому теперь все твердо убеждены, что это были нелепые рассказы и никакого побега или попытки к побегу не было. Это, конечно, принижает вашу славу, но значительно поможет выполнению вашей миссии и, следовательно, обогатит ваш карман...

Казанова поклонился в знак признательности за столь высокую оценку и обещание.

— Когда вы вернетесь, мы, конечно, освободим Джакомо Казанову. Вам же пока придется действовать осторожно — в особенности до тех пор, пока не отъедете достаточно далеко от Венеции или любого места, где вас могут узнать. Сделайте вид, что у вас болит горло, и хорошенько закрывайте лицо. У тюремной пристани вас ждет гондола, а в Местре — почтовая карета... Есть какие-нибудь вопросы?

— Есть. Куда я должен привезти... м-м... будущего узника?

— Это указано в инструкции и на карте, которую я вам дал. Что-нибудь еще?

— Да. Как мне связаться с...

— Ни в коем случае, — быстро прервал его инквизитор. — В подобных делах никогда не пишут и ничего не передают, если этого можно избежать. Наши люди — все отборные агенты — будут терпеливо ждать, пока вы туда приедете... мы уверены, с добычей. Прощайте.

Поклон Казановы был уже адресован темноволосой голове, склонившейся над столом, где горой лежали документы. Выйдя из комнаты и закрыв за собой дверь, он почувствовал, как сердце у него ушло в пятки от страха при виде молодого офицера, которого теперь сопровождали еще двое. Неужели, спросил себя Казанова, инквизитор, несмотря на несомненную откровенность и доверие, снова сыграл с ним злую шутку, и к двум другим добавил третьего, чтобы помочь его арестовать?

А третий мужчина, стоявший в глубине плохо освещенного коридора, шагнул сейчас вперед и, к стыду и восторгу Казановы, оказался Марко — Марко, которого держали в тюрьме только потому, что он был другом Казановы, а Казанове даже не пришло в голову поставить условием освобождение друга за ту весьма мерзкую услугу, которой от него потребовала инквизиция в обмен на свободу.

— Джакомо!

— Марко!

Друзья сначала схватили друг друга за руки, потом обнялись, пролив по обычаю южан легко подступающие слезы. Молодой офицер дотронулся до плеча Казановы.

— Пройдите в эту комнату, синьор, вы сможете минут десять побыть наедине с вашим другом. А затем пора будет двигаться в путь.

Поахав и поохав, что было естественно в их положении, Казанова прежде всего спросил:

— Как обстоят твои дела, Марко?

— Меня выпускают с компенсацией и своего рода извинениями при условии, что я проведу год в Падуе и что мой отец и Брагадин обязуются доставить меня в Венецию в любое нужное время.

— Можешь ты простить меня за те страдания, которые ты по моей вине здесь перенес?

— Это не твоя вина, — тепло проговорил Марко, — а вина этой подлой, насквозь прогнившей республики, которая...

— Тихо! — сказал Казанова. — Тебя могут услышать. Мы ведь еще не выбрались из ловушки, и я подозреваю, что именно такие разговоры с моей стороны и способствовали тому, что мы здесь очутились. А как старик сенатор? Ты видел его?

— Брагадин? Да, видел, и он выглядит точно так же, как в последний раз, когда мы его видели, — все причитает, что ты без достаточного благоговения вопрошал «Ключ Соломона».

— Старый осел! — рассмеялся Казанова и тут же наспулся. — Но почему он не просил о свидании со мной?

— Просил, но ему не разрешили.

— Почему? А, неважно. Времени у нас мало. Еще один вопрос: есть у тебя хоть какие-то сведения или догадки относительно того, где Анриетта?

Марко покачал головой.

— Ни малейших. Мне стоило большого труда убедить ее бежать. Она все твердила, что хочет сдаться, что она — причина твоего ареста и что, если она будет у них в руках, тебя могут выпустить. Когда же наконец она согласилась покинуть территорию Венеции, то отказалась дать какой-либо адрес: сказала, что, если и когда тебя выпустят, она наверняка об этом услышит...

— Время кончилось, синьоры, — произнес голос молодого офицера. — Мне жаль нарушать вашу беседу, но у меня на этот счет есть приказ, которого я не могу послушаться. Синьор Казанова, гондола готова.

Теплое прощание с Марко, затем коридоры, лестница, вдруг открывшаяся дверь — и Казанова почувствовал на своем лице дыхание свежего ночного воздуха Венеции. Молодой офицер, взяв его под руку, подвел в темноте к краю причала и шепотом объяснил, что его, Казановы, отъезд должен происходить тихо, в темноте, чтобы остаться по возможности в тайне. Он пожал Казанове руку, помог ему спуститься в фельце, и гондола неопи-суемо мягко заскользила по воде, унося узника от тех мест, где он познал столько горя и где столько мужества было потрачено зря.

Тому, кто никогда не сидел в тюрьме, нечего и пытаться понять тот поистине истерический восторг, какой постепенно овладевал Казановой по мере того, как гондола быстро продвигалась к Гвидекке, а затем направилась к континенту. Убийственное однообразие существования, бесконечно тянущиеся бесцветные дни, ужасные ночи, проведенные в тюрьме, все еще терзали его ядом воспоминаний, и он тихо заплакал в темноте при мысли, что наконец избавлен от всего этого, а также от сожалений о безвозвратно утраченных днях молодости. Ему казалось, что теперь ничто уже не способно причинить ему настоящую боль, что, пока он на свободе, вдали от этих жутких стен, он ни о чем не станет сокрушаться.

Однако так велико было его недоверие, что дважды, когда гондола по каким-то причинам слегка сворачивала — или ему казалось, что слегка сворачивала, — с курса на Местре, ему приходила в голову сводящая с ума мысль, что треклятая инквизиция играет с ним в кошки-мышки. Это подозрение исчезло, лишь когда он благополучно сошел на землю и был препоручен заботам проводника, принесшего ему два саквояжа, которые неведомо для Казановы были наполнены одеждой и прочими необходимыми вещами по приказу Триумвирата. Наблюдая за тем, как саквояжи укладывают в почтовую карету, которая должна была отвезти его в Гризон, Казанова мрачно подумал, что Триумвират в самом деле не забывает ни об одной детали, сколь незначительной она бы ни была. Вы только представьте себе, они продумали все, что требуется для удобства человека, которого мучили полтора года по ничем не подкрепленному подозрению!..

Такие и многие другие мысли и чувства одолевали Казанову, мешая ему заснуть под некогда такое знако-

мое, а сейчас такое восторженно-новое покачивание и подпрыгивание кареты, влекомой парой сильных лошадей. Всякий раз, как они останавливались на почтовой станции, он выходил из кареты: внешне — чтобы размяться, а на самом деле ради удовольствия снова почувствовать под ногами землю и иметь возможность обменяться словом с конюхом или почтальоном, или сонным хозяином — с кем угодно, кто не был тюремщиком или инквизитором, или человеком, как-либо связанным со Свинцовой тюрьмой. А однажды он чуть не прочитал молитву, которую шептал в течение более года, — моление за всех тех, кто сидит в темнице — символе неравенства и тирании.

Он все-таки заснул под неумолчный стук колес, а проснувшись, обнаружил, что весь окрестный мир погружен в белый холодный туман, в котором вдруг возникали смутные очертания деревьев с мокрыми желтыми листьями, белых домиков и проезжающих мимо повозок. Потом в белом мутном воздухе появились очертания красного шара, который становился все ярче и желтее по мере того, как туман редел и уносился рваными клочьями, оседая в стылых низинах и на затененных склонах крутых гор, и наконец золотое солнце и голубое небо ясного осеннего дня победоносно возвестили свой приход. Казанова забыл о своей миссии и о своих обидах, о своей любви, о себе, наслаждаясь свободой и чуть ли не желая, чтобы все радости жизни свелись для него к этому бесконечному путешествию, уносившему его все дальше и дальше от венецианской тюрьмы.

Но днем, когда карета замедлила ход, везя его мимо гор с теньями провалов и ослепительных, покрытых снегом вершин и полей, а воздух становился все холоднее, Казанова вернулся к реальностям жизни и впервые занялся изучением карт и инструкций, которые дотеле лежали у него в кармане. Однако обычно плодотворный мозг его не выдавал ничего — то ли от спячки, в какой он пребывал в тюрьме, или оттого, что Казанове была крайне неприятна его миссия, или просто из упрямства, ~~этого~~ Казанова понять не мог. Так или иначе, вместо того чтобы строить планы, как заманить донну Джульетту и передать ее в руки венецианской тайной полиции, Казанова снова сунул бумаги в карман и задремал, слегка вздрагивая от холода, пока не стемнело и почтальон не объявил, что они добрались до деревни, ближайшей на главной дороге к тому месту, где Каза-

нове предстояло найти донну Джульетту. И Казанова, выйдя из кареты, усталый, замерзший и одеревеневший, повел себя отнюдь не как добросовестный и очень старательный политический агент — он заказал себе лучшую комнату с лучшим камином, и лучший ужин, и лучшее вино, какие могла предоставить ему эта гостиница, великолепно поужинал, улегся в постель и заснул крепким сном.

Это была его первая ночь на свободе, ибо даже в карете, которая мчала его по тряской дороге в темноте, Казанова чувствовал власть Триумvirата, безмолвной и постоянной угрозой довлевшую над ним. Собственно, и наслаждаясь роскошествами, которых он был так долго лишен, Казанова ощущал эту угрозу, тем более что сама свобода, которой он снова с таким смаком вкусил, была обусловлена. Он должен оказать инквизиторам премерзкую услугу, чтобы завоевать ее, и, не зная он странного упорства в возмездии со стороны Венецианского государства, можно было бы подивиться, как его выпустили. Вполне возможно, решил он, это объяснялось желанием возместить ему заключение, позволить ему показать, что он лояльный гражданин, как он сам утверждал. Ну, а роскошествам он так предался потому, что они были для него символом вновь обретенного достоинства, ибо кто может быть более жалким, чем узник, чье каждое движение и каждая минута жизни регламентированы бессердечными правителями? Нечего в таком случае удивляться, что Казанова предался роскошествам, доказывавшим его свободу.

Однако возможность поваляться утром в постели не принадлежала к их числу. Слишком много раз по утрам он лежал холодной зимой в своей тюрьме на жалкой постели, пытаясь согреться, слишком много дней он провел там, удрученный, снедаемый тревогой, стараясь скрыть гениально придуманные, но отнюдь не совершенные орудия бегства. А потому, коль скоро в постели он задерживался по тюремной привычке, здесь он рано встал, велел, изголодавшись, побыстрее подать себе завтрак, шутил с горничными, расспрашивал конюших и конюхов. Осенний холод уже пришел в эти горные районы, а потому приятно было завтракать у пылающего огня, не спеша, предаваясь мечтам. Впрочем, это было менее приятно, чем он предполагал, ибо он знал, что каким-то образом должен добраться до деревни, где скрывается донна Джульетта, и — вот тут была главная

трудность — найти благовидный предлог, который объяснил бы его пребывание в маленькой захолустной харчевне, где пьют эль или вино и где хозяину наверняка заплатили, чтобы он никого не пускал.

Найти донну Джульетту было настоятельной необходимостью, но всякий раз, когда Казанова думал об этом, на него нападала странная апатия и инерция, как если бы вся его смекалка и умение строить хитроумные планы были исчерпаны побегом из тюрьмы. После завтрака, когда солнце пробилось сквозь туман и, как бы в знак раскаяния, принесло печальному осеннему миру в дар немного тепла, Казанова не спеша направился в деревню, прошел мимо церкви, винного погребка и кузницы и вышел за околицу на большую дорогу, которая вилась вверх, к снежным вершинам Альп. В стылом, пронизанном туманом воздухе печально звучали колокольчики коров, откуда-то издали донеслась стародавняя жалобная мелодия, которую кто-то играл на дудке. Чуть дальше Казанове попался стремительный альпийский ручей, и Казанова рассеянно покидал в него камешки.

Никаких идей у него это не породило; бесцельно побродив часа два, он медленно вернулся в деревню и, не зная, чем занять время и ум, постоял и понаблюдал за кузнецом, который снимал с лошади изношенные подковы, чтобы затем подрезать копыта и поставить новые. Вот тут Казанове пришла в голову одна мысль, и из унылого олуха он мгновенно превратился в деятельного человека, перед которым стоит определенная цель.

Он с легкостью завязал разговор с кузнецом и уговорил его продать по нелепо высокой цене пару крепких клещей, с помощью которых кузнец выдергивает гвозди из подков. Тщательно засунув клещи в карман, Казанова вернулся в гостиницу, заплатил за три дня вперед за комнату, а затем объявил, что ему нужно поразмяться и он хотел бы купить лошадь. Возвысившись было в глазах хозяина своей щедростью, Казанова тут же пал, ибо упорно желал купить весьма неказистое животное вместо действительно сильной лошади, которую предлагал ему хозяин. Но Казанове требовалась не отличная лошадь, а кое-что другое.

После обеда он прилег и поспал, а затем, к середине дня, отправился верхом за новыми покупками — не по главной дороге, а неподалеку от нее, — пока не потерял

из виду деревню. Тогда он тщательно изучил карту, пересек поле, обнаружил проселочную дорогу, проехал по ней мили две-три и, расспросив шедшего в поля работника, скорее догадался, чем понял, так как тот говорил на труднодоступном диалекте, что нашел нужное место. И действительно, за поворотом дороги почти сразу оказался описанный ему постоялый двор, но Казанова, не привлекая к себе внимания и даже не взглянув из любопытства на то место, где скрывалась донна Джульетта, поехал дальше. Ехал он так, пока не добрался до леска, где росли осины и ивы, а рядом протекал ручей.

Его дальнейшие поступки могли показаться безумными, ибо человек разумный и здравый так себя не ведет. Сначала Казанова швырнул наугад шляпу, затем выпачкал грязью плащ и бок лошади. Взяв купленные у кузнеца клещи, он умудрился — немало попотев и вызвав изрядное фыркание со стороны своей до сих пор покорной лошадки — снять подкову с ее передней ноги. Затем, поискав вокруг, нашел острый камень и, тщательно привязав лошадь, сделал несколько надразов ей на коленях — так, чтобы побольше вытекло крови и создалось впечатление, что лошадь упала. После чего столь же безжалостно поранил себе лоб и руку, как следует перепачкал белый платок в крови, перевязал им голову кровавой стороной наружу и подвязал себе левую руку.

В этом более чем плачевном состоянии Казанова в сопровождении лошади, усиленно хромавшей без подковы, явился на постоялый двор и попросил дать ему комнату.

— Сегодня мы не принимаем гостей — у нас полно, — угрюмо буркнул хозяин и захлопнул перед носом Казановы дверь.

Но от Казановы не так легко было отделаться. Немного выждав, он обошел дом и позади его обнаружил краснощекую деревенскую женщину, которая кормила гусей. К ее-то жалости он и воззвал с присущим ему патетическим красноречием.

— Я не для себя прошу, сударыня, — сказал он, любезно обращаясь к ней с таким почтением, какое она едва ли часто встречала, — а ради этого несчастного животного, которое упало, и по его милости я разбил себе башку и вывихнул руку, но это не так уж важно, а вот старина Джузеппе, боюсь, сломал оба колена. Да разве могу я заставить несчастное животное в таком

состоянии пройти еще шесть или семь миль? Упаси Боже. По вашему лицу я вижу, что вы женщина добрая и, ручаюсь, понимаете животных. Разрешите мне оставить его здесь хотя бы до завтра...

И произнеся это, Казанова положил ей в руку золотой. Женщина помедлила, посмотрела на него с нерешительной улыбкой, а потом сказала:

— Конюшня — вон там.

Пройдя в том направлении, какое указал ее палец, Казанова положил лошади подстилку и задал ей корм, старательно подражая тем, кто делает вид, будто любит лошадиное естество больше своего собственного, а затем вышел на маленький дворик. Наступили сумерки, и женщина стояла в дверях кухни.

— Вот и чудесно, — сказал Казанова, потирая руки, — теперь, когда мы накормили и укрыли самое для меня важное — лошадь, как насчет несчастного наездника? Вот чума! Я такой голодный, а вы, уверен, отличная кулинарка.

— Муж сказал, чтоб никого не принимать, пока она не уедет, — сказала женщина, покачав головой, и в испуге посмотрела на Казанову — так смотрит человек, выдавший тайну.

— Ах! Но я уверен, что последнее слово в большинстве случаев остается за его женой, — возразил Казанова и многозначительно подмигнул. — Не оставите же вы меня лежать под звездами, точно язычника, когда и я и вы — мы оба с вами христиане? — уже другим тоном продолжал он. — Все, о чем я прошу, — это поделиться со мной вашим собственным ужином и дать сухое местечко, где бы я мог лечь. Это вам... — И он положил ей в руку еще один золотой. — А вы не можете отправить вашего славного муженька купить что-нибудь и провести меня потихоньку в дом? В вашем кармашке завтра окажется еще один цехин, а муж никогда об этом не узнает.

Золото и лесть Казановы сделали свое дело, и добрая женщина начала думать: стыдно все-таки такого красивого, такого разговорчивого, такого уважительного мужчину — уж наверняка большого синьора, судя по тому, как он говорит и какой он щедрый, — оставлять на холоде только потому, что ее мужу вздумалось угодить этой выдре, что занимает две передние комнаты...

И вот получасом позже Казанова, укрывшись в тени, отбрасываемой конюшной, услышал — скорее, чем уви-

дел, — как супруг, громко ругаясь, отправился куда-то по дороге, а через две минуты Казанова был уже в доме, где его провели в маленькую, но чистенькую комнату — снова под крышей как в тюрьме, не без мрачного юмора подумал Казанова, заметив выступающий над окном скат.

— Я буду сидеть тихо, как мышь, — пообещал он. — И не пошевелюсь до утра. Да благословит вас Бог!

Женщина простояла еще с минуту, шепотом наставляя его соблюдать тишину и тайну, и, хоть она и была такая некрасивая, не будь у Казановы спешного дела, он расцеловал бы ее. Но долг есть долг, и он дал ей уйти.

А теперь что?

Казанова импровизировал — один шаг, затем следующий. Главное было попасть в дом. Теперь, когда эта цель достигнута, следующий шаг — отыскать донну Джульетту. Она, вполне возможно, вышла. А возможно, она не одна. Скорее всего велит ему уйти и позовет на помощь... Но надо рискнуть. Если он сумеет отыскать ее до того, как вернется мрачный хозяин, Казанове придется пустить в ход все свое обаяние, чтобы она не только разрешила ему остаться, но и нашла оправдание его пребыванию тут.

Он задул плавающий фитиль, который женщина дала ему, чтобы он мог раздеться и лечь в постель, предупредив, что через четверть часа надо задуть огонь, потому как может вернуться муж. Полагая, что она немного укоротила срок, Казанова решил, что имеет в своем распоряжении от двадцати минут до получаса, и медленно и бесшумно стал на ощупь спускаться по темной узкой лестнице. Так он добрался до площадки, откуда ступени вели на первый этаж, а вправо и влево шел коридор, куда явно выходили четыре или пять комнат постоянного двора. Казанова внимательно прислушался и ничего не услышал. Он осторожно пошел по коридору вправо, бормоча ругательства, когда под ногой скрипела доска, и прислушиваясь у каждой двери. Ничего.

Тогда он вернулся на площадку и стал обследовать другой коридор. И почти тотчас сердце его заколотилось, и он чуть не прицелкнул пальцами от удовольствия: из-под двери виднелась тоненькая, как иголка, но яркая полоска света — толстая циновка позволяла увидеть ее, лишь если стоишь рядом. Та самая комната! И раз есть свет, значит, донна Джульетта там. Положив руку на старинную щеколду, которая в этом допотопном доме

заменяла ручку, Казанова стоял, затаив дыхание, и слушал. Глаза его сверкнули, когда гнетущую тишину нарушил треск падающего полена, потом тихий шорох юбок и позвякивание железных щипцов — кто-то стал подправлять огонь.

Казанова не двинулся, прижав ухо к двери, пока все звуки, связанные с огнем и с шуршанием платья, не прекратились и снова не воцарилась тишина, казалось, возвестившая, что донна Джульетта вернулась в свое кресло. Казанова сосчитал до десяти, глубоко перевел дух, потом легонько постучал в дверь и, не дожидаясь отклика, смело открыл ее и вошел. Женщина, сидевшая возле лампы, произнесла:

— Это что еще такое... — Затем подняла взгляд, увидела его и побелела. — Джакомо! — воскликнула она. — Ты?! Как же ты... — И потом: — Что случилось?

Ибо он стоял, застыв, уставясь на нее, и лишь все больше и больше бледнел, тщетно пытаясь что-то сказать; наконец странно безжизненным тоном он произнес:

— Анриетта.

5

Вот вам доказательство — если оно требуется кому-то, — что тюрьма плохо влияет на человека. Она может чрезвычайно обострить ум для решения какой-то одной или двух непосредственно стоящих задач, но вообще притупляет, а главное — затуманивает чутье. Разве Казанова, с презрением называвший солдат головорезами, не унизил себя, согласившись стать полицейским шпионом? Не будь Казанова сломлен полтора годами тюрьмы, проведенными по большей части в одиночном заключении, он никогда бы не согласился предать в безжалостные руки венецианских правителей любую женщину, а тем более ту, которая чуть не стала его любовницей. Его падение особенно проявилось в хитроумной затее, с помощью которой он проник на постоянный двор, тогда как прибавь он один-два цехина — и ему скорее всего был бы открыт туда доступ и не надо было бы расковырять лошадь, которая теперь в случае необходимости уже не способна была ему служить...

Однако ничто не указывало так ясно на состояние его ума, покалеченного тюрьмой, как то, что, обнаружив

именно эту женщину на маленьком захолустном постоялом дворе, он выказал лишь возмущенное изумление. Мозг его забился о стены возникшей перед ним проблемы, как испуганная птица, которая, залетев в комнату через открытое окно, не в состоянии теперь отличить отверстие от прозрачного, но прочного стекла. И подобно тому, как встреча с инквизитором в ту минуту, когда Казанова уже считал себя свободным, вызвала у него шок и он потерял сознание, так и эта новая и по-своему не менее удручающая встреча вызвала у него головокружение. Неожиданное появление женщины, которую он больше всего хотел увидеть и меньше всего ожидал встретить здесь, пробудило в нем бурю чувств и лишило последнего ума.

Однако сердце бывает порою — только порою — лучшим советчиком, чем мозг. Взволнованный вопрос Анриетты: «Что случилось?» означал, помимо всего прочего: «У тебя такой расстроенный вид, и ты так бледен — ты сейчас не упадешь в обморок?» Но вместо ответа, не давая своему обычно активному и изобретательному уму времени что-то придумать, Казанова поступил так, как поступил бы любой обычный влюбленный, у которого от волнения сковало язык: он быстро шагнул к Анриетте, обнял ее и поцеловал. И она, вольно или невольно поддавшись этому знакомому объятию, тем самым признала, что по-прежнему любит его. Этим слиянием губ двое виноватых друг перед другом, но страдающих влюбленных оплатили огромный долг, накопившийся за полтора года неведения и горя, — мгновенное забытие и восторг поцелуя перечеркнули время и разлуку, словно ее и не было.

Анриетта прикрыла глаза, чтобы полнее насладиться минутой, и хотя она была, пожалуй, больше взволнована, чем он, именно она вернулась из хрупкого рая любви к жестким фактам реального мира. Она так быстро высвободилась из его объятий, оттолкнувшись от его груди ладонями, что он не успел даже попытаться ее задержать.

— Я считала, что ты все еще в тюрьме! — воскликнула она, и в глазах ее был страх. — Как тебе удалось бежать? И как, как, как ты узнал, что я здесь?

— Я этого не знал, — медленно произнес Казанова, постепенно прозревая весь смысл происходящего, — так заря, появившаяся из-за горизонта, освещает пустыню. — Но вопрос скорее стоит так: почему ты здесь?

— Собственно,— мужественно парировала она, хотя в глазах усилился страх,— вопрос этот можно задать и тебе: почему *ты* здесь?

— Почему? — повторил Казанова, по-прежнему медленно, ибо все грани этой ситуации лишь постепенно открывались ему.— Мне, пожалуй, стоит рассказать тебе немного о себе, и тогда... тогда ты сможешь немного просветить меня на свой счет.

Он с минуту смотрел на нее с изумлением и возродившимся желанием, к которому примешивалось чувство страшной неловкости. Ни один из них не подумал сесть — оба стояли друг против друга в свете и тенях, отбрасываемых двумя мирно горевшими свечами, которые казались такими чинными в сравнении с бурей, бушевавшей в их сердцах и душах.

— Я действительно бежал из тюрьмы,— с трудом произнес Казанова, облизывая пересохшие губы, в то время как Анриетта, нервно сжимая и разжимая руки, смотрела на него расширенными зрачками.— Мы с Марко сделали подкоп, вышли в канцелярию дожа и оттуда выбрались на площадь, а там обнаружили, что нас одурачили — все это время за нами следили, и нас тотчас арестовали...

— Ах! — Анриетте сразу стало его жаль.— И это после всех усилий и такого мужества!

Казанова передернул плечами и продолжал с невольным сарказмом:

— Возможно, нас не следует так уж жалеть. Через два-три дня... или больше? Возможно, через шесть дней я научился забывать в тюрьме о времени... Так или иначе, меня выпустили...

— Выпустили?! — Удивление, исчезнувшее было из ее глаз, вернулось.

Он медленно кивнул, внимательно глядя на нее, но не сказал ничего.

— Выпустили? — с недоумением повторила она.— Но почему? Каким образом?

Он нагнулся к ней, и кипевшие в нем чувства растянули его губы в улыбке, похожей на оскал, — он показался ей самым Сатаной, и она невольно отшатнулась — не только при виде его лица, но и от его слов, прозвучавших для нее страшной пощечиной.

— Меня выпустили,— медленно произнес он,— меня выпустили и послали сюда — в это местечко, в эту гостиницу, в эту комнату, чтобы я вывез отсюда женщину, которая, по их словам, является австрийской шпионкой!

Вот теперь, когда все было сказано, Казанова почувствовал облегчение. Удивило же его и отнюдь не огорчило то, что ему было безразлично, действительно ли Анриетта является шпионкой, как он грубо ее назвал. Это открытие, понял он, было важнее всего остального и показывало, что он любит ее, а она — его. Анриетта, естественно, понятия не имела об этой внезапной перемене в его чувствах и восприняла его слова как изобличение. Она покраснела.

— Значит, ты готов был купить себе свободу ценой того, чтобы подвергнуть пыткам и лишиться жизни женщину?

Вот сейчас Казанова до конца осознал, насколько — мягко говоря — некрасиво выглядит его поступок в глазах мира, особенно женской его половины, которая для Казановы составляла больше половины прелестей этого мира. И подобно большинству людей, когда им вдруг напоминают, что они менее идеальны, чем изображают себя, Казанова нашел прибежище в гневе. Однако он не успел и слова вымолвить, как глубокую тишину нарушил отдаленный цокот копыт — лошади мчались в их направлении.

— Ой! — вскрикнула Анриетта, побледнев и в отчаянии всплеснула руками. — Если он обнаружит тебя здесь, мы оба погибли!

— Кто?

— Фон Шаумбург.

— Так вот с кем ты здесь тайно встречаешься — и притом ночью — у себя в спальне! — ревниво воскликнул Казанова.

— Ты просто идиот! — Анриетта топнула ногой в досаде на его дурацкий эгоизм. — Да неужели у тебя не хватает ума понять, что он вовсе не мой любовник, никогда им не был и никогда не будет? Неужели ты не можешь себе уяснить, что я все это время работала с ним — занималась этими проклятыми фортами?..

Присущий Казанове здравый смысл прочистил ему мозги, прогнав бредни.

— Он будет обыскивать комнату? — поспешно спросил Казанова, услышав, что цокот копыт на улице внезапно прекратился.

— Нет. А что?

— Спрячь меня в этом шкафу, если барон — не твой любовник.

— Но хозяйева гостиницы скажут ему, — простонала она, ломая руки, — он им платит...

— Хозяин ничего не знает,— возразил Казанова,— а хозяйке плачу я. Она будет молчать ради собственной шкуры. Так что быстро, быстро! Я слышу его шаги.

К Анриетте вернулись мужество и способность действовать — она втокнула Казанову в большой стеновой шкаф, который был некогда альковым, затем, сразу все вспомнив, прокралась к столу и села, так что, когда фон Шаумбург постучал и она тихонько откликнулась, приглашая его войти, стоявшие на столе две свечи горели совершенно ровным пламенем. Глаза фон Шаумбурга, неизлечимо настроженные от долгой привычки, тотчас это отметили. К счастью для Анриетты и Казановы, дверь шкафа, оставленная чуть приоткрытой для воздуха, была полностью в тени и казалась продолжением стены, иначе этот самый осмотрительный из дипломатов-лисиц обследовал бы и шкаф, как возможную западню...

Лишь только барон вошел, Анриетта поднялась и присела в реверансе. Он взял ее руку и формально, вежливо поцеловал, затем придвинул к себе стул и сел напротив нее.

— Что вы тут изучаете? — спросил он, указывая на лежавший на столе документ.

Вместо ответа она протянула ему бумагу.

— Шифровка? — спросил он, выжидающе подняв брови, и, просмотрев несколько строчек, добавил разочарованно и осуждающе:— Но это всего лишь отчет о различных ваших поездках по нашим поручениям. Вы считаете разумным хранить его — даже в зашифрованном виде? Зачем вам это, собственно, нужно?

— Это служит мне напоминанием,— спокойно ответила Анриетта,— о том, сколь мало у меня вначале просили и сколь много я фактически сделала, а с другой стороны, сколь много мне вначале обещали и сколь мало я получила — вернее, просто ничего...

Барон нахмурился, но продолжал держаться вежливо.

— А нам обязательно сейчас в это вдаваться? Время не терпит...

— Я хочу вам напомнить,— сказала Анриетта, у которой были свои основания заставить его говорить, чтобы Казанова услышал то, чего он не знал и чему в большей мере поверит, если это будет исходить из уст фон Шаумбурга, чем самой Анриетты.— Когда ко мне обратился ваш эмиссар — тому теперь уже три года,— он сообщил мне некоторые, так сказать, факты и сделал определенные предложения...

— Да, но... — попытался прервать ее фон Шаумбург.

— Я была сиротой и мало что понимала, — упорно продолжала Анриетта, — и я обожала маму и чтла ее память. Я не хотела ни денег, ни поместий, хотя мне это было обещано. Но мне было также обещано нечто более для меня дорогое: что в дополнение ко всему я получу неоценимую возможность быть представленной ко двору, как дочь своей матери, а это будет означать отмену решения об изгнании и лишении ее и ее потомков всех титулов. Я не настолько глупа, чтобы отрицать, что меня вовсе не порадует возвращение владений и положения при дворе, на которые я имею все права, но именно желание добиться полного восстановления в правах, учитывая, как сильно была уязвлена гордость моей матушки, и побудило меня пойти на это... на эту службу, назовем это так.

— Ну и? — воспользовавшись паузой, произнес не слишком вежливо фон Шаумбург.

— Ну и, — продолжала Анриетта, — мне было сказано: достаточно для этого выполнить одну опасную миссию — о, признаю, вы не скрыли, что миссия опасная. Это должно было занять две-три недели. С тех пор я выполнила десятки и десятки миссий, мне поручают все новые и новые, и я ничуть не приблизилась к награде, которая — разрешите вам напомнить — была мне обещана под честное благородное слово.

— Вы что же, отрицаете, что вам хорошо платили все эти годы? — спросил он, насупясь.

— Платили — да, — возразила она, — как платят тайному агенту, который за деньги идет на риск. Но так не награждают даму, которая выполняет опасную миссию ради великой императрицы. Я служила больше ради того, чтобы восстановить свое доброе имя, чем ради...

— Я вам вот что скажу, — прервал он ее со свойственной немцам бесцеремонностью. — Хотя вы, безусловно, работали внешне лояльно и...

— Внешне! — высокомерно в свою очередь прервала его Анриетта.

— Ну, ну, прошу меня извинить, — неуклюже стал оправдываться он, — скажем: лояльно и энергично, тем не менее, к несчастью, факт остается фактом, что крепости по-прежнему находятся в руках Венеции, а не в наших.

— А разве в том моя вина? — живо прервала его Анриетта. — Не объясняется ли это непродуманностью

ваших планов? Можете ли вы хоть в малейшей степени возложить вину на *меня*?

— Что ж, да, по-моему, могу, — спокойно, но грубовато произнес он. — Это подводит меня ко второму пункту нашего разговора и одновременно возлагает всю вину на вас.

— То есть как это?

— А, в частности, так, что императрица, — сказал он, — едва ли станет принимать любовницу венецианского авантюриста.

— О-о! — Анриетта съежилась от оскорбления и прямого указания на того, кого она меньше всего хотела бы обсуждать.

— Зачем вам понадобилось примешивать его? — спросила она, хотя могла бы и не спрашивать.

— Затем, — решил до конца использовать свое преимущество фон Шаумбург, — что наши планы с того момента, как у вас началась с ним связь, пошли вкривь и вкось. Откуда мы знаем, что он не принадлежит к несметному полчищу мерзавцев, работающих на венецианскую тайную полицию?

— Лучшим ответом на это является то, что они арестовали его полтора года назад и с тех пор держат в тюрьме...

— Не знаю, — медленно и задумчиво произнес фон Шаумбург, — не знаю. Во всяком случае эти венецианские мерзавцы ничуть не постесняются применить насилие и даже засадить в тюрьму самого преданного своего слугу, если это служит их цели.

— Так ли уж они отличаются в этом от других правителей? — с ехидством спросила Анриетта таким сладким тоном, что Казанова молча ухмыльнулся в своем укрытии.

Фон Шаумбург что-то пробормотал и подозрительно спросил:

— Венецианцы пустили слух, что он бежал два-три дня тому назад. Вы не видели его и никаких вестей от него не имеете?

Анриетта передернула плечами.

— Вы думаете, я сидела бы здесь, если бы имела?

— Значит, вы до сих пор его любите?

— А почему бы и нет? Разве моя личная жизнь не принадлежит мне?

— Безусловно, но императрица, — не без издевки добавил он, — едва ли станет награждать людей за их личную жизнь. Однако, между нами, я склонен считать

сообщение венецианских властей фальшивым, и распространяют они его по привычке вечно плести всякие мерзкие и слабоумные интриги. Человека этого нигде не видели. В этом я могу почти поклясться, так как мои агенты начеку. Сказать по правде, я даже считался с возможностью застать его здесь и предосторожности ради прихватил с собой небольшой отряд.

— Вы что же, ожидали, что я выдам вам его?

— Ну, что вы! — Фон Шаумбург даже снисходительно рассмеялся. — Но если бы он бежал из тюрьмы, я бы уж как-нибудь его нашел. Я склонен считать его человеком опасным: он ведь может выудить секреты у одного из моих самых ценных... сотрудников.

Анриетта пожалала плечами, но и не попыталась опровергнуть его домыслы.

— Все это ничего не меняет в том, что вы не сдержали слова, данного мне, — твердо заявила она. — Почему же вы не сказали мне, что из-за моих отношений с Казановой императрица не станет меня принимать?

— Да разве здравый смысл не подсказал вам этого? — возразил он. — Но я приехал не для того, чтобы препираться с вами, фройлейн. — Я привез два документа, один из которых оставлю вам...

И достав из кармана объемистый конверт, он протянул ей, — она бросила взгляд на конверт.

— Шифровка с новыми инструкциями! — с отвращением заметила она. — И о чем же они?

— Ничего нового или опасного, — стремясь ее утихомирить, сказал он. — Просто короткие визиты в Дзару, Триест и, очевидно, в Каттаро...

— Вы шутите! — резко воскликнула она. — Меня же видели в каждом из этих городов...

— Ах, но на сей раз вы поедете в военной форме и со спутником — мы дадим вам кого-нибудь поумнее.

— И вы серьезно думаете, что я по-прежнему могу сойти за мужчину? — спросила она.

Он окинул взглядом ее фигуру, которая по-женски округлилась, с тех пор как Казанова застал тоненькую девушку в постели на тосканской границе.

— Что ж, придется рискнуть, — сказал он. — На сей раз мы непременно преуспеем, и взгляните сюда...

Он издали показал ей документ, написанный по-латыни, но в руки не дал.

— Нет, нет, пока еще нет, — сказал он. — Это юридический акт, согласно которому вся собственность,

которой ваша покойная матушка владела в пределах Австрийской империи, переходит к ее единственному дитя — Анриетте. Вы восстановлены в правах подданной Австрийской империи, как я вам уже намекал, но приняты ко двору быть не можете...

— Ну, а если... — Анриетта покраснела, зная, что Казанова слушает, — ... если... наступит такой день, когда... когда Казанову выпустят... и мы поженемся?..

— Я забыл сказать, — заметил барон вставая, — что есть одно условие. И состоит оно в том, что вы утрачиваете все права на указанную собственность, если выйдете замуж, или станете жить, или как-либо иначе соединитесь с вышеупомянутым Джакомо Казановой. Это условие вставлено по специальному указанию Ее Императорского Величества.

— А теперь предположим, — сказала Анриетта, поднимаясь и встав перед ним, — предположим, что я швырну вам обратно ваши тайные инструкции и презрею ваши документы и условия?!

— Ну, в таком случае, — холодно произнес барон, — вы немедленно попадаете в наш список лиц, которым надлежит таинственно исчезнуть. Я на вашем месте не стал бы это делать, право, не стал бы.

Наступила долгая пауза — они в упор смотрели друг на друга. Затем Анриетта взяла конверт с инструкциями и сунула его за корсаж.

— Отлично, — с довольным видом сказал барон, — мы понимаем друг друга. Так что не будьте глупышкой. Выполните наши инструкции, и даю вам честное благородное слово, что владения станут вашими. Более того: мы найдем вам мужа — порядочного немца, который за хорошее приданое закроет глаза на вашу небольшую погрешность. И кто знает? Может быть, при следующем пражлении вы и будете приняты ко двору.

Она по-прежнему не нашлась, что сказать в ответ на эту серию благожелательных оскорблений — лишь стояла потупясь. Барон взял ее руку и уже собрался поцеловать на прощание, как вдруг что-то вспомнил.

— Вам следовало мне напомнить, — оживившись, произнес он, — я чуть не забыл дать вам денег. Вот. — И вытащив три мешочка с деньгами, он положил их на стол. — В каждом из них по двести золотых цехинов — вполне достаточно, чтобы вы могли покрыть свои расходы, приобрести себе костюм для любого обличья и подкупить тех, кто указан в ваших инструкциях.

А теперь — adieu *. — Он небрежно поднес ее безвольную руку к губам.

— До свидания, — сказала она.

— И примите мой совет: забудьте, что человек по имени Казанова вообще существовал, — сказал он, направляясь к двери. — Из Триеста — этот город, как вы выясните, надо посетить последним — как можно быстрее возвращайтесь на австрийскую территорию и сразу же свяжитесь со мной...

И он ушел — пламя свечей заколебалось от ветерка, прошедшего по комнате от резко захлопнутой двери. Анриетта опустилась в кресло у стола и уставилась в пространство перед собой, со странной сосредоточенностью вслушиваясь в звук удаляющихся шагов фон Шаумбурга. Она услышала — а Казанова в своем шкафу менее отчетливо, — как барон соблаговолил обменяться несколькими звонкими гортанными возгласами с хозяйками, и те ответили высокому гостю велеречиво и подобострастно. Затем наружная дверь хлопнула и наступила тишина.

— Сиди там, где ты есть! — шепотом скомандовала Анриетта, услышав, что Казанова зашевелился. — Сиди совсем тихо, пока я не скажу.

Она произнесла это, не вставая из-за стола и делая вид, будто читает инструкции, которые она достала из лифа. Со двора донесся резкий свист, за ним последовало несколько менее резких — с разного расстояния и с небольшими интервалами, затем топот коней, снова пауза, во время которой они услышали голос фон Шаумбурга, но не слышали, что он сказал, затем постепенно замирающий топот коней и, наконец, полная тишина.

— Вот теперь можешь выходить, — сказала Анриетта и поднялась было ему навстречу, но тут же в нерешительности остановилась, свесив по бокам руки, опустив голову и ресницы, чтобы не видно было глаз.

6

Такой момент бывает в жизни мужчины только однажды: у Казановы была возможность поступить просто — и по его меркам даже благородно — и тем самым

* Прощайте (фр.).

навек закрепить свою власть над Анриеттой. Он должен был всего лишь повториться — воспроизвести свой пылкий поцелуй при входе в комнату, поцелуй, который сказал бы Анриетте: «Не обращай внимания на все это или на кого-либо из них — ты моя, а я твой», — и вопрос был бы решен. Ибо Анриетта была ведь Женщиной и в эту минуту прежде всего нуждалась в этом слабом утешении Женщины — Мужчине. Разве она не сыграла свою роль с готовностью и умением, достойными аплодисментов единственного на свете зрителя, чье мнение было ей важно? Спрятав своего возлюбленного, она спасла его от верной смерти, которой ему бы не избежать, будь он обнаружен; она доказала возлюбленному, что мужчина, с которым она беседовала наедине и который мог воспользоваться ее беспомощностью, не был и никогда не мог быть ее любовником, как утверждал в приступе ревности Казанова. Она сделала больше того: вынудила Шаумбурга частично рассказать и полностью подтвердить ее версию — рассказ этот показывал, пожалуй, что она была обманута, Казанову же она обманывала лишь там, где это было абсолютно необходимо для безопасности обоих, — да, она безусловно была врагом его страны — Венеции, но была лояльна по отношению к нему.

К несчастью, Казанова на время перестал прислушиваться к тому, что подсказывало ему сердце, а отупевший в тюрьме разум тщетно пытался вновь обрести прежнюю гибкость и, осмыслив, решить возникшую проблему. Ему не нужна была просто женщина — ему нужна была женщина, над которой он одержал бы победу в состязании умов. Вместо того чтобы подойти к Анриетте и заключить ее в объятия, он знаком указал ей на кресло, в котором раньше сидел фон Шаумбург, а сам сел на ее место.

Он понял — или решил, что понял, — теперь все, и воздадим ему должное: почувствовал в известной мере жалость и нежность к одинокой молодой женщине, которую побудили высокие и одновременно общечеловеческие стремления — ибо такого рода натуру легко побудить подобными стремлениями — взять на себя опасную и постыдную, до конца не понятую ею миссию. Раз взявшись, она уже не могла отступить безопасно и с честью для себя, а высоконравственные правители использовали ее и обманывали, идя на такие низости, до каких редко доходит самый гнусный человек. И она не

лгала Казанове — разве что можно назвать ложью, когда человек утаивает существенную часть правды. Возможно, она и хотела ему все рассказать,— но в какой момент их краткой и беспокойной совместной жизни могла она доверить ему столь важную тайну? Безусловно, не до встречи во Флоренции; во Флоренции же Казанова очень скоро дал ей повод разувериться в нем и отойти от него, а после Флоренции он едва вышел из своего рода испытательного срока, как был арестован...

Анриетта смотрела на Казанову с любовью, стремившейся победить разочарование, а он сидел и размышлял, упершись невидящим взглядом в стол,— слово «арест» поставило перед ним новую проблему или группу проблем. Обязан ли он все-таки своим арестом донне Джульетте? А не могли его арестовать, потому что... да и какая может быть иная причина, кроме той, что он был с Анриеттой, а инквизиторы знали, за что она взялась? Не спасло ли Анриетту от действительно жутких ужасов тюрьмы и комнаты пыток то, что он невольно сам шагнул в расставленную полицией ловушку и она преждевременно захлопнулась? И не по горькой ли иронии судьбы, к которой так обожал прибегать инквизиторский ум, его лояльность к родине подверглась такой проверке, что именно его послали обольщать собственную любовницу и попутно сделать открытие, что она — тайный агент, участвующий в заговоре, который должен нанести роковой удар высокочтимой Венецианской республике?

— Ну-с,— громко произнес Казанова, заерзав в кресле и подняв от стола взгляд, но не глядя Анриетте в глаза,— что же мы теперь будем делать?

— Да,— унылым бесцветным голосом с горечью отзывалась она,— и вправду, что же мы теперь будем делать?

Казанова перестал отчаянно сражаться с самим собой и впервые с тех пор, как вышел из своего тайника, по-настоящему посмотрел на Анриетту — и увидел, как она хороша. У него так и вертелось на кончике языка: «Пойдем в постель!», что — при всей бесцеремонности и грубоватости подобного предложения — было бы несомненно лучше невольно вырвавшегося у него:

— А нам неминуемо грозит опасность?

Вопрос этот объяснялся, пожалуй, не трусостью, как могло показаться, ибо он вырвался у Казановы случайно,— просто под влиянием внезапно вспыхнувшего

желания Казанова потерял душевное равновесие и выразил мысль, которая, естественно, мелькала в уме у обоих. Но откуда было Анриетте это знать? Слегка отодвинувшись от него, она сказала:

— Как я могу на это ответить? Все зависит от того, что ты подразумеваешь под опасностью и что ты намерен предпринять...

Казанова понял, какая горькая мысль засела в ее мозгу — «Он может спастись, если отдаст меня в руки венецианцев», — а поняв, был ошеломлен. Что он такого сказал или сделал, чтобы она могла столь мерзко думать о нем? Повинуясь порыву — наконец-то он поступал как надо! — он перегнулся через узкий столик и сжал ее руку.

— Как же тебя покалечила жизнь! — с нежностью произнес он и с сожалением добавил: — И какой же я, должно быть, дал тебе повод не доверять мне — подлец я и дурак!

Она пожала плечами и отняла у него руку, не желая слишком скоро смягчаться.

— Нет нужды осуждать себя за то, что ты такой, каким тебя сотворил Господь, — сказала она по-прежнему не без горечи, но уже мягче. — Я сама могу позаботиться о себе — во всяком случае, должна. Ты же не можешь не считаться с долгом перед своей родиной и с тем, что дал определенное обещание в обмен на свободу.

Теперь Казанова в свою очередь пожал плечами.

— Прекрасно, прекрасно! — с сарказмом произнес он. — Значит, мы должны погубить себя, чтобы — видите ли — сдержать слово, данное тиранам и бандитам. Ей-богу, Анриетта, ты выводишь меня из себя. Да неужели ты считаешь, что человек может быть связан обещанием, которое его вынудили дать? Или же что человек обязан быть лояльным по отношению к государству, которое причуды ради посадило его за решетку?

— Некоторые считают, что да.

— Значит, они круглые дураки, — решительно заявил Казанова. — Я никогда не принадлежал к тем, кто похвально слепой преданностью этой абстракции — суверенному государству, рядящемуся в костюм Провидения. Меня вполне устраивало оставить его в покое, пока оно оставляло меня в покое, но когда Провидение решило мило развлечься и бросить меня в тюрьму и предоставить мне там гнить, ибо ему не нравится цвет моих глаз... Да если я скажу тебе, Анриетта, что твой мизинчик бесконеч-

но дороже мне, чем все политические институты Венеции, включая ее владения за пределами Адриатики, это будет самым слабым, но самым искренним комплиментом!

Это был куда лучший способ завоевать женщину, чем упущенные поцелуй и презренный страх грозящей опасности. Анриетта наконец улыбнулась.

— Ты слишком прямолинеен, — сказала она, — и, пожалуй, немного несправедлив. Ты же все-таки сожительствоваешь — это слово они употребляют? — с опасной иностранной шпионкой.

— Они такие остолопы, что я не уверен, знали ли они это! — воскликнул он. — В любом случае это не имеет значения!

— Ты в самом деле так считаешь? — многозначительно спросила она. — Для тебя правда не имеет значения, что я — каковы бы ни были мои мотивы и под влиянием какого принуждения я бы ни действовала — в самом деле старалась выкрасть у Венеции эти крепости и передать их Австрии?

— Если венецианцы столь низко пали или настолько глупы, что их можно подкупить и выманить из бастионов, составляющих их собственную силу, пусть теряют эти бастионы — много они не заслуживают, — нетерпеливо ответил он. — Да разве могли венецианцы любой другой эпохи быть повинны в таком?.. Но зачем мы теряем время на эти академические вопросы? Нам надо думать о собственной жизни. Я бы предпочел, чтобы ты никогда не имела ничего общего с этой грязной интригой... но ты была пешкой, девушкой, на чьих благородных чувствах решили сыграть. Так или иначе, теперь все это позади.

— Разве можно что-то изменить? — Она отказывалась ухватиться за надежду, которую он ей давал, хотя сердце у нее и подпрыгнуло от радости, ибо она понимала, что он имеет в виду. — Эти инструкции, что лежат на столе под твоей рукой, говорят о другом. Мне следует изучить их сейчас, чтобы уже завтра приступить к исполнению.

— Пф! — Лицо Казановы искажилось отвращением. — Ты хочешь сказать, что намерена?.. Но ты же это несерьезно. Так или иначе, я этого не допущу.

— Как же ты меня остановишь?

— Очень просто, — сказал он, уже не сдерживаясь, но и не пережимая. — Я буду держать тебя в объятиях до тех пор, пока ты не пообещаешь уехать со мной — и уже на сей раз без расставаний.

Анриетта невольно улыбнулась.

— Чему ты смеешься? — поспешил спросить он. — Что тут такого забавного?

— Не просишь ли ты меня пожертвовать ради тебя слишком уж многим? — заметила она, а глаза говорили, что вопрос задан не всерьез.

— Ничуть! — Он сделал вид, что отнесся к ее вопросу не легковесно, а воспринял его *au pied de la lettre* *. — Даже если тебе и вернут твои владения, в чем я сомневаюсь, ты навеки останешься их рабой...

— Ты забываешь об огромной привилегии быть представленной ко двору... преемника Ее Величества... и о еще большей привилегии — ты об этом ведь слышал? — быть выданной «за порядочного немца, который за хорошее приданое закроет глаза на небольшую погрешность»!

— Будь он проклят за такую наглость! — сказал Казанова, не в силах удержаться от смеха, хотя это и возмутило его.

— А кроме того, — Анриетта вновь обрела серьезность, — если мы, как ты предлагаешь, уедем вместе, не станем ли мы предателями?

— Что?! За то, что мы отказываемся заниматься грязным шпионажем для них? В любом случае разве наша верность друг другу не важнее нашей верности Их Превосходительствам и Ее Величеству? Анриетта, мужчины и женщины любили друг друга и держались вместе с сотворения мира, и так будет, пока архангел Гавриил не протрубит в свой почтовый рожок или во что-то там еще. Через тысячу лет Венецианской республики и Священной Римской империи, возможно, уже и не будет, а влюбленные... и дети... будут по-прежнему. Почему я говорю — через тысячу лет? Венецианская республика и Римская империя, возможно, и века не продержатся.

— О-о! — Анриетта, будучи консервативной, как все женщины, была потрясена даже мыслью о подобных катаклизмических переменах. — Но Венеция просуществовала почти тысячу лет, а Австрия — величайшая в мире военная держава!

— Я этого не оспариваю, — не отступал Казанова, — но могу держать пари: человеческая природа переживет обеих...

— Ну, я тоже не стану это оспаривать, — сказала Анриетта, — но не теряем ли мы бесценное время,

* Буквально (фр.).

Джакомо... для меня не менее ценное, чем капли крови! Предположим, я уступлю тебе и стану целиком твоей, и соглашусь уехать с тобой — на сей раз уже без расставаний, — ты что же, забыл, какие опасности грозят нам со стороны двух правительств, которых ты так легко уничтожил в мифическом будущем? И куда мы поедем? Где мы будем жить? На что будем жить? А главное — где и как нам спастись от возмездия со стороны правителей, которых мы оскорбим своим дезертирством?

Это была отрезвляющая мысль или мысли, и Казанове пришлось вернуться в реальность настоящего.

— Ты права, — сказал он. — Мессер гранде грозил мне именно такой карой, если я изменю и не выполню своей миссии. Мы должны быть очень осторожны. Рука у Венеции длинная.

— Хм! — презрительно хмыкнула Анриетта. — И в половину не такая длинная и в десять раз менее могущественная, чем рука Австрии, — вот чего мы должны больше всего опасаться.

— Ну, не будем об этом спорить, — сказал Казанова, пораженный ее убежденностью и оскорбленный в своем местническом патриотизме при мысли, что какая-либо держава может иметь более могущественную и мстительную тайную полицию, чем Венеция. — Вот что я предлагаю. Сегодняшнюю ночь проведем здесь, а завтра переберемся в мою гостиницу — она милях в семи или восьми отсюда. У меня там очень славная комната, записанная за мной и оплаченная до четверга, и люди там учтивые. Мы проведем там два-три дня, а потом решим, куда ехать, хотя я лично предложил бы Париж. Мы могли бы сесть на корабль в Генуе и доехать до Марселя...

— Ты это серьезно? — недоверчиво спросила она.

— То есть? — переспросил Казанова, глядя на нее в упор. — Конечно, серьезно. А что плохого в таком плане?

— Ах, Джакомо, Джакомо! Я думала, ты все знаешь, а есть, по крайней мере, одно обстоятельство — самое для нас важное, — о котором ты явно ничего не знаешь. — Вид у нее был удрученный, и она сидела, покачивая головой, как обычно делают люди, пытаясь найти выход из сложного, затруднительного положения.

— О чем я не знаю? — весьма оскорбленным тоном спросил Казанова.

— О могуществе и мстительности Священной Римской империи. О необычайно разветвленной сети ее

логический тайной полиции дома и за границей. Почему, ты думаешь, я была так хорошо осведомлена о тебе? Да просто потому, что могла пользоваться информацией австрийской тайной полиции в Италии, которая стала следить за тобой с того момента, как ты оприкоснулся с Шаумбургом. Каким образом, ты полагаешь, я могла послать тебе записку в тот погребок в Риме или как я могла знать о твоих отношениях с донной Джульеттой?..

— Это она донесла на меня государственным инквизиторам? — чуть ли не робко спросил Казанова, положительно сокрушенный ее осведомленностью...

— Донна Джульетта? — Анриетта была явно удивлена его вопросом. — Что заставляет тебя так думать?

— Лишь то, что ее гондола обогнала нашу во время праздника обручения с морем, и я уверен, что она узнала меня, а может быть, и тебя.

— Я понятия об этом не имела! — воскликнула Анриетта, искренне удивленная. — Я полагала, что...

— А-а... — возликовав, прервал ее Казанова, — значит, существуют вещи, не известные даже распрекрасной австрийской тайной полиции!

— Я не сомневаюсь, что они об этом знали, — возразила Анриетта, — но не сочли нужным мне говорить. Похоже, что уже тогда я была у них под подозрением.

— По всей вероятности, с тех пор, как ты присоедибилась ко мне во Флоренции, — вскользь заметил Казанова, — но это никак не влияет на наши планы, верно?

— Если мы оба станем более осторожными, значит, уже существенно повлияет. Особенно на тебя. Послушай, Джакомо. Тайная полиция, чью роль я хочу, чтобы ты понимал и остерегался ее, конечно же, не всеведуща. Она наблюдает лишь за теми, за кем ей велено наблюдать, и я принадлежу к числу тех, за кем она наблюдает и кто наблюдает сам, — я полагаю, все агенты в таком положении. В этих зашифрованных инструкциях, которые ты теребишь, точно собираешься порвать, содержатся точные указания, что я должна делать, и не менее точное расписание моих действий. Каждый день я выезжаю из одного места и приезжаю в другое, и каждый день об этих моих передвижениях докладывается. Если я не прибуду в определенное место, об этом будет тотчас доложено и будет мгновен-

но поднята тревога с требованием выяснить, что случилось со мной. Если я убита или схвачена венецианской инквизицией — значит, мой недосмотр, и меня просто спишут со счетов. Но если я по собственным соображениям брошу свою миссию...

Она умолкла, и Казанова, внимательно и с большим интересом слушавший ее, нетерпеливо произнес:

— Да, ну и что тогда? Они же ничего не смогут сделать тебе во Франции.

— Я не так в этом уверена. Я бы предпочла воевать в Англию. Не забудь, что формально я все еще французка. Но прежде всего наибольшая опасность подстерегает нас в пути.

Казанове нечего было на это возразить — он прекрасно знал, что это за «опасность».

— Ты совершил один весьма разумный поступок... — начала Анриетта.

— Я счастлив, что совершил хотя бы один! — воскликнул Казанова.

— Перестань паясничать — на это нет времени, — сказала она и, когда он попытался поцеловать ее руку, уже более настоятельно добавила: — И на флирт тоже. Если ты так же искренне, как и я, считаешь, что мы должны быть вместе...

— Если?! — воскликнул Казанова, уязвленный тем, что она в нем сомневается.

— Ну, в таком случае нам нельзя терять время — мы уже достаточно потеряли его на болтовню...

— Но нам всегда надо столько друг другу сказать...

— Не сейчас, — прервала она его. — Если мы не хотим, чтобы кому-то из нас — а то и обоим — уже навеки пришлось бы замолчать. Нам надо расстаться...

— Нет, нет, — запротестовал он. — До сих пор так уж складывалась судьба, что наша любовь протекала урывками, в случайных встречах и скорых расставаниях. Даже Флоренция пролетела молниеносно, как вспышка...

— Театральная вспышка? — с улыбкой переспросила Анриетта, и Казанова покраснел бы, если б мог, услышав этот намек на Мариетту. — Я скажу тебе, почему мы должны расстаться. Хозяин здешней гостиницы, безусловно, агент, иначе Шаумбург не назначил бы мне здесь встречу. В его обязанности входит сообщить, когда я отсюда уеду и в каком направлении, так что я должна уехать в определенное время

и в определенном направлении — одна. Это даст мне форы в один, а то и в два дня.

— А как же я? — спросил крайне расстроенный Казанова. — Куда мне ехать? И где мы встретимся?

— Ты знаешь в Женеве «Гостиницу Белого льва»?

— Нет, но смогу ее найти, — слегка надувшись, отвечал он. — Но, Анриетта, неужели ты не разрешишь мне провести с тобой ночь?

— Нет, если только ты не ставишь возможность переспать с женщиной выше возможности того, чтобы мы оба стали...

— Ах, но речь идет ведь не о *какой-то женщине*, а о тебе! — сказал Казанова и на сей раз изловчился ее поцеловать.

— Не надо нежностей! — Анриетта оттолкнула его. — Это слишком опасно. Немедленно выбирайся отсюда, причем как можно тише, и следуй в Женеву через Милан и Симплонский перевал. Если ты прибудешь туда первым — жди меня...

— Мне что же, и в свою гостиницу не заезжать за вещами?

— Лучше бросить их там. А лошадь отвяжи и приоткрой ворота во двор, тогда жена хозяина сможет сказать мужу, что эта заблудшая лошадь.

— Но мне необходимо вернуться в гостиницу. Там все мои деньги.

— Возьми половину этих. — Анриетта указала на мешочки, оставленные Шаумбургом.

Казанова усмехнулся.

— Не возражаю их взять, но я считал, что тобой движут побуждения высочайшего порядка...

— Это более чем скромное вознаграждение за владения моей матушки, — спокойно произнесла Анриетта.

— А-а. Вот этого мне не следовало говорить, но коль скоро это лишь «скромное вознаграждение», тем более надо взять деньги, которые я без зазрения совести отобрал у венецианцев.

— Это опасно... — начала было Анриетта.

— Будет куда опаснее, если у нас не хватит денег, — возразил Казанова, — и я долго не задержусь. Собственно, я двинусь в путь почти одновременно с тобой...

— Как же ты намерен действовать?

— Возьму этого заморыша, скажу, что потерялся; а заморыш потерял подкову, — словом, оба мы упали. А на заре выеду в Милан.

Анриетта поднялась.

— Что ж,— сказала она,— если ты принял такое решение, немедля пускайся в путь. Мы не скажем друг другу «прощай»,— скажем: «*Agivederci*» *.

Он схватил ее в объятия, прижал к себе и принялся целовать в губы, в щеки, чувствуя, что они мокрые от слез.

— Теперь тебе уже пора,— прошептала она, мягко пытаясь высвободиться из его рук.

— Позволь мне еще немного побыть с тобой,— взмолился он.

— Нет!

— Хотя бы час.

— Нет!

— Ну, один только раз, всего один раз... мы же так давно...

Если она и повторила: «Нет»,— Казанова этого уже не слышал.

7

«Авантюры — для авантюриста»,— несколько мрачно процитировал сам себя Казанова, глядя в трясущееся боковое окошко своей почтовой кареты на долину Ломбардии, казавшуюся огромной цистермой, наполненной мокрым белым туманом. Даже с почтальонами, которые знали эту дорогу лучше катехизиса, путешествие в Милан в таком густом тумане требовало времени.

Задержки не слишком тревожили Казанову — его лишь раздражало то, что теряется время на самом легком отрезке в ту пору долгого, трудного и даже опасного пути в Женеву. Хотя Анриетта и сдалась на его поцелуи в маленькой комнатке старой гостиницы у подножия Стельвио, она не потеряла над собой власти и продолжала думать о плане их бегства и встречи в Женеве. Она положила десять дней на то, чтобы им обоим добраться туда,— следовательно, встреча была назначена на двадцать шестое число того же месяца.

— Неважно, если на этот раз ты приедешь раньше,— с улыбкой сказала Казанове Анриетта, намекая на глупую историю, в которой он запутался при их предшествующей встрече во Флоренции,— но главное — не опаздывай.

* До свидания (*ит.*).

Она настоятельно повторила это предупреждение, ибо Казанова, казалось, думал — стоит им добраться до Женевы, и уже нечего будет опасаться; Анриетта же твердо верила, что тайная полиция, которую она предавала, обладает могучими, очень могучими возможностями. На это Казанова тотчас сказал:

— Если так важно, чтобы мы оба как можно быстрее очутились там, почему же мы, скажи на милость, не едем вместе?

Но Анриетта продолжала настаивать: главное — выиграть время. Казанова, считала она, — новичок в этих страшных делах. Правда, Красный инквизитор пригрозил отомстить Казанове, если он откроет то, что ему известно, и, пожалуй, может выполнить угрозу, если Казанова расскажет об этом в своей книге. Но сколь же мало связан Казанова с мерзостными государственными тайнами по сравнению с ней! И бояться им следует не Венеции, а Австрии. Если они отправятся в путь вдвоем, об этом тут же пойдет донесение, и их настигнет месть в виде руки убийцы или похитителей, — перед государственными наймитами всегда ведь открыты все пути.

За неимением лучшего занятия Казанова размышлял обо всем этом, покачиваясь и трясаясь в карете, мчавшей его по главному тракту в Милан. Он все еще не был полностью убежден доводами Анриетты и думал, не утаивает ли она что-то от него, приоткрывая лишь частицу правды, а не всю целиком, как это было во Флоренции и в Венеции? И догадки его не были совсем уж беспочвенны. Как часто бывает, ее разумно и предусмотрительно составленные планы, казалось, были основаны на строго объективной оценке фактов, тогда как на самом деле были плодом двух владевших ею чувств. Во-первых, чуть ли не материнского желания обезопасить Казанову от возможного мщения в наиболее опасной части путешествия — в начальные дни. Было тут и более тонкое соображение. Анриетта все еще не вполне готова была принять Казанову на единственных возможных для него условиях — условиях, противоречивших его заверениям, но явствовавших из его поступков, а именно: «Вы в самом деле нравитесь мне больше любой другой женщины, и я всегда буду возвращаться к вам, но быть вам верным никогда не буду». В швейцарской гостинице Казанова сумел убедить ум и чувства Анриетты, но не сумел полностью подчинить себе эту легкоранимую натуру, оскорблен-

ную его постыдной интрижкой с Мариеттой. Бессознательно — хотя и не вполне, ибо она все-таки понимала, что делает, — Анриетта устроила ему проверку, одновременно пытаясь уберечь от опасностей, подстерегавших ее. Если он вовремя приедет на встречу, а не задержится в фривольных похождениях, целуя девушек и выигрывая дукаты в фаро, она снова станет безоговорочно доверять ему. Если же нет...

Увидь она его на этом первом перегоне, ей не на что было бы пожаловаться. Невзирая на туман, Казанова продолжал продвигаться вперед и даже спал в карете, а когда при подъезде к Милану северный ветер рассеял туман, Казанова стал подгонять почтальонов и прибыл в город всего с трехчасовым опозданием против намеченного срока. Сразу двинуться дальше оказалось невозможно: ему надо было заранее послать верхового, чтобы условиться насчет проводников и, по-видимому, саней для переезда через перевал, а потому Казанова решил — раз уж так получилось, почему бы как следует не поесть и не выспаться, прежде чем пускаться в опасный и лишенный удобств путь через горы.

Милан приготовил неприятный, но имевший существенное значение сюрприз, — возможность его предвиделась, но была большая надежда, что так рано зимою этого не случится. Устало вылезая из кареты перед гостиницей в Милане, Казанова, застывший от долгого пребывания на холоде в сидячем положении, почувствовал, как кровь совсем застывает у него в жилах, когда его потухшие глаза увидели медленно опускающийся снежинку, за ней — другую, а потом уже настоящий каскад. Это означало задержку — на два дня, на три, а то и больше, однако Анриетта дала Казанове достаточно много времени, и он был уверен, что к сроку доберется до Женевы. Делать-то ведь нечего — надо ждать, по возможности терпеливо и спокойно.

Казанова провел тревожную и бессонную ночь: он несколько раз вскакивал и открывал окно спальни, и всякий раз надежды его гасли при виде снега, валившего густыми хлопьями. Утром снег продолжал идти, и Казанова решил не вылезать из постели, пока не прояснится, — не только из естественного желания отдохнуть и понежиться, но и из соображений осторожности: чтобы его не узнали. Милан, однако, был уготован ему как город не только отсрочки, но и неприятностей. Горничная, принесшая Казанове завтрак, была хорошенькой

крестьянской девчонкой, с которой — при менее тревожных обстоятельствах — он, по всей вероятности, не возражал бы перейти на несколько более интимные отношения. Вместе с завтраком она принесла миланскую газету и подала ему с улыбкой, которую при других обстоятельствах он назвал бы «зазывной», а сейчас мысленно окрестил «похотливой».

Желая поставить ее на место, Казанова небрежно отложил в сторону газету и приготовился не спеша позавтракать в постели. При этом он не мог не заметить — со смесью удовлетворенного честолюбия и досады, — что девчонка не спешит уйти и то и дело поглядывает на него с любопытством и интересом. Он абстрактно поразмышлял о нравственности гостиничных горничных и, отхлебывая кофе с молоком, ленивым жестом взял газету, чтобы посмотреть, нет ли там интересных новостей...

Рука его так дрогнула, что он пролил кофе на поднос и чуть не опрокинул весь завтрак на пол, с ужасом увидев, что главной новостью является «прибытие» в Милан знаменитого Казанова, чье местонахождение не было известно с тех пор, как он бежал из венецианской Свинцовой тюрьмы. Его увидел и узнал у входа в гостиницу венецианец, который был немного с ним знаком, и тут же продал эту информацию журналисту, — во всяком случае, так решил Казанова, судя по тому, как превознесли в газете его шустрого соотечественника.

Что же делать? В тревоге и досаде на эту непредвиденную напасть Казанова выскочил из постели и стал одеваться — без какого-либо определенного плана, с единственной мыслью — тотчас уехать из гостиницы и из города Милана. Но низкое темное небо, из которого безостановочно сыпались белые пушистые кристаллики снега, напомнило ему о неосуществимости такого плана. Если он переедет в другую гостиницу, это не утихомирит, а лишь разожжет любопытство, а пока снег не прекратится, попытка продолжить путешествие приведет только к потере времени, сил и денег. Уперев подбородок в ладонь, Казанова стоял у заснеженного окна в самом меланхолическом настроении и снова и снова спрашивал себя: что же делать?

По обыкновению, Казанова все-таки придумал, как быть. Вместо того чтобы одеться, он разделся, снова нырнул в постель и резко дернул за висевший рядом шнур звонка. Горничная вошла так скоро, что Казанова

склонен был подумать, уж не подсматривала ли она за ним в замочную скважину? А он принялся весьма убедительно стенать и метаться, сказал девчонке, что вдруг заболел, велел ей унести завтрак и немедленно послать за лекарем, добавив, чтобы к нему ни в коем случае никого не пускали, кроме хозяина.

Сему взволнованному субъекту, который мигом при-скакал, дабы предотвратить беду в случае, если постоялец умрет в гостинице, Казанова объяснил, что подвержен желудочным коликам, которые скоро пройдут, и отослал его, ублаготворив небольшой дополнительной суммой. Лекарю Казанова пожаловался на то, что не спит, а чуть начинает засыпать, видит дьявольские кошмары, и получил несколько дурацких рекомендаций, настойку для сна и бесценную помощь в виде приказа-ния не будить и не тревожить пациента. Его тоже Казанова осчастливил несколькими золотыми.

Оградив таким образом свой покой, Казанова мог не спеша обдумать ситуацию и внимательно перечитать газетную статью. По здоровом размышлении он убедился в том, что она совсем не так страшна, как ему вначале показалось. Подробности его жизни были даны весьма приблизительно и в ряде случаев абсолютно неверно, а человеку, критически прочитавшему статью, покажется бездоказательным и то, что речь вообще идет о нем. Казанова вспомнил, что говорил ему инквизитор о том, сколько газетных статей и псевдо-Казанов появилось, пока он еще сидел в тюрьме. Одною больше — какая разница, при условии, что ему удастся избежать безусловного опознания.

А снег все продолжал валить, — правда, к концу дня Казанова заметил, что он значительно, хоть и постепенно, редет. В течение часа метель настолько улеглась, что Казанова был убежден — около полуночи можно будет трогаться в путь. А потому он написал хозяину гостиницы записку, в которой сообщал, что чувствует себя лучше, повторяя, чтобы его тем не менее не беспокоили, наказывал тотчас отправить посыльного, дабы тот договорился обо всем необходимом для переезда через горы, и требовал, чтобы лошади и карета были готовы к полуночи. Хотя ехать ночью неудобно и холодно, Казанова счел необходимым так поступить, чтобы избежать в дальнейшем узнавания и связанных с этим неприятностей. Стремясь убить время, а также подготовиться к по крайней мере двухдневному, а скорее

всего — трехдневному путешествию, когда мыться не придется, он принял ванну и тщательно побрился. К этому времени он так проголодался, что вынужден был что-то съесть, а потом снова лег в постель подремать до тех пор, когда надо будет одеваться в дорогу.

Его вывел из легкого сна звук ключа, поворачиваемого в замке, дверь отворилась, и, невзирая на чаевые, данные Казановой и явно превзойденные более щедрыми чаевыми, он услышал голос горничной нахально, к его ужасу, произнесший:

— Тут кое-кто к вам, сеньор!

Казанова сел в постели, услышав, что дверь за кем-то закрылась и ключ повернулся в замке, и при тусклом свете ночника увидел, что вошедшая — жепщина, а затем с сильно забившимся сердцем узнал в ней донну Джульетту. Несколько секунд оба молчали: Казанова смотрел на нее с чувствами, какие можно себе представить, она же с улыбкой смотрела на его испуганное, искаженное ужасом лицо. Спустив с плеч тяжелую меховую пелерину, она сказала:

— Так значит, Джакомо Лучинни и есть Джакомо Казанова! Кто бы мог поверить, что газетный писама говорит правду?

— Сударыня! — произнес Казанова дрожащим от злости голосом, которому он тщетно пытался придать твердость. — Вы ворвались ко мне в спальню! Я вынужден просить вас немедленно покинуть комнату. Тотчас же!

— Кто-кто, а вы умеете спешно покидать спальни, не так ли? — парировала она и, оглядев комнату, добавила: — Не стану просить вас встать с постели в ночной рубашке, чтобы подвинуть мне кресло, — это может нанести урон вашей скромности... А-а, вот оно, кресло!

Она увидела маленькое креслице и, подтащив его к кровати, преспокойно уселась, что показалось Казанове оскорбительным, если не сказать зловещим. Это же была свидетельница, которая могла подтвердить, что видела беглого Казанову, и которая не станет молчать из дружеских чувств. Тем не менее он продолжал возмущаться:

— Это же настоящее вторжение, донна Джульетта...

— А-а, вот это уже лучше, — холодно произнесла она, вытаскивая из большой меховой муфты неизбежный веер: — «Донна Джульетта» — это уже большое достижение по сравнению с «сударыней».

И хотя в спальне было уж никак не жарко, она принялась небрежно обмахиваться всею, точно сидела в салоне Аквавивы.

— Не думайте, что вам удастся укрыться от внимания публики, запершись в четырех стенах, как мизантроп. Да неужели вы не знаете, что вы знаменитость? По крайней мере с десятков людей дожидаются, чтобы увидеть вас и убедиться, что вы — это в самом деле вы; они дежурят по очереди. Очень забавно видеть, как ваш верный друг, хозяин гостиницы, клянется, что вы — Лучинно, торговец вином.

Казанова дал ей выговориться — пусть помелет языком. Он сумел побороть досаду и сейчас, наблюдая за ней, пытался побыстрее что-то придумать. Если поступить так, как он намеревался и, собственно, имел полное право поступить, а именно: взять ее за плечи, выставить в коридор и запереть перед ее носом дверь, — он выпустит на волю врага, который как раз и сообщит то, что ему хотелось сохранить в тайне: что он в Милане и собирается ехать на север. И он решил, что надо каким-то образом удержать ее при себе до своего отъезда, а тогда с помощью заранее заготовленной уловки сбежать, прежде чем она успеет с кем-либо связаться или выяснить, в каком направлении он поехал.

— Почему вы такой молчаливый? — спросила она, слегка надув губы. — Не сердитесь на меня, Казанова. Я это терпеть не могу, да и вам это не идет. К тому же я приехала сюда с самыми дружескими намерениями, чтобы поздравить вас со смелым и успешным побегом из Свинцовой тюрьмы.

— После того как вы меня туда засунули, — сардонически добавил он.

Если Казанова ожидал, что она смутится от такого обвинения, брошенного в лицо, — он глубоко ошибся. Она лишь улыбнулась и сказала:

— Значит, это вам они сказали, да? А почему вы думаете, что это правда?

— Я знаю, что это правда.

— Предположим, я стану отрицать?

— Я вам не поверю.

— Вы будете настолько негалантны?

— В данном случае я буду в такой же мере негалантен, в какой вы предательски вели себя, и...

— А что, если я буду стоять на своем?

Казанова передернул плечами.

— Давайте поговорим о чем-нибудь другом,— не очень любезно предложил он.— Например, что вам от меня угодно? Выдать меня здесь тайной полиции вам, знаете ли, не удастся.

Она сложила веер и задумчиво посмотрела на Казанову.

— Вы мужественный человек, Казанова,— сказала она.— Очень мужественный. Не удивляюсь, что столь многие женщины готовы многое вытерпеть, дабы снизить вашу благосклонность...

— Вы не ответили на мой вопрос,— высокомерно прервал он ее.

— Но вот нельзя сказать, чтобы хорошие манеры были среди ваших положительных качеств,— продолжала она.

— С каких это пор незваных гостей встречают вежливо? — сухо осведомился он.

— Даже если это женщины?

— Да.

— Хорошенькие влюбленные женщины?

— Ну, может быть, иногда...

— Ах, вот теперь, когда вы сделали эту оговорку — признаюсь, весьма нелюбезно, но все же сделали,— я скажу вам, почему явилась «незваной гостьей»: чтобы убедиться, что вы — это вы.

— И похоже, едва ли стоило утруждать себя, верно? — заметил он не без легкой издевки.— Но я польщен вниманием.

Она с усмешкой сделала реверанс и села, глядя на него поверх раскрытого веера. Но прежде она сбросила свою толстую меховую пелерину и швырнула на пол муфту и перчатки; теперь перед ним была дама в модном осеннем платье в коричневых и зеленых тонах, отделанном кружевом у горла и запястий. Она сидела, скрестив ноги, показывая сапожок, отороченный мехом, и изящную лодыжку. В их беседе наступила пауза: каждый думал о своем. Казанова старался изобрести предлог, чтобы задержать ее — ведь после столь нелюбезного приема она вполне может встать и уйти и распространить о нем весть. О чем она все-таки думает?

— Джакомо! — внезапно произнесла она и, перебив сама себя, с прелестной миной спросила: — Могу я называть вас Джакомо?

— Безусловно.

— Благодарю вас. Теперь, когда мы снова вместе, я хочу, прежде чем уйти, кое о чем вас просить.

— О чем же? — как можно любезнее произнес Казанова, пытаясь тем временем придумать, чем бы удержать ее до полуночи...

— Вы же понимаете, я не могу долго у вас задерживаться, — с улыбкой сказала она, — вы, погубивший столько репутаций, склонны забывать, что у женщин есть репутации.

— Пусть моя особа вас не волнует, — проговорил Казанова: важно было хоть что-то сказать, лишь бы протянуть время, — я безобиден для женщин в данный момент. В глазах публики я стою у гробового входа.

— Но вы, конечно, вполне здоровы!

— Конечно!

— И тем не менее, — рассмеявшись, добавила она, — я сомневаюсь, чтобы репутация любой женщины не пострадала от общения с вами даже в вашем нынешнем состоянии, ибо такова ваша репутация — или ее отсутствие.

— Мир клеветает на меня, — посетовал он.

— Словом, каждый из нас думает о себе, в особенности женщина. Мир несправедлив. Он восхищается мужчиной, который способен увлечь женщин и делать их своими любовницами. А перед женщинами захлопывает двери.

— Но женщины порою мстят за это — и весьма жестоко, — не без подтекста сказал он, но она, казалось, не слышала его слов или же не хотела на них откликаться.

— Вы когда-нибудь ревновали, Джакомо? — спросила она.

— Это и есть тот вопрос? — вопросом на вопрос ответил он.

— Да, мне, право же, хочется знать. Мне говорят, что мужчины, имеющие любовниц и переходящие от женщины к женщине, теряют способность ревновать. Это правда?

— В некоторых случаях — возможно, — уклончиво ответил он, — но, пожалуй, не всегда.

— А у вас это так?

— Нет.

— Значит, вы ревновали?

— О да, и даже очень.

— А не было случая, чтобы ревность побудила вас совершить поступок, о котором вы потом горько жалели бы?

— Пожалуй, да, — ответил он, начиная от этого вопроса терять терпение.

— Представьте себе, что вам — а вы всегда добивались женщины, какую хотели иметь, — однажды это не удалось. Представьте себе, что вы страстно возжелали женщину и в тот момент, когда уже готовы были ею насладиться, она вдруг бросила вас ради другого мужчины? И представьте себе, что некоторое время спустя вы неожиданно увидели бы ее — счастливую, чуть ли не в объятиях другого мужчины, и вы вдруг поняли бы, что перед вами — ваш соперник, вы бы не испытали ревности?

Казанова увидел, куда она клонит, но ответить мог лишь:

— Да.

— Да! — пылко воскликнула донна Джульетта и в волнении вскочила с кресла. — Да, вы, несомненно, почувствовали бы ревность при мысли, что она каждую ночь лежит нагая в его объятиях, тогда как вы лишены этого удовольствия, которое поначалу было обещано вам! Неужели у вас не зародилось бы стремление отомстить?

— Возможно, — признался он, не желая вызывать у нее гнева, под влиянием которого она может кинуться вон из комнаты, но в то же время стараясь избежать опасного признания.

— Конечно, зародилось бы! — воскликнула она; щеки ее покраснелись, глаза сверкали от возбуждения. — Конечно, зародилось бы! Как у любого мужчины или женщины, если только он или она не ледышка и в жилах у них течет горячая кровь! Ах, Джакомо... — И, к его смятению и смущению, она села рядом с ним на кровать, схватила его руку и, приблизив к нему лицо, с волнением заглянула в глаза. — Ах, Джакомо, если бы вы могли простить мне то, чего я никогда не смогу себе простить! Как могла я совершить такую низость, такую жестокость по отношению к человеку, которого я люблю больше всех на свете?

В ее прелестных глазах стояли слезы, и, глядя с мольбой на Казанову, она склонилась над ним, полулежавшим в подушках. После долгих месяцев вынужденного воздержания в тюрьме ее духи, ее блестящие волосы, ее слова, ее нежное бело-розовое лицо, а главное — ее бедро, прижатое к его боку, — все это подействовало на него, как вино на пьяницу, временно вынужденного соблюдать воздержание. Он попытался побороть влечение, попытался защититься от прихлынувшего

желания, затоплявшего его, попытался собраться с силами и оттолкнуть донну Джульетту, но ее голос завораживал:

— Если бы вы знали, сколько слез я пролила по вам, сколько бессонных ночей я провела, терзаясь угрызениями совести, глубоко несчастная! Я знаю: все это ничто по сравнению с тем, что пережили вы. Я вижу страдание в ваших глазах, на вашем лице, и в этом мое наказание, ибо тот, кого я люблю, ненавидит меня больше всех на свете. Если бы я хоть в самой малой доле могла возместить вам то, что я наделала. Я готова быть вашей слугою, вашей...

Фраза так и не была закончена, ибо вместо следующего слова нежные молящие уста прильнули к губам Казановы. До этой минуты — хоть Казанова и догадывался, что грядет, — он настраивал себя на сопротивление — сбросить ее с кровати, обозвать лицемеркой, предательницей... но ласковое прикосновение мягких теплых губ парализовало его волю и зажгло в нем неумолимое пламя желания. Прежде чем в мозгу его родился протест, он схватил ее в объятия, прижал податливое тело к себе и покрыл его страстными поцелуями...

Сколько прошло времени, ни один из них не знал, когда раздался робкий стук в дверь. Отклика не последовало; тогда стук повторился громче и потом еще громче и настойчивее. А в комнате, за плотно запертой дверью, была разбросана женская одежда, и постель, еле освещенная ночником, являла собой ворох смятых простыней.

— Что такое? — раздался голос Казановы, хриплый от досады на помеху и явно доносящийся из-под чего-то.

— Лошади ждут вас, синьор, — послышался голос горничной. — Уже полночь, и отличная, ясная...

— Пошла вон! — ответил ей звонкий повелительный женский голос. — Скажи, чтобы поставили лошадей назад в конюшню и чтоб никто не подходил к этим дверям, пока не позвонят. Поняла?

— Да, сударыня, — сказала горничная.

8

Карета, запряженная двумя лошадьми, в сопровождении верхового неслась на бешеной скорости по дороге, огибающей озеро Леман, в направлении Желевы, уже видневшейся в отдалении. В карете сидел изможденный мужчина с красными и опухшими от бессонницы глазами

и щетиной четырехдневной давности. В руке у мужчины были часы, на которые он в диком нетерпении поглядывал, а затем, просунув голову в окошко, кричал почтальонам, чтобы ехали быстрее, быстрее, быстрее! Выигрывал он минуты, но что такое минуты, когда опаздываешь на три дня?

Карета с грохотом влетела во двор «Белого льва», и почтальоны остановили взмысленных лошадей среди цоканья копыт, свиста кнутов и ругани. Швырнув им пригоршню монет, Казанова взбежал по ступенькам на крыльцо гостиницы и столкнулся с хозяином, который выскочил посмотреть, из-за чего такой кавардак. Казанова попросил хозяина уединиться с ним и, как только дверь тесного маленького кабинета закрылась за ними, взволнованно спросил, схватив хозяина за плечо:

— Есть у вас письма для Джакомо Казановы?

— Нет, сударь,— ответил хозяин, вздрогнув и уставясь с интересом на человека, чей побег из Свинцовой тюрьмы сделал его известным всюду, где имелись газеты.

— Никакого послания вообще?

— Нет, сударь.

— Послушайте. Извините мою настырность. Для меня это трагически важно. Не останавливалась ли у вас дама по имени Анна или Анриетта д'Арси, или Казанова, или под любым другим именем, которая выглядит...— и он быстро описал Анриетту насколько мог точно и объективно.

— У нас была дама, более или менее похожая на ту, какому вы описали...— осторожно начал хозяин.

— И где она? Она тут? Немедленно отведите меня к ней.

— Она уехала, сударь,— сказал хозяин, покачав головой.

— Уехала?! Так я и знал!

Казанова рухнул в кресло и закрыл лицо руками. Последовало долгое молчание — хозяин сначала разглядывал своего знаменитого и до крайности взволнованного гостя, а потом взял регистрационную книгу и стал ее листать. Казанова так же неожиданно вскочил с места, как прежде сел.

— Расскажите мне все, что вам о ней известно,— попросил он; его измученное лицо было усеяно капельками пота, хотя погода стояла достаточно холодная.

— Она приехала пять дней назад,— не спеша начал хозяин,— и записалась — вот видите, тут — как Анриетта Мезоннёв...

— Это моя фамилия по-французски,— пробормотал Казанова; лицо его было искажено тревогой.— А потом что?

— Она сняла комнату и велела приносить еду в номер, из гостиницы выходила только вечером прогуляться и возвращалась через час. Писем она не получила и вина не пила. Она приказала никого к ней не пускать. Весь день, сударь,— продолжал хозяин, благоговейно понизив голос,— она сидела у окна и смотрела на почтовые кареты и, можно сказать, даже на все повозки, какие проезжали мимо,— и так целых четыре дня, сударь мой.

— Продолжайте,— хрипло выговорил Казанова.

— Вчера вечером приехали четверо мужчин и стали расспрашивать, не видел ли я дамы или дамы с господином — и описали вас и ее...

— Что за люди? — прервал его Казанова.

— Видите ли...— Хозяин смущенно почесал в затылке.— Говорили они по-немецки, но могу поклясться, что они не из наших швейцарских кантонов. Я бы сказал: чужеземцы. Ну, я им сказал, что она никого не принимает, но они окружили меня и пригрозили полицией, если я им помешаю. Я пытался воспротивиться, но они все-таки заставили меня отвести их к ней в номер.

— А что было потом?

— Не знаю, сударь мой, откуда же мне знать. Когда она их увидела, то очень побледнела, но поднялась с кресла и сказала: «Значит, вы все-таки пришли за мной?» — «Да, мы пришли за вами»,— сказал один из них очень мрачно и грозно, так мне показалось. Я бы охотно двинул ему как следует, чтоб он не говорил так с женщиной...

— Речь сейчас не об этом. Что было дальше?

— Она сказала, что готова ехать с ними, и в самом деле, сударь мой, похоже, спешила уехать...

— Желая меня спасти...— пробормотал Казанова.

— Потом она попросила оставить ее на две минуты одну — они долго препирались, потом согласились.

Хозяин умолк, глядя на Казанову круглыми встревоженными глазами,— ему было явно неприятно, что он не сумел — или оказался слишком робок — предотвратить случившееся.

— Ну, и что дальше? — спросил Казанова.

— Это, сударь, все. Они уехали — двое сели с ней в карету, точно она была под охраной. А потом мы

обнаружили надпись, которую она нацарапала бриллиантом на оконном стекле.

— Отведите меня в ее комнату.

Казанова поднялся вслед за хозяином по безупречно чистой лестнице и прошел по коридору, до противного отдававшему швейцарской аккуратностью.

— Вот ее комната, сударь, — сказал хозяин, открывая дверь, и Казанова остановился на пороге, думая о том, какую долгую муку выстрадала Анриетта, дожидаясь его в этой комнате, в то время как он валялся в постели с донной Джульеттой, какая тревога, отчаяние и горечь от сознания неминуемой смерти затопила ее при виде жестоких мстителей. Опоздай он на день или даже на два — было бы еще не поздно.

Он вошел в комнату, постоял и затем подошел к окну. На одном из квадратиков он прочел сквозь слезы ее последнее послание ему:

«Прощай, моя любовь. Анриетта».





СОДЕРЖАНИЕ

Пролог	5
Часть I	29
Часть II	123
Часть III	249

Ричард Олдингтон
ЕДИНСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ
КАЗАНОВЫ

Заведующий редакцией *В. М. Подугольников*
Редактор *Е. Б. Салынская*
Художественный редактор *Е. А. Андрусенко*
Технический редактор *Ю. А. Мухин*

ИБ № 9498

ЛР № 010273 от 10.12.1992 г.
Сдано в набор 09.06.93. Подписано в печать 26.08.93.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 17,64.
Уч.-изд. л. 18,81. Тираж 60 000 экз. Заказ № 208. С 108.

Издательство «Республика»
Российского государственного
информационно-издательского Центра «Республика»
Министерства печати и информации Российской Федерации.
125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

ИПЛ «Уральский рабочий».
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.

